3 р.
(по подписке – 2 р.)

23-1-14

ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Подведены итоги подписки на 1992 год. На наш журнал подписались 171 248 человек, что составляет 63,35% по сравнению с прошлым годом. Это один из лучших показателей по стране среди "толстых" литературных журналов.

Спасибо вам за поддержку!

Редколлегия

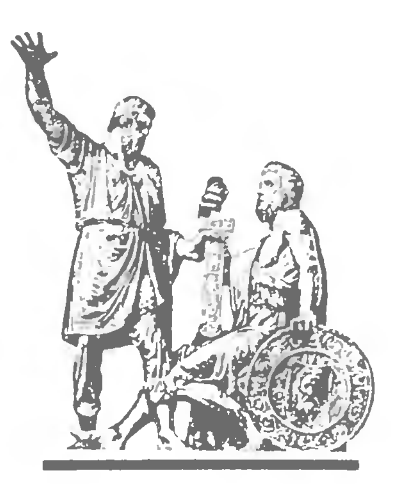
Наш современник. 1992. № 1. 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №1 1992

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№1 1992

**Мы обращаемся к директорам фондов,
к отечественным и зарубежным предпринимателям,
к патриотическим коммерческим организациям.**

В который раз нам пытаются заткнуть рот. Раньше это делали с помощью цензуры. Сегодня на гласность накидывают экономическую удавку.

С января этого года резко повышают цены на бумагу, доставку и реализацию журнала. От нас требуют либо ликвидировать издание и вернуть деньги подписчикам, либо во много раз повысить стоимость подписки на 1992 год. И то, и другое для нас неприемлемо.

Преступно с помощью мафиозного, "дикого" рынка уничтожать русскую культуру. "Наш современник" должен остаться доступным массовому читателю! Поэтому редакция изыскивает все средства, чтобы цена подписки на наше издание была по-прежнему ниже, чем на другие журналы.

При журнале создан фонд поддержки патриотической прессы. Деньги для журнала вы можете перечислить на счет МП "Русло": расчетный счет № 2609704 в коммерческом банке "Пресня Банк" МФО 201144 – для "Нашего современника". Эти средства фактически будут дотацией для нашего небогатого подписчика.

С предложениями о размещении рекламы обращаться по телефонам 200-24-24, 921-43-59.

ВНИМАНИЕ!

Редакция приносит извинения читателям за допущенную ошибку при публикации наших объявлений в №№ 10, 11, 12 журнала. Во всех трех номерах неправильно указаны реквизиты МФО "Пресня Банк".

Правильно писать: МФО 201144.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей РСФСР
и трудовой коллектив редакции

№1 1992

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

Содержание

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры М. В. Масленникова, Л. Н. Тихонова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24, (главный редактор), 200-24-94, 200-24-83, (заместители главного редактора), 928-32-18, (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 14.10.91 г. Подписано к печати 26.12.91. Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,18 Тираж 204 665 екз. Заказ 2553.

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ



РОССИЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Распалась на части страна, которую наши предки создавали больше тысячи лет. В этом общем деле десятков поколений было много и героического, и святого, и ошибок, и грехов. Строение все же оказалось прочным — на разрушение его понадобился почти целый век (может, и поболее). Очень сомневаюсь, чтобы распад страны хотя бы для одного из населявших ее народов обернулся скорым и несомненным благом. Но для русских — он очевидное несчастье. Думаю, что большинство из нас, хоть совсем бессознательно, хоть каким-то уголком души ощущали свое соучастие в грандиозном тысячелетнем процессе, вырываясь тем из бессмыслицы и тривиальности жизни. Теперь эта духовная поддержка ослабла. 25 миллионов русских оказались вне России. Родные братья, родители и дети разделены государственными границами. Порваны многовековые экономические связи. Редкий народ способен пережить такой удар.

1. РАСПАД СТРАНЫ

Раздаются требования и дальнейшего расчленения России. Строгие голоса по-сталински призывают не поддаваться «головокружению от успехов». И в урезанном виде Россия для них еще слишком сильна, она может еще ощутить себя «великой Россией». Ей нельзя этого позволить: «Карфаген должен быть разрушен!» И такой исход вполне реален — столь мощные силы подталкивают к нему, и так слабо сопротивление им. Но предположим, что удастся все же сохранить Россию в размере прежнего РСФСР (надеюсь, этого-то названия не останется!). Как нам жить, когда СССР распался и Россия осталась наедине с собой?

Солженицын писал, что настигнутый несчастьем, он находил неожиданную поддержку в русских пословицах: «Мы с печалью, а Бог с милостью», «Один со страху помер, а другой ожил», «Пришла беда — не брезгуй и ею». Похоже, что и наше «худо» не совсем без «добра». Отношения наций в СССР сплелись, кажется, в клубок, распутать который человеческому разуму сейчас не под силу. Тем, кто духовно связан с этой страной, было мучительно тяжело перестать бороться за ее сохранение, даже когда распад был почти неизбежен: осознание трагических последствий распада соединялось со стыдом перед историей и предками за предательство их дела. Теперь же этот клубок рассекла судьба. А оглядевшись после первого шока, мы видим, что Россия в своих новых пределах может оказаться вполне жизнеспособной, куда крепче стоять на ногах, нежели бывший СССР. Во-первых, это все еще громадная страна, хоть отчасти сохранившая свои богатейшие природные ресурсы. Страна с большим и культурным населением: бóльшим, чем в Японии; чем во Франции и объединенной Германии, вместе взятых; бóльшим, чем в Бразилии с Аргентиной. Но что всего поразительнее — это страна на редкость однородная национально. Из всех пятнадцати республик бывшего СССР Россия занимает третье место (после Ар-

мении и Азербайджана) по доле коренной нации во всем населении: 81% русских и 86% считающих русский родным языком. Для сравнения: коренное население Литвы составляет 79%, Украины — 71%, Грузии — 70%, Киргизии — 52%, Латвии — 52%, Казахстана — меньше 40% (по переписи 1989 г.). Россия теперь этнически более однородна, чем Чехословакия, Бельгия, Испания или Великобритания. Конечно, в России кроме русских живет еще более 100 народов, и русские при таком численном перевесе несут особую ответственность за то, чтобы их культурная и духовная жизнь развивалась свободно. Но уж во всяком случае, мы приобрели, наконец, полное право говорить и о своих русских национальных интересах (как правило, совпадающих с интересами других народов России), и добиваться проведения политики, основанной на этих интересах. Мы освободились от ярма «интернационализма» и вернулись к нормальному существованию национального русского государства, традиционно включающего много национальных меньшинств.

Другое несомненное благо происшедшего раскола в том, что он поможет окончательно стряхнуть мороку коммунизме. Еще с начала 70-х годов я начал писать о социализме и коммунизме как о пути к смерти (конечно, в самиздате, с переизданием на Западе). И всего труднее мне было оспаривать возражения тех, кто любил эту страну и страшился ее гибели. Они говорили: как ни плоха коммунистическая партия, но это единственная скрепа, держащая такую многонациональную громадину. Нельзя разрушать ее, пока не создано других объединяющих сил. Сейчас, к счастью, уже не нужно об этом спорить. СССР распался, здесь сейчас соединять нечего, а для России и русских партия всегда играла роль главного губителя, жертвовавшего русскими интересами ради разжигания мировой революции, построения социализма, помощи коммунистическому Китаю или интернационального долга в Афганистане.

Но и в новых границах Россия по-прежнему находится в глубоком кризисе, даже в нескольких, охватывающих важнейшие области жизни. Самыми зловещими представляются мне: стремительное расхождение, даже взаимоотталкивание (после первых надежд) народа и структур власти и признаки того, что распад СССР может перейти в такой же распад России.

2. НАРОД ОКАЗАЛСЯ СРЕДИ ПОБЕЖДЕННЫХ

Я вспоминаю войну, и мне кажется, что хоть тогда жизнь была тяжелее, народ не был так раздражен. Тогда жили — одни под тяжестью известий о гибели близких, другие в ежедневном и еженощном страхе за них. В большем голоде и тесноте, чем сейчас, тяжелейших условиях работы. И все же, в таких же очередях и переполненных автобусах не ощущалось такого как сейчас прилива темных вод иррационального озлобления, готового излиться на кого угодно — от соседа до Президента. Тогда виделась цель, ради которой переносятся все лишения, и эта цель приподнимала, прибавляла сил. Теперь же народ все более ощущает себя оттесненным на задворки жизни. Хотя бы, когда сообщается интересная новость, что зарегистрирован клуб молодых миллионеров — в то время, как картошка вздорожала в 20 раз и впору регистрировать клубы нищих. Прогрессивная прессе с народом не церемонится, предупреждая о необходимости «шоковой терапии», нового повышения цен, появления десятков миллионов безработных. В академическом тоне, точно предстоящее лунное затмение, обсуждается перспективе быстрого роста смертности. Средства массовой информации внедряют образ «героя нашего времени» — играющего на бирже бизнесмена или парламентария, занятого зарубежными поездками, владельце счетов в западных банках. Сегодня — это победители, а большинство народа оказалось в лагере побежденных, и им сурово повторяют римское — «горе побежденным!». Такую картину телевизор приносит в каждый дом, а драчливый, ругательский, пошло-хлесткий стиль средств информации еще больше разжигает горечь и раздражение.

«Зато народ получил свободу, и ее он теперь не променяет ни на какие блага», — возразят нам. Но, во-первых, свобода опустить кусок сахара в стакан чая как рез исчезла. А во-вторых, нет оснований так низко ценить народ, при всей нешей политической неподготовленности, чтобы приписывать ему понимание свободы как возможности любоваться в газете непотребной фотографией или упиваться хлесткой руганью в адрес высокостоящих лиц. Свобода — это возможность влиять на свою судьбу, а ее-то народ лишен, как и раньше.

«Общественная активность» в форме митингов и демонстраций не помогает обрести свободу — это показала история всего мира, включая и новейший опыт нашей страны. У нас в них участвует — хорошо если 1% населения крупнейших городов, а по всей стране куда меньше. Для усиления их воздействия употребляется хорошо известная техника, когда небольшой митинг в телепередаче выглядит как необъятная толпа или по громкоговорителям транслируются заранее записанные крики одобрения. На митинге не ищут лучшего решения, не выслушивают разных мнений. Он существует для сплочения вокруг заранее известной программы и как инструмент для психологического воздействия на остальное население. На митинге народ преобразуется в толпу. Психологии толпы посвящена обширная литература. Авторы сходятся на том, что люди, объединенные в толпу, приобретают новые качества: а) Настроение становится повышенно заразительным, теряется независимость суждения. б) Резко возрастает чувство своей силы, падает сознание индивидуальной ответственности. в) Растет внушаемость, падает критическая способность. г) Толпа легко подчиняется «вожакам». Еще две с половиной тысячи лет назад Платон писал, что демос (толпа) — это особое животное, а демагог («вожак») — дрессировщик, умеющий им управлять. Инструментом для превращения народа в толпу и являются митинги и демонстрации. Свобода там не обретается и не реализуется, а наоборот, теряется.

Мы столкнулись и со старой проблемой: как при помощи голосования осуществить реальную свободу выбора. Для выбора нужна информированность и значит место нас выбирают те, кто снабжает нас информацией. Конкретно, мы увидели: чтобы быть избранным, нужно уметь добиться большего времени на телевидении, отпечатать много листовок, мобилизовать агитаторов, написать заманчивую программу. И все это отнюдь не гарантирует государственной мудрости, опыта, а часто даже элементарной честности. Не столько логическим анализом, сколько чувством, народ вобрал в себя этот опыт. Интерес к выборам стал быстро падать. Дошло до того, что ряд депутатских мест так и остался незанятым. Ввиду повторной неявки к урнам необходимого минимума избирателей от дальнейших попыток отказались. Так была утрачена еще одна иллюзия — вера в чудодейственную силу свободных выборов. А ведь эта вера как-то скрашивала жизнь. Как и в других случаях, мы убедились, что социальные институты, выработанные иными народами не могут быть механически перенесены на нашу почву: они должны быть к ней привиты долгими трудами.

Остается еще — в основном у части молодежи — смутная, иррациональная надежда, что какие-то непонятные силы: «рыночные отношения» или «включение в мировую экономическую систему», подарят нам сладкую западную жизнь, которую показывает кино и телевизор, и о которой рассказывают вернувшиеся путешественники. Вдруг появятся хорошие квартиры, даже свои дома, машины, магнитофоны, цветные телики и видаки. Но довольно скоро с безжалостной убедительностью станет ясно, что такой жизни не увидит ни это поколение, ни следующее (в подавляющей своей массе). Что в лучшем случае тяжелыми трудами и лишениями мы через одно-два поколения сможем добиться стабильного, хотя и очень скромного жизненного уровня в условиях довольно суровой жизни. И момент такого осознания будет тяжелым испытанием для нашей социальной структуры, и без того очень неустойчивой.

3. ПРАВИТЕЛИ ВСЕ ТЕ ЖЕ

Реальная политическая жизнь последних лет сводится к тому, что властью распоряжается довольно узкий круг лиц, состав которого точно нам неизвестен. Конституция, всеобщие выборы, Советы играют роль средств, а иногда и просто декораций. Структура власти все время перекраивается, возникают не предусмотренные Конституцией органы, новые советы: президентский, безопасности, государственный. Работа съездов часто загадочне: они меняют свою позицию за 1—2 дня под влиянием невидимых нам аргументов и давлений. Яркий пример — внеочередной Съезд народных депутатов РСФСР, который был созван с целью потребовать отчета Ельцина и даже поставить вопрос о доверии ему, а кончился тем, что дал ему новые полномочия. Так в Библии Валаам, призванный проклясть Израиль, благословил его. Но на пути Валаама стал ангел с огненным мечом. Какой же посланец высших сил изменил волю депутатов?

Решения принимаются путем странных плебисцитов. Например: желаем ли мы ввести пост Президента РСФСР или мэра Москвы? Хотя полномочия их в этот момент не определены, так о чем голосование: нравится ли нам само слово? А когда дело идет о реальном вопросе, например, выборах президента, на предвыборную кампанию дают смехотворный срок в несколько недель (в США — год). Кульминацией была подготовка Союзного договора, предполагавшего распад страны на 53 независимых государства с разной государственной системой, внешней политикой, финансами, своими вооруженными силами — т. е. полный хаос и скорую гибель. И к этому судьбоносному решению народ не был допущен никаким путем — ни через плебисцит, ни через выбранные Советы. Подписать договор должны были несколько человек, не правомочных принимать решения, меняющие конституцию. Да и сам текст предполагаемого договора был рассекречен всего за 5 дней до предполагаемого подписания! На этом фоне августовский «путч» выглядит лишь одним звеном в цепи волевых решений народной судьбы. (Я оставлю в стороне целый океан фактов, приведенных левой прессой и свидетельствующих, что путч вообще был инсценировкой). Да и последующие события, «удавшийся путч» — когда, например, Президент РСФСР переподчинял войска, снимал и назначал руководителя Всесоюзного телевидения, происходила новая перекройка структур власти — все это звенья той же цепи. Сейчас, как и 20, 50 или 70 лет назад, нами правит какой-то узкий, замкнутый слой, сегодня более анонимный, чем прежде — раньше мы могли судить о нем хоть по списку Политбюро.

Что же это за правящий слой? Как ни странно все тот же: высшие партийные функционеры. Почти все они — месяц, три месяца или год назад — заявили о выходе из КПСС. Но ведь эти слова их-то самих не изменили. Человек, с первых юношеских шажков в комсомоле, за десятки лет дойдя до верхов партаппарата, подвергался такой чудовищной обработке, что теперь не в его власти изменить свою психику. Например, одна из немногих газет (единственная?), сохранившая дух самиздатских диссидентских изданий — «Экспресс-Хроника» — сообщает по крайней мере о семи политических процессах за то время, пока Ельцин был первым секретарем в Свердловске. Судили за записи на магнитофон передач западного радио, за попытку встретиться с Сахаровым в Горьком... Как утверждает газета, приговоры тогда согласовывались с Первым Секретарем. И это не в особый укор Ельцину — так, вероят-

но, происходило во всех обкомах и никому из секретарей не приходило в голову, что тут есть о чем задуматься. Такова сейчас правящая верхушка — бывшие: Генсек, главный идеолог, первые секретари республик, обкомов.

Они распускают сейчас низовой аппарат, как раз менее коммунистически идеологизированный, хоть как-то связанный с жизнью. Есть в этой партии какой-то закон периодического самопоедания: большевики — меньшевиков, Сталин — часть большевиков. Но жизненность (и смертельная опасность для жизни народа) сохраняется в руководящем ядре. Они вырастят себе новую партию (уже создают) и новый аппарат, как раковая опухоль пускает новые метастазы вместо вырезанных.

Сразу после революции Ленин указал на роль партии пролетариата как узды для крестьянской стихии (80% народа!); потом признал, что настоящего, описанного Марксом пролетариата у нас нет, хотя есть пролетарская партия, а потом заметил, что линия партии определяется «тончайшим слоем» руководителей. Вот этот слой и сохранился до сих пор и по-прежнему правит страной. И он, как и всегда, мыслит «интернационально», т. е. рассматривает народ лишь как средство для достижения своих целей. Все более обнаженно, даже без попыток обмана, до сознания народа доводится, что он и не может претендовать на иную роль. Конечно, народ это все яснее понимает. Но долго ли так может продолжаться?

4. ЕДИНАЯ, НЕДЕЛИМАЯ!..

Силы, боровшиеся в РСФСР за власть с руководством СССР, использовали, как оружие, сепаратистские течения других республик. Как мы знаем, успех здесь был полный. Но наивно было надеяться, что такой процесс остановится на границах РСФСР. Он и пошел дальше, вглубь: все новые территории объявляют о своем суверенитете, «повышении статуса». Такой мощный, лавинный процесс, охвативший всю страну, должен иметь какую-то причину — хотя, конечно, в разных случаях примешиваются и специфические влияния. Это — не углубление национального самосознания: мы не слышим о взлете национальных литератур, подъеме интереса к истории отдельных народов. Акад. Лихачев связывает усобицы Киевско-Суздальской Руси с внезапным появлением множества новых культурных, экономических и политических центров. Наши же усобицы разыгрываются на фоне растущей нищеты и упадка культуры. Причина даже не в примитивном экономическом эгоизме: если Якутия может надеяться обогатиться за счет алмазов, а Ханты-Мансийская республика за счет нефти, то на что рассчитывают Белоруссия, Эстония или Мордовия? Вряд ли убедительно и расхожее мнение: угнетенные нации разбегаются из русской колониальной империи, «тюрьмы народов». Ведь о своем суверенитете объявила республика Коми, где русские составляют $^3/_4$ населения, или Карелия, где их $^9/_{10}$!

Скорее всего, мы имеем дело с болезнью государственного организма, дошедшей до стадии распада. Болезнь же заключается в том, что государство было коммунистическим. От его мертвого духа и бегут все, включая русских. Боюсь, что при этом происходит трагическая ошибка: растаскивая на части коммунистическое государство, мы получаем лишь множество нежизнеспособных коммунистических государств. Ведь в подавляющей их части у власти остаются выходцы из высшей партийной бюрократии.

Весь болезненный процесс распада России, да и всего СССР — результат коммунистического правления, ленинско-сталинской национальной политики. Для закрепления господства идеологии, враждебной каждому народу, самый сильный народ был вообще лишен своей государственности, а другие, наоборот, формально приобрели статус максимальной независимости. В результате была создана столь неустойчивая конструкция, что существование страны как единого государства обеспечивалось лишь господством коммунистической партии. Логически такой же принцип встречается в верованиях некоторых негритянских культов на Гаити. Там верят, что колдун может убить человека и вернуть из могилы в виде особого полуживого существа, зомби, действующего лишь по воле колдуна. Вот таким зомби и был СССР, созданный из убитой России.

Если говорить последовательно о преодолении господства коммунистической идеологии, то несерьезно останавливаться на запрете партии (при немедленном создании ее наследницы, претендующей на украденные у народа деньги). Тем более утешаться переименованием улиц и свержением памятников (как оно ни приятно). Необходим пересмотр принципов и прежде всего, отказ от ленинско-сталинской национальной политики. На месте СССР, построенного по каким-то жутким, нечеловеческим принципам, должно возникнуть нормальное государство или государства — такие, как дореволюционная Россия и подавляющая часть государств мира.

Но надо отдать себе отчет, что здоровое государство не может допустить право на «независимость вплоть до отделения» своих частей. Этот принцип, а вернее, лозунг эпохи надежд на скорую мировую революцию лишь потому не приводил к распаду СССР, что применить его в жизнь не давала коммунистическая диктатура. Но ни у какого нормального государства мира никакая его часть не обладает конституционным правом на отделение. Сейчас ясно, что таким государством СССР быть перестал. Процесс его распада необратим — по крайней мере, на ближайшее время. Но распад идет и в глубь России и реальный вопрос, как мне представляется стоит так: сохранится ли она в виде государства, основанного не на принципах ленинско-сталинской национальной политики, а на нормальной основе. Атомизация России на образования масштаба Хакассии с полумиллионным населением (из них хакассов — 12 процентов) создаст хаос и катастрофу на грандиозной территории и совершенно непрогнозируемого масштаба.

В общем виде, проблема, подымаемая каскадом «сепаратизаций», такова: **возможно ли вообще существование национальных меньшинств!** Заявляющие о своей независимости нации исходят из невозможности, нетерпимости для себя такого существования. Как ни парадоксально, декларации о независимости проблему только резко обостряют. Если в России национальные меньшинства составляют менее 20%, то в Татарстане — 50%, Коми — 75%, Карелии 90% и т. д. Большую часть этих меньшинств составляют русские. Национальное сознание русских все послереволюционные годы находилось под столь жестким давлением, что сейчас проявляется чуть ли не слабее, чем у всех других народов СССР. Поэтому можно было бы рассчитывать, что государства со значительным русским национальным меньшинством окажутся устойчивее. Но даже оставляя в стороне соображения справедливости, надо же видеть недальновидность таких надежд. Почему сепаратизм не пойдет внутрь этих новых формирований? В их основу закладывается такая же бомба, как была заложена в фундамент всей нашей страны еще в 1918 году.

Современная цивилизация, ориентированная на массовое производство, болезненно воспринимает все индивидуальное: в частности индивидуальный характер наций. Но как есть люди добрые, сильные, музыкальные, храбрые и т. д. — так есть нации более и менее многочисленные, живущие отдельно или в окружении другой, большей нации. Мне кажется, что от понятия национального меньшинства никуда убежать нельзя и в принципе в нем нет ничего ни ущербного, ни болезненного. Если они не угнетаемы, то их представители обладают многогранной, двойной культурой. Для многих народов России вхождение также в русскую культуру было путем в мировую цивилизацию. Например, некоторые известные писатели этих народов пишут по-русски, произведения других переводят на русский — и именно таким путем они становятся знаменитыми во всем мире. История показывает, что обитание в России не угрожает национальному существованию народов (конечно, лишь сравнительно с другими государствами: в истории любой страны было много жестокости и несправедливостей). Ведь и теперешняя волна суверенитетов возможна лишь потому, что многие народы сохранили свое национальное самосознание, находясь веками в русском государстве. А ведь некоторые из них упоминаются в наших древнейших летописях — например, Мордва. В качестве контраста, вся территория Восточной Германии, теперь воссоединившейся с Западной, была некогда населена славянами. И хотя некоторые их остатки сохранились, никому не придет в голову говорить о суверенитете сорбов. Еще драматичнее результат англо-саксонской колонизации: в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии. Там действительно нет национальных проблем — это были не «тюрьма народов», а плаха народов.

5. РУССКАЯ ПОЛИТИКА

Две силы: все углубляющееся распадание страны и усиливающееся убеждение, что властям нет дела до бед народа, конечно приведут нас к скорой катастрофе, вероятно, окончательной.

Единственный путь, выбрав который возможно надеяться на спасение — выработка и проведение последовательной национальной политики России и даже, как это ни звучит непривычно, — русской политики. Первым необходимым шагом должно быть освобождение страны от власти партийных функционеров. Речь идет, конечно, не о 18 миллионах, недавно состоявших в партии или 15 миллионах, там еще состоящих, — для очень многих партийность оборачивалась только взносами и скукой собраний. Что можно увидеть «партийного» в таком писателе, как Шукшин? Но слой высших функционеров несет в себе неизменный «генетический код» всей структуры. Предположим (как это ни фантастично), что все они вдруг искренне прозрели. Но, значит, они дожили до руководящих кресел и седых волос, не поняв того, что было ясно многим подросткам или колхозникам из глухих деревень. Как же тогда можно допускать до власти таких недоумков?

Скажите, кто поверил бы в денацификацию Германии, если бы ее президент, премьеры, министры (республики и земель) все недавно состояли бы в верхушке нацистской партии, в СС, а потом лишь заявили о своем выходе оттуда?

Солженицын подсчитал, что в ФРГ на процессах по денацификации осуждено 86 тысяч человек, а если перевести на нас по пропорции, то получится четверть миллиона! Нам не нужно сейчас уже ни судить, ни преследовать наших бывших коммунистических вождей, но избавиться от их власти — необходимо.

Есть у нас Антифашистский комитет. В Италии или Германии он был бы наверно нужен. Для нас — кажется затеей довольно академической. Вот Антикоммунистический комитет действительно необходим, но это труднее и опаснее, здесь затрагиваются реальные силы. А ведь последствия 74-летнего господства коммунистической идеологии не могут быть ликвидированы никакими административными мерами. Мы должны продумать, прочувствовать все это прошлое и в принципе отказаться от ленинско-сталинской национальной политики, от большевистской политики в отношении к деревне и от многого другого. И как один из результатов такого переосмысления — заменить в руководстве представителей коммунистической элиты на слой государственно и национально мыслящих руководителей.

Только новое руководство способно перейти к действительно национальной политике. И одним из первых действий должен быть выход России из (несуществующего) СССР. Это не означает полного разрыва с другими республиками. Мы только должны занять равное с ними положение и не тащить на себе наследство грязи и грехов СССР.

Россия может считать себя преемником

русской дореволюционной истории, но уж никак — не преемником СССР, построенного на заклании русского народа. Иначе тот ужас, который внушает коммунистический монстр, будет переноситься на Россию. Оставаться в составе России — будет казаться — все равно, что оставаться в СССР. Думаю, отчасти так сейчас дело и обстоит, сепаратизмы внутри России — частично, это бегство из СССР. Эту иллюзию надо прервать.

И в ряде вопросов, выход России из СССР, создаст здоровую основу для их решения. Только этот шаг позволит обсудить на справедливой основе вопрос о разделе долгов СССР между его наследниками. И только тогда со всей очевидностью встанет вопрос о защите русских в других странах, о планомерной поддержке русских беженцев, которых, увы, будет становиться все больше. Национальная позиция сделает очевидными и бессмысленность, и преступность участия русских войск в чужих национальных конфликтах. Нет оправдания для гибели русских солдат, например, в Карабахе. Сейчас, чем это принципиально лучше афганской войны? В обтекаемой форме похожие слова и произносились, но дела-то творятся старые — ведь «интернационалистское» мышление лежит в основе психологии теперешних вершителей нашей судьбы.

Зато армия, необходимая для защиты России, должна быть сохранена, включая ракетно-ядерный кулак. Когда «прогрессивное мировое сообщество» будет уверено, что оно если и способно победить Россию, то лишь ценой тяжелейших потерь, тогда оно на это не пойдет: к жертвам их общество не склонно.

Надо, чтобы туманная формула «единого экономического пространства» не превратилась в новый способ выкачивания средств из уже и так обескровленной России. «Правда» сообщает, что с нового года Литва будет платить России за нефть, газ и уголь в СТО РАЗ больше. А до того? Кто, как допустил, чтобы наша продукция уходила практически даром? Материалист, конечно, скажет, что ответ прост — взятка. Но мне кажется, что очень простые решения редко бывают исчерпывающими. И если искать глубже, то зе стимулирование распада страны не желко было заплатить и последний русский рубль. Это сообщение появилось сразу после того, как Невзоров рассказал о подобных поставках. Появилось ли бы оно без того? А тогда вопрос: что и через какие границы утекает еще из нашего и так пустого кармана?*

Чем больше связей сохранится между республиками бывшего СССР, тем всем нам будет легче. Но все республики равно заинтересованы в их сохранении: оно не должно происходить за наш счет. Преступно дальше нагружать страну займами, по которым расплачиваться (скорее всего последними ископаемыми или уже территориями) придется нашим потомкам.

Мы должны запомнить политических деятелей, пренебрежительно и враждебно третирующих утесняемых русских в Молдавии и Прибалтике, легко предлагающих отдать Курилы или часть Псковщины, пристегивающих нас к американской коляске и ссорящих с исламским миром. Запомнить их имена и сделать их широко известными.

Только власть, опирающаяся на уверенность народа в том, что она защищает его интересы, может сейчас позволить себе быть сильной. А без сильной власти обречены на провал любые наши экономические реформы.

Все мы видим пример «рыночных отношений», приводящих лишь к самым плачевным для потребителя результатам, — это любой обыкновенный продовольственный рынок. Всем известна причина: то, что на рынках возникает монополия, препятствующая снижению цен. И в масштабе страны только сильный государственный контроль может на современном этапе обеспечить, чтобы рыночные отношения привели к увеличению продукции и подъему жизненного уровня, а не обогащению мафий и международных спекулянтов.

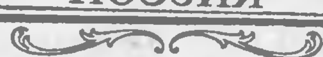
С того момента, когда мы можем проследить мысль наших предков — когда они стали выражать ее письменно — мы видим, что они осознавали себя не древлянами, полянами или вятичами, а Русью. Объем этого понятия был им так ясен, что они не трудились его пояснять (отчего возникли впоследствии интересные дискуссии между историками). Размеры Руси менялись — то расширяясь до крупнейшего государства средневековой Европы, то сжимаясь под ударами монголов, то опять расширяясь не юг и зе Урал. Но преемственность этого понятия сохранялась.

В XIII и XIV веках, после монгольских набегов, наши предки — кто оставался в живых — выходили из лесов и начинали заново отстраивать сожженные села, города, храмы. Русь Ярослава Мудрого сократилась до небольшого Северо-Восточного осколка, теснимого к тому же шведами, Ливонским орденом и Литвой. Оснований, чтобы опустить руки, у русских было в то время, пожалуй, не меньше, чем сейчас. Им могло показаться, что Русь погибла, ведь было же создано «Слово о погибели русской земли». Но они отстояли столь сократившуюся тогда «Русь» и положили начало многим векам истории, о которой Пушкин потом сказал, что ни за что на свете не хотел бы иметь другую.

Для народа — катастрофа, если он сдается, пока его дело еще не проиграно. Но катастрофой может стать и решимость биться до последнего за нечто, чего уже не существует. Как кажется, несуществующим является на данный момент СССР — «Руси» в таком объеме сейчас уже нет. Но после всех ударов и поражений, понесенных русскими в этом веке, история предлагает нам задачу более ограниченную, зато реальную: отстоять «Русь» в тех размерах, в которых она еще сохранилась. Может быть, на это у нас хватит сил?

* Программа «Время» сообщила, что убытки России от торговли с «бывшими субъектами СССР» к концу года составят 60 миллиардов долларов.

ПОЭЗИЯ



ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



ПЕРЕД ГИБЕЛЬЮ СВЕТА СЕГО

Бабочка

Вьешься, не зная заботы
В нашем убогом краю.
Белая бабочка, кто ты?
Тайну открой мне свою!

Или о чем вспоминаешь,
Светлым миганьем полна?
— Если умрешь, то узнаешь! —
Так отвечала она.

Мыслью, и словом, и делом
Столько я раз умирал,
Но за последним пределом
Я ничего не узнал.

— Мыслью, и словом, и делом
Мало еще ты страдал,
И за последним пределом
Ты не совсем умирал.

Живой голос

Говори! Я ни в чем не согласен.
Я чужак в твоей женской судьбе.
Только голос твой чист и прекрасен,
Он мне нравится сам по себе.

Нахваталась ты слов, нахваталась!
Все твои измышления — ложь.
Только в голосе жизнь и осталась,
Вызывая ответную дрожь.

Говори! Я с тобой, словно в чаще,
И твой голос могу осязать:
Шелестящий, журчащий, звенящий...
Но такое нельзя рассказать!

КУЗНЕЦОВ Юрий Поликарпович родился в 1941 году на Кубани. Окончил Литературный институт. Автор почти двадцати поэтических сборников, в том числе «Во мне и рядом — даль», «Край света — за первым углом», «Выходя на дорогу, душа оглянулась», «Русский узел», «Ни рано ни поздно». В 1990 году издательство «Современник» выпустило книгу его избранных переводов «Пересаженные цветы». Лауреат Государственной премии России. Живет в Москве.

Он звенит, он летит, он играет,
Как малиновка в райском саду.
Даже платье твое подпевает,
Мелодично шумит на ходу.

Даже волосы! Каждый твой волос
От дыханья звенит моего...
Я хотел бы услышать твой голос
Перед гибелью света сего!

Ой упала правда

Ой упала правда, ой упала!..
Что за кривда яму ей копала
И соломки сверху накидала?
Ой упала правда, ой упала!..

Мы такого слыхом не слыхали,
Мы такого зраком не видали.
Мы пропали с братом, ой пропали!
Эту яму вместе мы копали.

Говорили, что она для злата...
Но копал я для родного брата.
Для кого копал он, знать не знаю,
Он молчит, я головой качаю.

Ой упала правда, ой упала!..
Наша воля в том конце копала,
А соломку ведьма накидала.
По соломке правда и пропала...

* * *

Пыль солнца земля отряхает,
И эхо гуляет в лугах.
Душа на цветах отдыхает,
На девушках и облаках.

Синеют, алеют, белеют,
И эти смеются, и те.
И легкие бабочки веют
На этой и той высоте.

Доверчиво очи синели,
Анютины глазки цвели...
Прошли мои дни, прошумели.
Ни облачка нет. Ни земли.

А сказка все длится и длится,
И взгляд мой теряется там,
Где веют прекрасные лица
И платья метут по цветам.

Искусство и правда

Шекспир качает глубиной
Для посторонних глаз.
Он только гений площадной
Со страстью напоказ.

Качая миром, испокон
Стыдится наш мужик.
Не для других страдает он
И потому велик.

Тайнодейство

Что ни город, то сброд и содом,
А деревня — глухая проруха.
Вольный каменщик,
где же твой дом?
Оглянись на развалины духа!

— Так и надо! — сказал его взгляд.
Хорошо, что закаты кровавы,
И старик со старухой сидят
У корыта разбитой державы.

Хорошо, что повсюду обман,
И для ближнего вырыта яма.
Этот гибельный мир — котлован
Для строительства нового храма.

Где вы, где вы, его мастера?
Где вы, где вы, работные братья?
Он решил, что настала пора
И поднялся на гору заклятья.

Одну руку в пространство простер,
А другую, согласно уставу,
Вертикально поставил в подпор
И сказал громким голосом: — Тау!

Затряслась, загудела гора,
Зашумела долина, завыла.
И явились на свет мастера,
Подмастерья и прочая сила.

Каждый слажен, проворен и быстр,
И в уме, как машина, считает.
— Все готово, великий магистр!
Только жертвы одной не хватает.

— Вот она! — показал им
магистр. —
Вот основа для нашего рая! —

И потряс в новом облаке искр
Золотой головой Николая.

— За работу! — велел его взгляд.
Пусть закаты над миром кровавы,
И старик со старухой сидят
У корыта разбитой державы...

Только тайна пространство сечет,
Только тайна горами колышет.
Кто для слова рожден, тот речет,
Кто для слуха рожден,
тот услышит.

***

Молчание Пифагора

Он жил и ничего не мог забыть,
Он камень проницал духовным
зреньем.
Ему случалось человеком быть
И божеством, и зверем,
и растеньем.

Свои рожденья помнил с оных пор,
И в нескольких местах бывал он
разом.
Река встречала:
— Здравствуй, Пифагор!
Он проходил:
— Прощай, мой бывший разум!

Он в тишине держал учеников
И вел беседы только через стену.
И измышлял для будущих веков
Мусическую стройную систему.

Он говорил: — Она должна звучать,
Но тайно, как община на Востоке.
Об истине предпочитал молчать,
Но позволял окольные намеки:

«Не спорь с народом.
Слово нагишом
Не выпускай: его побьют камнями.
Живой огонь не шевели ножом:
Он тело бога. Не любись
с тенями...»

Он говорил на берегу морском,
Где волны отливали синим светом:
— Мы промолчать не можем обо
всем,
Так помолчим хотя бы вот об этом!

Он ставил точку в воздухе,
как рок:
— Вот точка духа. Вот его основа!
Все остальное мировой поток,
То бишь число.
А посему ни слова!

Он этим ничего не утвердил
И в прошлый раз на берегу
пустынном,
Когда он треугольник начертил:
— Вот красота! Тут множество
в едином.

Безмолвствует такая красота,
Она не для привычного сознанья.
Он первым из людей замкнул уста,
И сей завет назвал щитом
молчанья.

Своим молчаньем он сказал о том,
Что истина рождается не в спорах.
Но многие философы потом
Жизнь провели зазря
в словесных орах.

Но есть ущерб, и по нему узнать
Легко в толпе иного человека:
Он хочет что-то важное сказать,
Его душа немотствует от века.

Река времен все помнит и шумит,
Безмолвствует и спит река
забвенья.
Одна река мерцает и дрожит,
Другая — тень застывшего
мгновенья.

Он звенит, он летит, он играет,
Как малиновка в райском саду.
Даже платье твое подпевает,
Мелодично шумит на ходу.

Даже волосы! Каждый твой волос
От дыханья звенит моего...
Я хотел бы услышать твой голос
Перед гибелью света сего!

Ой упала правда

Ой упала правда, ой упала!..
Что за кривда яму ей копала
И соломки сверху накидала?
Ой упала правда, ой упала!..

Мы такого слыхом не слыхали,
Мы такого зраком не видали.
Мы пропали с братом, ой пропали!
Эту яму вместе мы копали.

Говорили, что она для злата...
Но копал я для родного брата.
Для кого копал он, знать не знаю,
Он молчит, я головой качаю.

Ой упала правда, ой упала!..
Наша воля в том конце копала,
А соломку ведьма накидала.
По соломке правда и пропала...

• • •

Пыль солнца земля отряхает,
И эхо гуляет в лугах.
Душа на цветах отдыхает,
На девушках и облаках.

Синеют, алеют, белеют,
И эти смеются, и те.
И легкие бабочки веют
На этой и той высоте.

Доверчиво очи синели,
Анютины глазки цвели...
Прошли мои дни, прошумели.
Ни облачка нет. Ни земли.

А сказка все длится и длится,
И взгляд мой теряется там,
Где веют прекрасные лица
И платья метут по цветам.

Искусство и правда

Шекспир качает глубиной
Для посторонних глаз.
Он только гений площадной
Со страстью напоказ.

Качая миром, испокон
Стыдится наш мужик.
Не для других страдает он
И потому велик.

Тайнодейство

Что ни город, то сброд и содом,
А деревня — глухая проруха.
Вольный каменщик,
где же твой дом?
Оглянись на развалины духа!

— Так и надо! — сказал его взгляд.
Хорошо, что закаты кровавы,
И старик со старухой сидят
У корыта разбитой державы.

Хорошо, что повсюду обман,
И для ближнего вырыта яма.
Этот гибельный мир — котлован
Для строительства нового храма.

Где вы, где вы, его мастера?
Где вы, где вы, работные братья?
Он решил, что настала пора
И поднялся на гору заклятья.

Одну руку в пространство простер,
А другую, согласно уставу,
Вертикально поставил в подпор
И сказал громким голосом: — Тау!

Затряслась, загудела гора,
Зашумела долина, завыла.
И явились на свет мастера,
Подмастерья и прочая сила.

Каждый слажен, проворен и быстр,
И в уме, как машина, считает.
— Все готово, великий магистр!
Только жертвы одной не хватает.

— Вот она! — показал им
магистр. —
Вот основа для нашего рая! —

И потряс в новом облаке искр
Золотой головой Николая.

— За работу! — велел его взгляд.
Пусть закаты над миром кровавы,
И старик со старухой сидят
У корыта разбитой державы..

Только тайна пространство сечет,
Только тайна горами колышет.
Кто для слова рожден, тот речет,
Кто для слуха рожден,
тот услышит.

✦✦✦

Молчание Пифагора

Он жил и ничего не мог забыть,
Он камень проницал духовным
зреньем.
Ему случалось человеком быть
И божеством, и зверем,
и растеньем.

Свои рожденья помнил с оных пор,
И в нескольких местах бывал он
разом.
Река встречала:
— Здравствуй, Пифагор!
Он проходил:
— Прощай, мой бывший разум!

Он в тишине держал учеников
И вел беседы только через стену.
И измышлял для будущих веков
Мусическую стройную систему.

Он говорил:— Она должна звучать,
Но тайно, как община на Востоке.
Об истине предпочитал молчать,
Но позволял окольные намеки:

«Не спорь с народом.
Слово нагишом
Не выпускай: его побьют камнями.
Живой огонь не шевели ножом:
Он тело бога. Не любись
с тенями...»

Он говорил на берегу морском,
Где волны отливали синим светом:
— Мы промолчать не можем обо
всем,
Так помолчим хотя бы вот об этом!

Он ставил точку в воздухе,
как рок:
— Вот точка духа. Вот его основа!
Все остальное мировой поток,
То бишь число.
А посему ни слова!

Он этим ничего не утвердил
И в прошлый раз на берегу
пустынном,
Когда он треугольник начертил:
— Вот красота! Тут множество
в едином.

Безмолвствует такая красота,
Она не для привычного сознанья.
Он первым из людей замкнул уста,
И сей завет назвал щитом
молчанья.

Своим молчаньем он сказал о том,
Что истина рождается не в спорах.
Но многие философы потом
Жизнь провели зазря
в словесных орах.

Но есть ущерб, и по нему узнать
Легко в толпе иного человека:
Он хочет что-то важное сказать,
Его душа немотствует от века.

Река времен все помнит и шумит,
Безмолвствует и спит река
забвенья.
Одна река мерцает и дрожит,
Другая — тень застывшего
мгновенья.

Какие прошумели племена
На берегу печали и раздора!
Какие пролетели времена
Над златобедрым прахом
Пифагора!

Великая любовь не говорит,
А малая хохочет и болтает.
Великая печаль не голосит,
А малая и ропщет и рыдает.

Любовь слила два сердца —
взор во взор.
Они молчат на берегу пустынном.
Ни слова, о ни слова, Пифагор,
О красоте, чья двойственность
в едином!

У вечного покоя не шумят,
А для других стоят в молчанье
строгом.
Не просто так покойники молчат,
А чтоб душа заговорила с Богом.

Затишье перед битвой чутко спит,
Безмолвье после битвы спит
глубоко.
Душа живая около молчит,
А души мертвых... те молчат
далеко.

Бывало, в бой стеной молчанья
шли:
Ни голоса, ни выстрела, ни звяка.
Психической атаку нарекли.
Психея, ты молчишь? Твоя атака!

Ты помнишь зал?
Беспечный бал гремел.
Но ты вошла — и все как онемели.
И кто-то, молвил:
«Ангел пролетел!»
Не только ангел. Годы пролетели...

Молчанье — злато, слово —
серебро,
А жизнь — копейка,
с мелким разговором.
Silentium![1] Вытряхивай добро,
Сдавай бутылки вместе
с Пифагором!

Когда молчать преступно, то умри,
Не покупай народного вниманья!
В речах вождей блистает изнутри
Дешевая фигура умолчанья.

Что шепчет демон, ухо щекоча?
Откуда в слабой женщине
болтливость?
Где кротость духа? Где его свеча?
Шумит свобода.
Где ее стыдливость?..

Вперед, вперед!
Веди, угрюмый стих!
Веди меня по всем камням-дорогам
К безмолвью просветленных
и святых,
Обет молчанья давших перед
Богом.

Веди в подвалы вздыбленных
держав,
Где жертвы зла под пытками
молчали;
Ни истины, ни правды не предав,
Они самозабвенно умирали.

Замри, мой стих!..
Безмолвствует народ
В глухой долине смуты
и страданья.
И где-то там, из мировых пустот,
Очами духа светит щит молчанья.

---
[1] Молчание! (лат.).

Последнее искушение

Сидя в лодке, учил он народ,
Но сошло на него искушенье.
И в блистающем зеркале вод
Он увидел свое отраженье.

На него, как на призрак взирал,
Как на беса, который умело
Все движенья его повторял,
Но другой половиною тела.

Половина, что правой была,
Оказалась у призрака левой.
Половина, что левой была,
Оказалась у призрака правой.

В полный голос зашлась тишина,
И случилось на море трясенье.
— Отойди от меня, сатана! —
Он сказал на свое отраженье.

В полный голос зашлась тишина,
И разбились зеркальные воды.
Отошел от него сатана,
Но шипел, словно пена свободы:

— Сидя в лодке, учил ты любви,
Но народ, как твое отраженье,
Повторял все движенья твои,
Им давая другое значенье.

Ты не зря на свой призрак похож,
На Антихриста царства земного.
Ты еще от него отойдешь
И не скажешь при этом ни слова.

Час настал!..
Перед тем, как принять
Все большие и малые муки,
Встретил сын свою светлую мать
И услышал счастливые звуки.

Как свеча, его нежность зажглась,
Но сошло на него искушенье.
В темных-темных зрачках ее глаз
Он увидел свое отраженье.

Обнял мать на последнем пути
И увидел Антихриста снова.
От нее поспешил отойти,
Не сказав ни единого слова

Тяжко было ему принимать
Все большие и малые муки,
На восход и закат простирать
Навсегда пригвожденные руки.



ПРОЗА

МЫ НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ РОМАНА ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГОЛОВКИНОЙ «ПОБЕЖДЕННЫЕ». ЭТО ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, НО МЫ ВСЕ ЖЕ ПОСТАРАЕМСЯ ОГРАНИЧИТЬСЯ МИНИМАЛЬНЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ. ПЕРЕД ВАМИ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ЖИЗНИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ В НАЧАЛЕ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ, О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ И КЛАССОВОЙ НЕНАВИСТИ, О СВЕТЕ И ТЬМЕ, О ДОБРЕ И ЗЛЕ...

ВСТРЕЧА С ХОРОШЕЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

В 1975 году на квартире известной правозащитницы Людмилы Алексеевой я встретился и познакомился с одним человеком из Питера, который пытался «пристроить», как он утверждал, «превосходный» роман о судьбах российской интеллигенции. Л. Алексеева особого интереса не проявила по причине «нечитабельной» объемности рукописи. Роман воистину был угрожающих размеров: более тысячи машинописных страниц.

«Пристроить» же роман можно было единственным способом — переправить его в издательство «Посев». Для этого необходимо было перефотографировать его, пленки компактно уместить в предметах, используемых в этих целях. То есть предстояла сложная и по тем временам опасная операция нелегального вывоза. «Каналы» были ограничены и использовались в основном для вывоза информации правозащитного характера.

Огорченный отказом, владелец рукописи, узнав о том, что я издаю самиздатский журнал, обратился ко мне с предложением поместить хотя бы несколько глав и попытаться заинтересовать романом читателей неофициальной литературы. Я тоже был весьма удручен объемом, но согласился по крайней мере ознакомиться с ним.

Однако суматоха полуподпольщины долгое время не предоставляла мне возможности выполнить обещание.

Через какое-то время я поехал на десять дней к своим родителям в деревню под Белгород. Читать начал в поезде, и последующие десять дней мои родители практически не видели меня, потому что, начав читать, я уже не мог оторваться.

К тому времени уже были прочитаны Солженицын и Солоневич, и десятки других авторов, повествующих о наших чудовищных временах, и что, казалось, может еще удивить нас, искушенных в этой тематике?

Когда после кому-нибудь из своих друзей я говорил, что могу дать почитать вещь, равной которой не знаю, друзья улыбались, неохотно брали «кирпич» и... исчезали кто на десять дней, кто и более.

Я решил во что бы то ни стало переправить роман в «Посев». Нужны были деньги на перепечатку и на перефотографирование. Рублей четыреста—пятьсот. Для моего тогдашнего бюджета сумма немыслимая. У одного моего друга, Игоря Николаевича Хохлушкина, появилась возможность договориться с машинисткой о «льготном тарифе». Я передал ему рукопись в мастерской Бахрушинского музея, где она через несколько дней была изъята сотрудниками КГБ при обыске.

С тех пор я не перечитывал роман. Читать буду в журнале. Возможно, сегодняшнее прочтение в чем-то и не совпадет с первым, но все равно я поздравляю читателей «Нашего современника». Их ожидает встреча с хорошей литературой.

Л. БОРОДИН.

О СУДЬБЕ ЭТОЙ КНИГИ И ЕЕ АВТОРА

Семья Н. А. Римского-Корсакова жила в Петербурге на Загородном проспекте. Софья была любимой дочерью великого композитора, она помогала ему в создании либретто опер, ездила с ним за границу. Выйдя замуж за В. П. Троицкого, она осталась жить в том же доме, только в соседней квартире. В 1904 году у нее родилась дочь Ирина, еще через год — другая дочь, Людмила. Дочери учились в гимназии Стоюниной. Это была одна из лучших в Петербурге женских гимназий с прекрасными преподавателями. Так, философию преподавал известный русский философ Н. О. Лосский. Когда после революции женскую и мужскую гимнази на Кабинетной улице (ныне улица Правды) соединили, Ирина познакомилась и подружилась с сыном философа — Борисом Николаевичем Лосским. Вместе с матерью она провожала в 1922 году тот пароход, на котором были высланы за границу многие ярчайшие представители русской культуры. Семья Лосских покидала Родину на этом теплоходе.

Как и вообще в среде русской интеллигенции конца девятнадцатого — начала двадцатого веков, в семье Римских-Корсаковых не было особой религиозности. И ровесники века слегка бравировали холодностью по отношению к Церкви. Но когда это поколение пережило первую мировую войну, большевистский переворот, гражданскую войну, террор, гибель близких, гонения на Церковь, особенно в 1921—1922 годах, гибель патриарха Тихона после его стойкого противостояния властям, гибель митрополита Вениамина и других светочей Православия, в русских людях произошел возврат к религии — и как последнее прибежище для души, и как тихое сопротивление безбожным властям, несправедливо оболгавшим и разорившим Церковь, которая давала устойчивость и личности, и нации.

Эти события оказывали влияние на будущего писателя. Закончив среднее образование, Ирина Владимировна позднее поступила в Институт истории и искусств, открытый в 1912 году известным меценатом графом Зубовым. Она успешно училась на филологическом, на четвертом курсе имела свою тему у известного академика В. Н. Перетца. Девушке открывался путь в аспирантуру. Но при передаче учебной части Института в Университет (в 1930 году) она была отчислена за происхождение: один дедушка — великий русский композитор, другой — прославленный царский генерал Троицкий, участник русско-турецкой войны. И навсегда осталась Ирина Владимировна с незаконченным высшим. В другие учебные заведения ее уже не брали.

В те времена при Александро-Невской Лавре существовало тайное православное братство, организованное отцом Гурием. Ирина Владимировна входила в него. В романе «Побежденные» есть эта линия.

Огромное чувство любви и преданности связывало Ирину Владимировну с мужем. В 1934 году она вышла замуж за Капитона Васильевича Головкина, бывшего царского офицера, получившего в первую мировую войну орден святого Георгия. В 1936 году у Головкиных родился сын Кирилл. С самого начала войны в 1941 году Капитон Васильевич оказался на фронте. Недолгое счастье Ирины Владимировны оборвалось. Страшные беды посыпались одна за другой. За недоносительство была репрессирована сестра Людмила. До сих пор нет ее официальной реабилитации. Осталась только справка о гибели. Вслед за Людмилой пытались выслать Софью Николаевну, но тяжело больная дочь великого композитора «благополучно» умерла в своей постели, не дождавшись, когда ее вышлют. Затем наступили тяжкие блокадные дни. Всю блокаду Ирина Владимировна провела в родном городе на Неве с маленьким сыном, работая в госпитале рентгенотехником. В том же злополучном 1942 году она стала вдовой — Капитон Васильевич погиб на фронте смертью храбрых.

Сын Кирилл, переживший блокаду, был очень одаренным человеком. Он с медалью закончил среднюю школу, музыкальную, механико-математический факультет Университета, в тридцать лет написал докторскую диссертацию, но в возрасте тридцати трех лет внезапно скончался. Еще одно страшное горе вошло в судьбу Ирины Владимировны. Образы безвозвратно потерянных родных и близких людей не умирали в ее душе. Чтобы ожить на страницах романа.

Я познакомилась с Ириной Владимировной в 1980 году. Даже тогда круг ее друзей, сильно прореженный властями и временем, был интересен и по личностям и по именам, просиявшим в русской культуре, — Ковалевские, Фаворские, Семеновы-Тяньшанские, Блоки. Никто из Римских-Корсаковых не эмигрировал, хотя во французском банке лежали некоторые средства, оставшиеся от композитора.

Квартира, когда-то принадлежавшая родителям Ирины Владимировны, была с тридцатых годов коммунальной. Памятные вещи приходилось тщательно оберегать. Лишь в 1971 году был открыт музей Римского-Корсакова, семья отдала безвозмездно все вещи, кроме картин и рукописей. Лишь однажды за все время блокады, в очень тяжелый момент, Ирина Владимировна продала зеркало, принадлежавшее деду. Потом его удалось отыскать и поместить в музее. Благодаря детям и внукам Римского-Корсакова музей обладает подлинными вещами семьи, в отличие от множества других музеев страны — Блока, Достоевского, Шаляпина. Сотрудники музея и потомки композитора — настоящие энтузиасты русской музыкальной культуры. Ирина Владимировна играла большую роль в создании и существовании музея. Ее руками создавалась экспозиция, составлялись репертуары музыкальных вечеров, она проводила экскурсии. Ее воспоминания об этом доме и семье записаны на магнитофон и хранятся в театральном музее.

Ирина Владимировна была талантливым человеком со сломанной судьбой, но с твердым, непреклонным характером. Внутренне она всегда была в оппозиции к режиму, но никогда не была «врагом народа», потому что сама была лучшей частью этого народа. Никогда не заблуждаясь по поводу всего происходящего в стране и разрушительности для России идей всех «измов», она осознавала, кто истинный враг России, как он могуществен и коварен, но всегда верила, что день освобождения и воскрешения настанет, и всю свою жизнь стремилась сохранить

для этого дня остатки русской культуры. Страдания людей своего круга, ставших жертвами классовой борьбы и дьявольского произвола, она отразила в своем романе «Побежденные».

Ирина Владимировна не раз подчеркивала в разговорах, что в романе нет ни одного вымышленного факта. Прообраз Аси Бологовской — во многом она сама, кроме ссылки и трагической кончины, а Лели Нелидовой — родная сестра Людмила, погибшая в лагере или по дороге в него. Как больно смотреть на дореволюционную фотографию двух красивых девочек, которым жизнь, казалось, обещала впереди только радость!

Прообразом главного романтического героя Олега Дашкова явился муж Ирины Владимировны — Капитон Васильевич Головкин. Его портрет в форме царского офицера с орденом святого Георгия на груди всегда стоял у нее на комоде, а ведь даже это было опасно! В 1918 году Головкин был участником тайной организации, по-видимому, связанной с ярославским мятежом. Он ездил в Ярославль с подложными документами, и в доме его матери была засада. Чудом избежав западни и не попав в лапы большевиков, он всю свою жизнь находился в постоянном ожидании ареста, зная о чудовищных зверствах большевиков в Ярославле после подавления мятежа.

До войны Ирина Владимировна вела записи, в которых отражала все события в жизни мужа и его семьи. Но, проживая в коммуналке с разными соседями типа описанных в романе Хрычко, она побоялась хранить записки дальше и уничтожила их. Потом, когда уже писался роман «Побежденные», эти записи воскресала в ее памяти, входили в структуру произведения. Всю свою жизнь Ирина Владимировна бережно лелеяла в душе память о муже. Она не выходила замуж и даже осуждала тех, кто может, потеряв любимого и единственного человека, обзаводиться новой семьей. По ее представлениям, воспитывавшимся в семье Римских-Корсаковых, женщина после смерти мужа должна «красиво вдоветь».

Первоначально роман назывался «Лебединая песнь». Олег Дашков — центральная фигура всего произведения. Некоторые экземпляры Ирина Владимировна даже подписала псевдонимом — Дашкова. Со временем роман укрупнился, поменялось название, а окончательные варианты Ирина Владимировна уже подписывала фамилией мужа — Головкина.

В кругу друзей Ирины Владимировны многие читали роман, и никто не донес!

Благодарю Бога, что мне довелось познакомиться с Ириной Владимировной. Став соседями, мы очень быстро сдружились. Она доверилась мне и дала почитать свой роман. Лишь после того, как я прочла его и высказала все свои суждения — положительные и отрицательные, — она призналась мне, что роман принадлежит ее перу. Я предложила свои услуги в качестве переписчицы. Мы сделали несколько копий и раздали их надежным друзьям. Один экземпляр через сотрудника французского посольства удалось передать в Париж Б. Н. Лосскому. Этот смелый поступок говорит о характере Ирины Владимировны. Ведь она знала о судьбе машинистки, хранившей у себя «Архипелаг Гулаг» Солженицына, и, кажется, была знакома с этой машинисткой лично.

Были, видимо, и другие попытки сохранить роман и передать на Запад. И со стороны О. А. Ладыженской, и со стороны Ю. В. Маретина, и со стороны писателя Л. И. Бородина. И попадание романа в архивы КГБ было, видимо, тоже неоднократным. Один из экземпляров попал туда после обыска у А. Г. Блок, другой — во время ареста Л. И. Бородина. По счастливой случайности эти экземпляры подписаны псевдонимом — Дашкова, с названием «Лебединая песнь».

Слышала я и о том, как жена композитора Шабалина, работавшая в Публичной библиотеке, сдала роман на хранение в рукописный отдел, и вряд ли законным образом.

Один из вариантов романа хранился у друга семьи Римских-Корсаковых, московской певицы Л. И. Янсен. После смерти Ирины Владимировны она предпринимала попытки опубликовать роман, но безуспешно. Наконец, в начале 1991 года она передала рукопись в «Наш современник». По счастливому совпадению в это же самое время и я решилась предложить имеющийся у меня экземпляр «Нашему современнику», который с каждым годом все больше и больше завоевывает мои симпатии. Московская и петербургская линии таким образом пересеклись в одной неслучайной точке — так решилась судьба выхода «Побежденных» к широкому читателю. Жаль, что Ирина Владимировна не дожила до этого дня и так и не увидела свое детище опубликованным! Скончалась И. В. Головкина 16 декабря 1989 года.

До сих пор мы читали литературу русскую, советскую, в последнее время — эмигрантскую и диссидентскую. До конца столетия нам не успеть узнать все накопленное за рубежом — Зайцева, Шмелева, Осоргина, Гумилева, Мережковского, Гиппиус, Берберову, Шаховскую, Набокова... А еще — Солженицын, Голицын, Волков. После того «погружения во тьму», которое произошло с русской страной и ее культурой, всплывают, подобно граду Китежу, и такие произведения, как роман Ирины Владимировны Головкиной «Побежденные». Этим произведениям, как драгоценным винам, настает свой черед. А сколько еще хранится этих богатств в архивах КГБ, в шкафах, на чердаках, в укромных тайниках!

Н. Ю. КВЯТКОВСКАЯ (Санкт-Петербург).

ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)



ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

...Над страной моей родною
встала смерть...
А. Белый.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Весь мир превратился в поминки. Трудно вообразить, что на него можно смотреть радостными глазами. Елочка чувствовала себя так, будто стояла у дорогой могилы, где все говорят шепотом и не улыбаются, и лишь могильщики деловито переговариваются меж собой и даже осмеливаются смеяться.

Умерла ее Родина. Ее Россия. Умерла ее нежность. Умерли походы князя Игоря на половцев, Куликовская битва, Отечественная война, оборона Севастополя, победы на Балканах.

Еще в младших классах Смольного она была удивлена, когда в одном французском журнале натолкнулась на цитату: «La France c'est une Personne» [1],— ведь она то же самое думала о России! Это была одна из самых заветных идей, рожденных в недоступной глубине ее существа: Россия — личность, светлый дух небесной высоты. Этот дух имеет в мире свою великую цель и свое тело, меняющее формы при каждом повороте истории. Государство — только жалкое несовершенное орудие Ее сверхчеловеческих идей. Миссия России исполнена глубин: Россия стоит между западом и востоком, разделяя и соединяя два чуждых мира; Россия защищает и охраняет славянские народы и призвана объединить их вокруг себя; Россия — защитница

[1] Франция — личность (*франц.*).

христианской восточной церкви; в Россию изначально заложено искание истины и тоска по вечной правде, Ее народ — «богоносец»; Она никогда не станет буржуазной по европейскому образцу — самодовольное и тупое обывательское благополучие слишком бы исказило и унизило Ее свободную Личность; у Нее свои избранники — деятели, подобные Петру Великому, и святые, как Сергий Радонежский; Она отражает Свой лик в неповторимой природе, Она наполняет своею благодатью нивы — хлеб, питающий нас!

Как дошла до таких мыслей тринадцатилетняя девочка? Читая, она встречала напечатанными свои собственные, никому не высказанные думы, и удивлялась, что сама дошла до них, а между тем отовсюду только и слышишь, что ты еще маленькая девочка и должна молчать, когда говорят взрослые!

Она была сиротой: мать умерла от родильной горячки, отец — земский врач — погиб в эпидемию холеры.

— Умереть, спасая народ, так же героично, как умереть на поле битвы! Почему не раздают Георгиевские кресты земским врачам! Это еще будет, когда оценят, наконец, подвиги нашего земства! — втолковывала она подругам.

В классе Елочка шла первой; держалась всегда очень сдержанно и серьезно; никогда не обнималась и не перешептывалась с подругами о своих или чужих тайнах. Сверстницы не столько любили ее, сколько уважали, и всегда просили рассудить в случае недоразумений или ссор.

— Елочка не будет выезжать в свет! — Елочка сказала, что ей все равно, сколько сантиметров в обхвате у нее талия! — Елочка пойдет на Бестужевские курсы — у нее уже все решено!

— Ваша Елочка Муромцева какая-то Шарлотта Корде или революционерка! — сказала о ней одна из пепиньерок[2], но в ответ услышала:

— Вовсе не Корде и не революционерка. Она — Жанна д'Арк!

Тринадцать лет ей исполнилось в 1914 году, когда началась война. Вместе с другими институтками она стала писать письма солдатам, собирать посылки на фронт, шить платки, щипать корпию и жить ожиданием известий с театра войны. Ее сводила с ума героическая оборона Бельгии. Антверпен стал ей дорог не меньше Севастополя, а король Альберт занял в сердце место среди обожаемых героев России — портрет его лежал у нее под подушкой.

Но через год, когда началось отступление русских из Галиции, она забыла о Бельгии: в любви к Родине появилась тревога за нее, как за тяжелобольного близкого человека. Летом в имении у бабушки Елочка забиралась в гущину сада, становилась среди яблонь на колени и подолгу умоляла Бога послать победу русским войскам. И совсем еще по-детски давала обеты отказаться от сладкого или от интересной прогулки. При известии о поражениях горько плакала. Когда в газетах было объявлено о взятии немцами Варшавы, весь день она и ее француженка гувернантка проходили с красными глазами. Карманные деньги, которые дарила ей бабушка, она по-прежнему тратила на посылки солдатам и приходила в отчаянье, что по возрасту не может стать сестрой милосердия — в белой косынке с крестом.

И вдруг — позор, стыд — «Долой войну!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», Октябрь, революция, Россия — перед бездной!..

Не прозвучит ли тихий божественный голос к русской Жанне д'Арк:

— Молись! Господь избрал тебя спасти Россию! Святые Александр Невский и Сергий Радонежский помогут тебе!

---

[2] Пепиньерка — девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная при нем для педагогической практики *(Прим. ред.)*.

Но своды институтской церкви оставались безмолвны, а в кадильном дыму не вырисовывались ни меч, ни знамя...

Скоро Елочке довелось увидеть этот революционный пролетариат, заявивший, что у него нет Отечества! Институт был эвакуирован в Харьков, город переходил из рук в руки, и вот наступило утро, когда толпа красных ворвалась в классы и погнала перепуганных институток по коридорам и лестницам на чердак:

— Пошевеливайтесь, белоручки! Быстро все наверх, офицерские да сенаторские дочки! Сейчас расстреливать будем! Всех вас на тот свет!

Загнали на чердак и заперли. Где было начальство, где классные дамы — никто не знал. Елочка твердо помнила, что с ними в этот час никого не было. Институтки рыдали; одни звали маму и папу, другие читали молитвы. Елочке казалось, что она одна сохраняет присутствие духа.

— Mesdames, mesdames, успокойтесь! Мы не должны обнаруживать страха! Наши отцы и братья героически гибнут в офицерских батальонах — неужели же мы не сумеем умереть? Разве можно ронять себя в глазах этих хамов? Медамочки, вспомните, когда Марию Антуанетту вели на гильотину, она настолько владела собою, что извинилась, наступив палачу на ногу, а вы?! — повторяла она, перебегая от одной подруги к другой.

Кто-то случайно толкнул дверь, и та распахнулась — их оказывается не заперли! Прислушались и, убедившись, что на лестницах пусто, толпой бросились на крышу; перед ними лежал город, и при ярком утреннем свете, как на ладони, видны были вступавшие в город колонны войск с одной стороны и уходившие колонны с другой. В эту как раз минуту серебром брызг рассыпалась взорванная водокачка. Город в десятый раз переходил из рук в руки...

Ни тогда, ни после Елочке не пришло в голову, что эти хмурые люди с винтовками, может быть, намеренно не заперли их, а только припугнули — она непоколебимо была уверена, что их в самом деле хотели расстрелять, но не успели, и что спасло их чудо или случай.

Потом сполна были все муки гражданской войны, медленная агония белогвардейского движения. Наконец все кончилось. Там, где были герои и святые, отныне ораторы и куплетисты, газетчики и недавние лавочники взахлеб издевались над прошлой историей растоптанной ими страны, и нужно было забыть бои и окопы, забыть море крови, «роты смерти» и атаки офицерских батальонов, забыть Самсонова, который застрелился, чтобы не пережить позора, забыть Колчака, который бросил свою шпагу в море, отказавшись служить большевикам... Забыть, но как?!

Шли годы, шла новая жизнь, и люди считали возможным интересоваться этой жизнью. Казалось, они и впрямь забыли обо всем.

Медицинская сестра в хирургической клинике; свой заработок, своя комната, обставленная хорошими вещами; никто из близких не арестован, не выслан, и это в годы жесточайшего террора — на первый взгляд жизнь Елочки складывалась благополучно. Но это лишь на первый взгляд.

Она не была красива. Несколько высока, несколько худощава, крупные руки и ноги, желтоватый цвет кожи. Лоб и виски слишком обнажены, рот очерчен неправильно. Красивы в ней были только задумчивые карие глаза и длинная черная коса, но она не умела красиво причесываться и не извлекала из своих волос и половины их прелести, закручивая сзади тугим узлом. Одевалась со вкусом и опрятно, но всегда с пуританской скромностью. Всем ухищрениям моды она предпочитала костюм с английской блузой. Уже в двадцать семь лет в облике ее преждевременно появилось что-то стародевическое.

Чувствуя инстинктивно, что природа, отказав ей в женской прелести, лишит ее многих радостей, она еще в раннем отрочестве перенес-

ла их в свой внутренний мир. Эта способность уходить в себя спасала ее от уныния. Книги по-прежнему были ее отрадой, но теперь она избегала читать о русской военной истории, чтобы не бередить раны.

Когда-то в Смольном она училась игре на рояле. Теперь она решилась возобновить занятия на маленьком пианино, доставшемся ей от бабушки, и поступила в вечернюю музыкальную школу, куда принимали независимо от возраста всякого, кто готов был платить за обучение. Два раза в неделю после дежурства в больнице она появлялась в классе. Но толку, несмотря на старания, получалось очень мало — она не была музыкальна по натуре. Любая новенькая ученица, не отличающаяся ни любовью к музыке, ни прилежанием, очень скоро обгоняла Елочку и играла те пьесы, о которых Елочка могла только мечтать.

Неудача не охладила ее любви к опере, и обязательно два или три раза в месяц, когда в программе значились «Князь Игорь», «Борис Годунов» или «Псковитянка», она появлялась в последних рядах партера, всегда одна, скромно одетая, со старинным бабушкиным лорнетом из горного хрусталя на цепочке, что хотя и придавало некоторую старомодность ее облику, но вместе с тем сохраняло в нем от прошлого изящество и благородство. После каждого посещения театра она обязательно на несколько дней лишала себя завтрака и ходила на работу пешком, восполняя трату денег.

Вечеринки и танцы не только не привлекали ее — они казались ей святотатством. Веселиться и танцевать, когда Россия во мгле?! Театр — другое дело; на него она не смотрела как на развлечение, он не нарушал траура, в который она облекла себя.

Чем дольше Елочка жила, замкнувшись в своем внутреннем мире, с ей одной ведомыми радостями и печалями, тем дальше отходила она от окружающих ее людей. На службе ее уважали, но держалась она особняком, не сближаясь ни с кем, ненавидя пошлый, развязный тон среды мелких служащих. Она смотрела на их жизнь, как на взбалмошный, вздорный спектакль. И этот спектакль, полный грубоватых флиртов, киношек, тряпок, зарплат, быстро делался скучным и непонятным, пьеса бездарной и безвкусной, где каждая героиня в первом акте позволяла мужчинам при всех хватать себя за плечи и за локти, водить себя в кино и навещать на дому, во втором — исчезала делать аборт, а в третьем — вновь появлялась как ни в чем не бывало. Никогда раньше в той среде, которая теперь сошла со сцены, не увидела бы Елочка ничего подобного. Все теперь было упрощено до грубости.

Иногда она думала о том, что если бы революция не помешала, она как первая ученица Смольного могла стать фрейлиной и появляться на придворных балах. Ее окружали бы гвардейцы и пажи... И она видела, что и там она оставалась бы самой собою. Дух веселья и кокетства не коснулся бы ее и там. Она и там оставалась бы серьезная, суровая, гордая, никому не нужная и не интересная.

Счастье... Она поняла, что жить можно и без него.

Иногда, правда, появлялось у нее беспокойное сознание, что жизнь проходит или обходит, и молодость пропадает напрасно, что чего-то как будто не хватает... Но нет, в этой «совжизни», без красоты, без Родины, без героя, ей ничего не нужно!

Ни разу, ни одним словом никому не обмолвилась и не намекнула Елочка о тайне, которая лежала на дне ее души уже девять лет. Ей было всего девятнадцать, когда в первый раз шевельнулась в ней любовь и готово было расцвести чувство большое и глубокое, на которое способны только серьезные и цельные натуры.

В тысяча девятьсот двадцатом году, после всевозможных передвижений и эвакуаций, Елочка оказалась в Феодосии, где был старшим хирургом в военном госпитале ее дядя, взявший ее под опеку после

того, как был закрыт Смольный. Томимая жаждой вложить наконец и свои силы в борьбу с теми, кого она считала заклятыми врагами России, Елочка умолила дядю принять ее в штат сестер милосердия. Она была совершенно неопытна, но в те дни в военных госпиталях так не хватало рук и такое количество людей лежало без помощи, что каждый желавший быть полезным являлся уже находкой, и Елочка очень скоро получила место.

Там, в этом госпитале, она и повстречала его.

Это был один из раненых в палате, где ей пришлось работать.

У него были красивые черты лица, но наружность не сыграла здесь роли — конечно, нет! Она полюбила его за то, что он приехал оттуда — с фронта, из этих бесконечных битв. Белый офицер, конечно, должен быть героем — как иначе! А если притом у него те черты, которыми наделяет героя воображение девушки, то, даже уверяя себя, что наружность никогда ничего не значит, возможно ли остаться совсем равнодушной, совсем холодной и не связывать с этим человеком затаенных дум? А где конец думам и начало мечтам? Где конец мечтам и начало надеждам?

Сыграло роль и то, что, работая в госпитале впервые, она вся отдалась чувству жалости и заботы, и ни за кого из раненых ей не пришлось переболеть душой так, как именно за этого офицера. Ее восхищала его выдержка — ни разу он не вскрикнул, не позвал на помощь, не упрекнул в неосторожности...

Быть может, в жизни это был самый банальный и пустой человек, но Елочке хотелось верить, что, обладая такой волей и мужеством, он прекрасен и в остальном.

Как он появился? В один из первых же дней, когда она еще не столько работала, сколько ходила позади более опытных сестер, присматриваясь к их работе. Она уже собиралась из госпиталя домой, но в дверях должна была посторониться, чтобы пропустить носилки с вновь доставленным раненым. Взглянув на носилки, Елочка увидела закинутую назад голову и красивые черты еще совсем молодого лица с закрытыми глазами. Напугала ли Елочку неподвижность и бледность, была ли случайно особенно изящна поза офицера и недвижно висевшая тонкая рука, или два Георгиевских креста на его груди и «мертвая голова» — знак «роты смерти» на рукаве шинели рядом с траурной черной перевязью зажгли романтичное воображение недавней смолянки, но она невольно проводила носилки взглядом.

Когда к ночи она снова пришла в госпиталь на свое первое самостоятельное дежурство, уходившая сестра, передавая ей дежурство, сказала:

— В палате новый раненый, очень слаб от потери крови. Велено следить за пульсом; в случае, если начнет падать, впрысните камфору. Вот посмотрите историю болезни и тетрадь назначений.

Елочка испуганно вскрикнула:

— Камфору? А если я не сумею? Я боюсь!

— Да ведь я вам показывала.

— Все-таки страшно. Я не привыкла.

Сестра успокоила ее — в соседней палате опытная дежурная, которая не откажется помочь.

Елочка уселась за маленьким столиком в слабо освещенной палате. Все было тихо; раненые спали или лежали в забытьи. Сколько раз, еще в институте, ее экзальтированное воображение рисовало такую минуту! Мечта начинала сбываться. Она в госпитале, в белой косынке с крестом; сейчас ее позовет кто-нибудь из тех храбрецов, которые не отказались еще от усилий спасти Родину. И она, наконец, с ними! «Я отдам все мои силы, я постараюсь сделать все, что только могу!» — шептали ее губы, и опять на ум приходили подвиги сестер в Севастополе и на Балканах.

Через несколько минут, однако, эти мысли поглотило уже знако-

мое ей волнение, происходившее от сознания собственной неопытности — это волнение расходилось по ней мутными волнами, щемило в груди и вызывало чувство, похожее на тошноту. Что, если как раз у того или другого раненого начнет падать пульс, а она упустит минуту? Что, если она начнет впрыскивать камфору и сломает иглу? Или кто-нибудь сорвет перевязку, а она не сумеет поправить? Она взяла пачку «историй болезни» и нашла между ними ту, на которую указала сестра. Там в обычных бесстрастных выражениях стояло: «Рана осколком в левый бок в область десятого ребра, рваные края, ребро раздроблено, кровоизлияние в плевру...»

Она перескочила дальше: «Оскольчатое ранение левого виска... расширение зрачков от сотрясения мозга, доставлен в бессознательном состоянии...» Она захлопнула папку и вскочила: — Господи, как страшно! А еще уверяли, что палата легкая, не полостная. — И на цыпочках побежала между постелями.

Это был офицер из «роты смерти», которого она видела утром. Елочка остановилась в нерешительности. «Он, может быть, только что заснул...» — думала она, но в эту минуту он переменил положение головы на подушке, и она отважилась взять его руку, хотя ей было очень странно позволить себе такой жест по отношению к чужому мужчине. «Раз, два, три...» — считала она и чувствовала, что сама не понимает того, что у нее получается. Отыскав испуганными глазами минутную стрелку на своих часиках, она старалась вымерить частоту пульса, но это ей не удавалось.

Раненый пробормотал что-то. Елочка взглянула ему в лицо, но глаза его были по-прежнему закрыты. «Бредит», — подумала она и уже хотела отойти, но он отчетливо проговорил:

— Приказ отступать... разбиты... Россия погибла!

Елочка застыла на месте. «Да! Погибла! А те, кто готовы гибнуть за нее, даже в бреду говорят о ней!»,— подумала она, чувствуя, что слезы поднимаются к ее горлу.

Тяжело далась эта первая ночь в палате! Боясь упустить минуту оказать вовремя помощь, она всю ночь перебегала от постели к постели, вся дрожа от волнения, и каждые пять минут возвращалась к запомнившемуся ей раненому, прислушиваясь к его дыханию и замирая от страха, что придется браться за шприц.

Он все же продолжал метаться и говорить что-то бессвязное. Только утром пришел в себя. Подойдя к его постели, она увидела, что он шарит рукой по столу, отыскивая стакан с водой.

— Сестрица, который это день, что я здесь? — спросил он.

Она поднесла к его груди стакан и приподняла ему голову.

— Вас привезли вчера утром. Как вы себя чувствуете? Ваша рана, наверное, болит очень?

Она еще не знала, что такие вопросы в госпитале не приняты.

— Нет, благодарю. Почти не болит, когда не двигаюсь, — как-то странно равнодушно ответил он и более не продолжал разговора.

В следующее дежурство она пришла в палату утром и должна была дежурить до вечера. У дверей палаты стоял солдат на костылях.

— Сестрица, явите Божескую милость! — начал он.

Елочка обернулась, готовая выслушать. На нее смотрело солдатское бородатое лицо — простое, открытое, мужественное.

— Мне про здоровье их благородия узнать. Давеча просил милосердную пропустить — не пущает! Говорит, дохтур не велел; очень будто бы их благородию худо, разговаривать вовсе не могут. Так уж будьте добры, сестрица, коли никак нельзя пройтись к господину поручику, скажите хоть, пошло ли дело на поправку. Я денщик ихний буду.

— Сейчас узнаю, солдатик. Как фамилия твоего офицера?

Он назвал фамилию, старую, княжескую.

«Это тот, молодой, с Георгиями!» — подумала Елочка. Она прошла к столику и развернула историю болезни: «С утра в сознании. Общее состояние по-прежнему тяжелое; дыхание короткое, затрудненное, почти не говорит, отказывается от пищи, жалобы на боль в боку...».

Она вышла к солдату и передала ему подробности.

— Премного благодарен, сестрица. Очинно я за его благородие тревожусь. Умирать-то им еще рано, хоть они и говорят, что им жизни не жалко, потому как горя у их и вправду много...

— Горе? Какое же у него горе? — спросила Елочка и вспомнила траурную перевязь на его рукаве.

— Ох, и не перескажешь всего, сестрица! Спервоначалу, года этак полтора тому назад, его превосходительство, папеньку ихнего, в Питере расстреляли; с месяц будет назад, здесь, под деревней Васильевкой, братец их старший убит был. Очень тогда горевали его благородие. Все мне, бывало, говаривал: «Василий, как я матери сообщу?» А мамаша-то их в Орловской губернии, в своей вотчине оставалась. Мы с его благородием сильно тревожились, как бы красные над госпожой генеральшей чего не учинили, потому как вестей от ее уже давно не было. Вдруг, дён этак пять тому назад, приезжает оттоль офицер и рассказывает господину поручику, что вотчину их красные сожгли, а барыню нашу расстреляли. Нутро у меня все ровно перевернулось! Этакая барыня добрая — и такая смерть! Упокой, Господи, ее душу! Когда мы с господином поручиком в окопах под Двинском сидели, она нам посылки посылала и кажинный-то ящик, бывало, делила пополам — половину ему, а другая — мне. И махорки, бывало, пришлет, и чаю, и сахару, и колбасы копченой. С ума у меня теперича моя барыня нейдет. А каково-то господину поручику лежать с такой лютой думой? Очень они любили мамашу-то.

— Зайди попозже, солдатик, я сама попрошу доктора и, если позволит, пропущу. А впрочем, не трудись, ведь нога у тебя больная. Я прибегу и скажу, когда можно будет. Ты в пятой палате?

— Так точно. Премного благодарен, сестрица!

Елочка хотела уже отойти, но, движимая теплым чувством симпатии, спросила:

— Вас обоих одновременно ранило?

— Так точно, обоих вместе! Тоже около деревни Васильевки, осколками засыпало, когда с донесеньем скакали. Пришлось ранеными добираться. Его благородию не подняться было — я их на руках донес!

Елочка еще раз взглянула на говорившего... Она была воспитана в безграничном уважении к русскому солдату и готова была бы просиживать ночи у изголовья героя, подобного этому, но все романтическое оставалось теперь для офицера.

Боясь показаться навязчивой в своем сочувствии или любопытной к чужому горю, она старалась приближаться к его постели незаметно, и он мог думать и думал, что она вырастает из-под земли, и всякий раз, как только он пытался пошевелиться, ей смертельно хотелось, чтобы он, подобно другим, заговорил с ней или подозвал ее, но он упорно не делал этого. Раздавая градусники, она подошла и, желая хоть чем-нибудь развлечь его, сказала:

— Вас очень хочет видеть ваш денщик.

Его лицо впервые оживилось:

— Добрый мой Василий! Как его рана?

— Кажется, лучше. Он уже бродит на костылях. Несколько раз он подходил к двери справиться о вашем здоровье.

— Вы знаете, сестрица, он нес меня на руках версты две или три. Я просил его прислать за мной санитаров, но он не захотел меня оставить.

Елочка предчувствовала что-то в этом роде.

— Я приведу его сюда, только вы не говорите много и не шевели-

тесь, — сказала она и, прибрав на его столике, пошла за солдатом, хотя врач не раз говорил ей, что с посещениями и разговорами следует подождать. Елочка решилась сделать по-своему, ей хотелось увидеть, как они встретятся друг с другом — офицер и денщик. Однако ей не удалось увидеть хоть издали — ее отозвал дежурный врач и оставалось только рисовать в воображении это свидание. «Дал ли он ему руку, усадил ли? — думала она, мотая бинты и раздавая лекарства. — Наверное, и руку дал, и усадил — между ними не может быть обычной субординации».

Госпитальный день шел своим порядком: часто приходилось подходить то к одному, то к другому, а он по-прежнему оставался безучастен ко всему и не находил нужным ее окликнуть, хотя тоскливо метался по подушке и брался рукой за больной висок. Когда она читала раненым газеты, несколько раз украдкой взглядывала на него и не могла понять, слушает ли он.

«Наверное, я так и уйду, не сказав ему ни одного задушевного слова!» — с грустью думала она.

Как раз в эту минуту в палату вошел санитар и громко выкрикнул заветную фамилию.

— Есть такой? Письмо из полка пересылают.

— Я, — ответил он, приподнимаясь.

Схватив письмо, он торопливо пытался вскрыть его левой рукой, опираясь на правую, но это ему не удавалось.

— Позвольте, я вам распечатаю, — сказала Елочка.

Он передал ей.

— Число! Покажите скорей число, сестрица! Рука моей матери... Если это письмо недавнее, значит, она жива! — голос его оборвался...

Елочка, сама взволнованная, поспешно распечатала конверт. Секунду она помедлила с ответом.

— Это письмо, видите ли... Оно, по-видимому, уже давнее. Оно послано полгода тому назад. Оно, по-видимому, блуждало где-то.

Он молча опустился на подушку. Елочка протянула ему письмо и деликатно отошла к соседнему столику.

— Сестрица! — позвал его голос, который она уже не могла спутать ни с чьим другим. — Могу я просить вас прочесть мне? В глазах у меня сливаются почему-то строки...

— Это от расширения зрачков и скоро пройдет, — ответила она с видом заправской сестры милосердия и села у его постели.

На всю жизнь запомнилась ей эта минута — слабо освещенная палата, его лицо и каждая строчка этого письма!

— «Бесценное мое дитя, дорогой мальчик, — начала она и невольно остановилась, охваченная волнением... Незаметно покосилась на него и увидела, что он положил себе руку на глаза... — Уже давно я не имею известий ни от тебя, ни от Дмитрия и совсем изболелась за вас душой! Где вы? Живы ли? Или я уже одна на всем свете? Я говорю себе, что Бог милостив и сохранит мне вас, и тут же думаю, как смею я надеяться на Его милосердие и чем я лучше других, кого постигло несчастье? Меня измучила мысль, что, может быть, один из вас ранен и лежит среди чужих, а я ничем не могу помочь и не могу ухаживать так, как ухаживала, когда вы болели скарлатиной в детстве. Помнишь, как ты любил клюквенный морс, которым я тебя поила? Я молюсь за вас утром, молюсь вечером, а среди дня хожу в лес к моей любимой часовенке Скорбящей, и в этом все мое утешение. Я уже не живу в Залесье. Я должна сообщить тебе очень печальное известие — нашего Залесья больше не существует: беглые фронтовики, распропагандированные сельсоветами, и пришельцы из железнодорожного поселка сожгли его дотла. Но мне не состояния жаль, а дома, где родились и выросли мои дети, где я была счастлива. Они свирепствовали, точно вандалы: грабили утварь, рубили наши трехсотлетние дубы, топтали цветники, разбивали оранжереи, даже воду в бассейне выпустили, очевидно, специально, чтобы погубить золотых рыб. Бог им судья! За меня не бойся, я нашла себе приют у крестьян в деревне. Ты знаешь, как они меня любят. У меня есть хлеб и я под кровом, а больше мне теперь для себя ничего не надо. Ушла я в чем была, не смогла захватить ни драгоценностей, ни бумаг, ни денег. Со мной только твоя фотография — та, где ты двухгодовалым ребенком с медведем, и другая — ты и Дмитрий, сфотографированные вместе в кадетской форме. Но если Господь сохранит мне вас обоих, я буду считать себя еще неизмеримо богатой. Впрочем, я не совсем точна, со мной еще Рекс; вчера, когда я пошла на пожарище, я нашла его там — он выл перед останками дома. Видел бы ты, как он мне обрадовался, как прыгал мне на грудь и лизал руки. Я сама обрадовалась ему, как человеку. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо? Решаюсь послать его с верным Егором в Крицкое, оттуда уезжает один офицер, чтобы пробраться в Белые армии при посредстве Белого Орла. Он, может быть, тебя разыщет... Иногда я верю, что мы увидимся, иногда мне кажется, что я уже никогда не увижу вас. Вкладываю в письмо листочки уцелевшей от пожара яблони. Я знаю, что ни меня, ни Залесья ты никогда не забудешь. Твоя мама».

Во время чтения Елочка несколько раз останавливалась, тщетно стараясь справиться с душившим ее волнением. Как ни хотелось ей пожать руку и сказать несколько теплых слов участия, накипавших в груди, она была слишком замкнута, щепетильна и стыдлива, чтобы позволить себе выразить чувства там, где этого не ждали и не просили. Положив письмо и веточку около раненого, она отошла. Издали наблюдала за ним, видела, что он лежит все в той же позе, и, подавляя вздох, продолжала свою работу. Только по окончании дежурства она подошла к нему и остановилась в нерешительности... Неужели так и уйти, оставить, не сказав ни слова? Словно почувствовав взгляд, он открыл глаза, показавшиеся ей особенно большими и блестящими.

— Я ухожу. Надеюсь, вам будет лучше... Господь с вами, — прошептала она, не находя слов. Он взял ее руку. Она думала, он пожмет ее или ответит что-нибудь, но он не сделал ни того ни другого. Быть может, он в своем полубреду уже забыл, что завладел рукой девушки, продолжая держать эту руку, закрыл глаза и беспокойно водил головой по подушке. Она постояла над ним и слегка потянула руку... Потянула еще раз и вышла.

На следующий день в его состоянии не было никакого улучшения: он дышал опять очень коротко, просил кислорода и метался. Елочка сначала не была уверена, что он узнал ее. К концу дня его потребовали в операционную: дядя Елочки должен был делать ему резекцию ребра. Елочка слышала, как сестры говорили, что это делается без наркоза. Когда санитар рявкнул около самого уха, что такого-то раненого следует безотлагательно доставить в операционную, согласно приказу господина полковника — старшего хирурга, она почувствовала, как по коже у нее пробежали мурашки.

— Осторожней! Осторожней! — говорила она санитарам, сама шла рядом, а он даже не спрашивал, куда и зачем его несут. Но когда его переложили на операционный стол, он поднял веки и медленно стал обводить глазами белые стены операционной и чужие лица людей в белых халатах, хирурга с приготовленными уже руками, которые тот держал слегка приподнятыми, покуда одна из сестер надевала ему маску.

Потом глаза его остановились на Елочке. Понял ли он всю глубину ее сострадания, которое не притупили еще ни привычка, ни профессиональность, или, может быть, среди совсем чужих, равнодушных лиц она показалась ему уже своей, знакомой и родной, но он сказал:

— Сестрица, останьтесь со мной... Не уходите.

И опять ее рука оказалась в его руке.

Эту минуту она вспоминала, как самую драгоценную. Он, стало

быть, ее не только узнавал, но и отличал, если искал у нее сочувствия! Она надеялась, что ей позволят стоять возле, но одна из сестер отодвинула ее и сама уверенной рукой стала разматывать бинты, а дядя неожиданно обратился к ней:

— Ты здесь зачем? Молода для операционной. Иди в палату.

— Я хотела... я только... — начала было Елочка, но дядя не дал ей закончить:

— Никого лишнего! Смотри, Елизавет, отчислю! Ты бросила свой пост.

Елочка поняла, что в операционной не место для споров, притом дядя затронул ее слабую струнку — чувство долга. С печально опущенной головой она вернулась в свою палату.

Как только санитары внесли ее героя обратно и начали перекладывать с носилок на кровать, она подбежала, и от нее не укрылось, что он кусает себе губы, стараясь не вскрикнуть. Санитар наклонился к нему, чтобы передвинуть поудобнее.

— Не надо... Я сам, — проговорил он сквозь зубы.

Елочка наклонилась со стаканом чая.

—Не могу... Благодарю... Не надо.

Другой санитар хотел поправить неудачно положенную подушку.

— Не надо... Ничего не надо... Оставьте!

Стоять и наблюдать, ничего не делая для облегчения, казалось Елочке немыслимым, неделикатным, невозможным: она послала за дежурным врачом.

— Что тут? — хмуро спросил разбуженный по ее распоряжению врач, измучившийся за день и только что пристроившийся на больничной топче.

— Раненому нехорошо... Я не знаю, можно ли морфий...

— Морфий впрыскивали уже. Часто повторять не рекомендуется, — и врач взял руку раненого. — Ваши слезы неуместны, сестра. Дайте шприц и камфору и попрошу вас повнимательнее следить за пульсом.

Елочка виновато молчала. Врач сделал укол и повернулся к ней, видимо, уже смягчившись:

— Нам не полагается расстраиваться, сестрица. Это не содействует ни точности в работе, ни уверенности. Будете так переживать за каждого, никаких сил не хватит, издергаетесь и заболеете. Ну да вы привыкнете, когда поработаете подольше.

Елочке показались циничными эти слова. Мысленно она обозвала врача «бездушным». Однако врач этот назначил индивидуальный пост у постели раненого, опасаясь, как бы тот не сорвал перевязку, едва только у него начнется бред, наступавший все предшествующие ночи. Очередное дежурство Елочки кончилось, и она вызвалась остаться у постели. Но эта ночь не принесла ей ни одной минуты, похожей на минуту в операционной; всю ночь он метался в бреду, а она держала его руки, не отходя ни на шаг. Только утром, уже перед обходом хирурга, он немного затих, и Елочка смогла сесть. Совершенно измученная, она положила голову к его ногам. Вновь пришедшая дежурная поспешила отправить ее домой. За всю ночь ни одного слова, которое можно вспомнить потом!

Даже в бреду он говорил в этот раз только о какой-то Весте — по-видимому, своей лошади, которая была под ним убита.

Нового к его образу прибавилось только то, что, завладевая его руками, она разглядела у него на мизинце кольцо, которое носили только пажи: это было очень интересно и романтично, но это было все! Она ушла огорченная его тяжелым состоянием и тем, что он даже не будет знать, кто так самоотверженно сторожил его! Ей не пришло в голову, что товарищи доведут это до его сведения; еще менее ей могло придти в голову, в какой форме это будет сделано.

— А знаете ли, поручик, наша дурнушка положительно неравнодушна к вам.

— Вы о ком, господин подполковник?

— О той высокой, смугленькой; она всю ночь просидела около вашей постели.

— Я бы не назвал ее дурнушкой. У нее глаза, как у лани.

— Вот оно что! Так, может быть, как в романе — после выздоровления «Исайя ликуй»?

— Зачем же сразу «Исайя ликуй»? Эта мера, так сказать, катастрофическая! Может случиться, все обойдется ему и не так дорого, — отозвался другой офицер.

С ним шутили, желая его развлечь, так как знали о его несчастьях, но он ответил совершенно равнодушно:

— Уверяю вас, что это все только в вашем воображении: ее назначили дежурить, и дежурила — в госпитале своя дисциплина.

— Дисциплина дисциплиной, однако она плакала над вами, когда вас принесли из операционной. Дежурный врач даже счел необходимым сделать ей небольшое внушение.

Но юноша не хотел переходить в шутливый тон.

— Она еще недавно работает и не успела покрыться полудой. Я во всем происшедшем не вижу ничего, кроме того, что она добрая и милая девушка. Не думаю, чтобы мной можно было сейчас заинтересоваться, — и устало закрыл глаза, желая кончить разговор, который стоил ему усилий.

Проводя этот день дома, Елочка испекла свое любимое печенье по рецепту, написанному рукой ее бабушки на пожелтевшей уже бумаге, а потом раздобыла у одной запасливой дамы немного клюквы и приготовила морс.

На следующее утро, отправляясь на дежурство, она понесла все это с собой.

«Он совсем ничего не ест», — думала она, вспоминая те порции, которые уносили нетронутыми с его столика.

Когда она предложила ему морс, который будто бы принесла для себя, он взглянул на нее несколько удивленно, но, встретив ее смущенную и ласковую улыбку, в свою очередь печально улыбнулся:

— Спасибо вам, сестрица! Вы очень добры. Я тронут.

Для нее огромным удовольствием было лишний раз подойти к нему и поить его, осторожно приподнимая ему голову, но в этот день она чувствовала себя нездоровой и к концу дня работала уже через силу; болела голова и чувствовалась странная разбитость во всем теле. Ему, между тем, было в этот день, по-видимому, лучше — не такой лихорадочный цвет лица, не такое короткое дыхание. Операция сделала свое дело, и Елочке уже мерещились дни выздоровления, но доносившийся отдаленный грохот артиллерийских орудий заставлял всякий раз жутко вздрагивать, напоминая о надвигающейся катастрофе, по-видимому, уже неотвратимой, которая грозила все разбить и смять, унося тысячи жизней, а с ними и эти хрупкие мечты.

Взгляды сестер испуганно скрещивались, врачи озабоченно переговаривались, санитары угрюмо молчали.

— Без паники. Спокойствие. При раненых никаких разговоров, — несколько раз повторял, проходя по палатам, ее дядя.

Один раз он увидел ее у окна с руками, прижатыми к горевшему лбу.

— Елизавета, ты что там куксишься? Смотри у меня!— Но, приблизившись, прибавил вполголоса: — Придешь домой, передай тете, что я остаюсь на ночь в госпитале. Будь мужественна, девочка!

Она уже сдавала смену, когда раненый юноша окликнул ее... Отдавал ли он себе отчет в приближавшемся? Когда она подбежала, он

улыбнулся и протянул ей флакон с духами. Это была «Пармская фиалка» Коти. Елочка вспыхнула и как-то по-ученически спрятала руки за спину.

— Не нужно. Я не ради подарков... Я не хочу...

— Сестрица, не отказывайтесь! Прошу вас! Это не плата — сочувствие оплатить невозможно — это только небольшой знак внимания от человека, к которому вы так добры в тяжелое для него время.

Опираясь на правую руку, он стал откупоривать флакон левой рукой, желая надушить Елочку, и пролил при этом около трети флакона ей на грудь.

Больше она его не видела.

В эту же ночь она слегла в тифу, провалилась в горячий бред. Она пролежала семь недель, и, когда наконец встала, в городе уже распоряжались красные, а госпиталь был раскассирован.

Скоро слуха ее коснулось страшное известие о варварской расправе над ранеными офицерами. Уверяли, что в живых будто бы не осталось ни одного человека, называли имена предателей, которые выдавали фамилии и чины офицеров.

Елочка была потрясена; при одной мысли, что **его** постигла та же участь, охватывала дрожь... Убить безоружного, убить раненого, который не может защищаться, убить слабого, измученного, убить... Лучше было не думать, но мысль ее словно в заколдованном кругу возвращалась все к тому же: ведь ему только что стало лучше, только что стал яснее его взгляд, он в первый раз приподнялся, не меняясь в лице от боли...

Выздоровление после тифа осталось в ее памяти как самый тяжелый период в жизни: сразу две потери — любимый человек и последний оплот Родины! Тогда было навсегда смято в ней что-то свежее, благоухающее. Как будто в один миг расцвела и тотчас поблекла ее юность.

Исхудалая, вялая, апатичная, она целыми часами неподвижно сидела в кресле, без слов, без мысли.

— После, — отвечала она, когда ухаживавшая за ней тетка уговаривала поесть или выйти на воздух. — Не хочется, тетя, после!

Когда она немного окрепла, дядя и тетка увезли ее в Петербург. Она не представляла себе, как вернется к жизни, и не видела ни цели, ни смысла. Но жить надо было и, прежде всего, надо было содержать себя. Бабушки уже не было в живых, а имение и деньги, положенные в банк на ее имя, национализированы. Все тот же дядя, теперь уже снявший погоны, устроил ее под своим начальством в одной из петербургских клиник. И она начала работать... Уже без воодушевления, без интереса, и без креста на груди!

Понемногу она привыкла к своей работе и приобрела все профессиональные навыки.

Внешне она казалась уже вполне спокойной и уравновешенной, но всякий раз, когда ей приходила на память судьба раненых в феодосийском госпитале, она менялась в лице; у нее судорожно подергивались губы, и она подносила руки к голове, как будто защищаясь от удара.

А люди пытались приспосабливаться. Классная подруга — смолянка Марочка Львова — попробовала однажды уверить Елочку, что своими глазами видела, как белый офицер бил по щекам раненого красноармейца на улицах Харькова. Она уверяла также, что знает семью, в которой дочь была изнасилована белыми офицерами. Елочка прекратила дружбу с Марочкой.

Она знала, что больше уже никого не полюбит. Да, ее роман был мимолетный и печальный, зато герой был **настоящий**! Это не то, что у Марочки, вышедшей за матроса с «Авроры», или у Нади Хмельницкой, муж которой, еврей, заведовал складом... Нет! Ее герой — наследник древнего имени, русский офицер-гвардеец, из тех, которые умирают, но не сдаются! Он защищал Родину сначала от немцев, потом от большевиков, это был Георгиевский кавалер, командир «роты смерти», аристократ, белый офицер! В нем было все, что могло понравиться ей в мужчине. На кого же теперь она могла обратить свой взор?

Смешно было думать о всех этих мелких людях.

Смешно и страшно...

Глава вторая

Ты пахнешь, как пахнет сирень,
А пришла ты по трудной дороге!
А. Ахматова.

Учительница музыки, Юлия Ивановна, в молодости была приятельницей Елочкиной матери. Вскоре после окончания войны она очень серьезно заболела ревматизмом. Елочка несколько раз навещала ее и даже дежурила две ночи у постели. Муж Юлии Ивановны был когда-то видным лидером кадетской партии в Киеве и заслужил прозвище «совесть Киева». Его давно уже не было в живых, но гепеу до сих пор не оставляло вдову в покое. Именно Юлия Ивановна навела Елочку на мысль заняться снова музыкой и определила в свой класс. Отлично понимая, что уровень музыкальных способностей Елочки очень невысок, Юлия Ивановна тем не менее любила часы занятий с нею — ей нравилось подолгу беседовать с серьезной и умной девушкой, а сами занятия сводились к 15 минутам. Однажды в декабре 1928 года Юлия Ивановна, еще не начиная урока, сообщила, что в классе появилась еще одна ученица, очень, по-видимому, талантливая.

— Хорошо играет или начинающая? — спросила Елочка, вынимая ноты.

— Трудно сказать, в какой мере она подвинута, — ответила Юлия Ивановна, — ей восемнадцать лет. Техника у многих в ее возрасте бывает гораздо лучше, но способности у нее очень большие. На приемном экзамене, в среду, она играла «Warum?»[3] Шумана, я была в комиссии — вместе со всеми заслушалась: до такой степени чарующее у нее туше и так хороша фразировка. Чистота звука поразительная! Не хотелось ничего изменить в ее игре, как будто бы играла законченная пианистка. А вместе с тем она еще очень мало училась, и виртуозности у нее нет вовсе. Она держала экзамен в консерваторию этой осенью, но ее не приняли из-за происхождения. Такую талантливую девушку! Она Бологовская, внучка генерал-адъютанта, из приближенных к особе государя, а отец ее, гвардейский полковник, расстрелян в Крыму. Другой ее дед, кажется, сенатор... Сами понимаете, что все это значит теперь! Ко мне ее прислал мой друг — консерваторский профессор. Он хотел принять ее в свой класс, да вот не удалось: дал ей несколько уроков на дому, переставил руку, а теперь направил ко мне с тем, чтобы раз в месяц прослушивать самому — каждому педагогу интересна такая ученица.

Расстрелян в Крыму! Губы Елочки судорожно передернулись.

— Вы здесь еще не однажды встретитесь, — добавила Юлия Ивановна. — Вот с полчаса, как она ушла. Хорошенькая девушка, ресницы до полщеки. Живет она теперь с бабушкой и с дядей; матери у нее, кажется, тоже нет. По-видимому, нуждается: без ботиков, без зимнего пальто. Жаль девочку.

В следующий раз Елочка нарочно пришла целым часом раньше обыкновенного, так что принуждена была выслушать скучнейший урок с тупоголовым школьником. Он еще не успел окончиться, когда в класс вошла новенькая девушка.

---

[3] «Зачем?» (*нем.*).

Тонкая как тростинка фигурка в старом джемпере и по-модному укороченной юбке, две длинные косы без лент. И волосы, и ресницы, мягкого каштанового цвета, красиво оттеняли белоснежный лоб и прозрачную глубину глаз.

— Ася, садитесь теперь вы, — сказала Юлия Ивановна.

Девушка, в ожидании очереди уж было уткнувшая носик в книгу, встрепенулась и подошла к роялю.

Юлия Ивановна выслушивала вещь за вещью, и во взгляде, с которым она попеременно созерцала свежее личико и маленькие легкие руки, Елочка подметила нежность и восхищение. Ревнивое и даже завистливое чувство шевельнулось в груди.

Закончив, Ася тотчас же встала и стала собирать ноты.

— Вы слишком легко одеты, Ася, — сказала Юлия Ивановна, когда девушка запуталась в разорванной подкладке рукава демисезонного пальто.

— Благодарю, не беспокойтесь, я закутаюсь сверху в бывший соболь, — ответила Ася.

— То есть как «в бывший»? Как это соболь может быть «бывшим»? — с удивлением спросила учительница.

Ася вдруг рассмеялась веселым детским смехом:

— Это было мое mot[4] в двенадцать лет. Я вокруг себя тогда только и слышала: бывший князь, бывший офицер, бывший дворянин... Вот и вообразила, что соболь мой тоже бывший — ci-devant[5]. С тех пор мы так и зовем его.

Она накинула на плечи старый мех и убежала.

Елочка с удивлением проводила Асю взглядом — ей казалось, что репрессированной аристократке не к лицу веселость.

И все-таки в следующий раз ее опять потянуло придти пораньше, взглянуть на эту Асю.

Девушка уже заканчивала игру. Прощаясь с ней, Юлия Ивановна сказала:

— Я должна вас огорчить, дитя мое. Мне сказали в канцелярии, что оплату с вас будут брать по самой высокой расценке. Это все решает бухгалтерия согласно каким-то инструкциям.

Девушка слушала ее с испуганным выражением на хорошеньком личике, она даже побледнела.

— И вы понимаете, дитя мое, — очень мягко продолжала учительница, — что от меня здесь ничего не зависит. Надеюсь, это не заставит вас бросить уроки?

— Ах, вот что! — с облегчением вымолвила Ася. — А я было испугалась, что меня постановили выгнать отсюда. Нет, сама я, конечно, занятий не брошу. Надо же мне хоть чему-нибудь выучиться. Но, видите ли, нас четверо: бабушка, дядя, я и мадам, моя француженка, Тереза Леоновна, она у нас уже как член семьи. Да еще борзая — любимица покойного папы. А зарабатывает на всех один дядя; он пристроился в оркестр, а раньше был безработный. Поэтому нам никак еще не свести концы с концами. Я бы могла поступить на службу, но бабушка говорит: «Увидеть тебя на советской службе для меня настоящее горе!» Я владею французским, но давать уроки бабушка тоже запретила.

— Позвольте, почему же?

— Я с уроками несчастливая! В прошлом году занималась с внуком нашего бывшего швейцара, дала уроков пять-шесть. Пришла раз, а они сидят, пьют чай с пирожными, и бабушка, швейцариха, приглашает меня сесть с ними. Я сначала отказалась, а потом подумала, что они еще вообраэят, будто я из гордости за дедушку — я этого как огня боюсь! Я села и взяла одно пирожное, самое маленькое. А на следующий день мой умный ученик мне же рассказывает: «У нас, — говорит, — вчерась мамка на бабушку кричала. Чего, мол, ты учительниц всяких пирожными кормишь? Вот за эти пирожные ни копейки она с меня не получит!» Я не поверила сначала и еще целый месяц занималась — не платят! А я боюсь говорить с мамашей ученика. Она крикливая такая, как начнет наступать. Уж лучше я еще несколько лет отзанимаюсь за пирожное. Я так и сказала бабушке, а она говорит дяде: «Сережа, поговори ты». А дядя: «Нет уж, увольте! Я на пролетарские банды в атаку с одним стэком ходил, но пролетарских мегер пуще огня боюсь!». Что тут делать? Вдруг наша мадам говорит: «Я француженка, парижанка. Наш народ дал Жанну д'Арк и Шарлотту Корде. Я никого не боюсь! Monsieur Серж ходил в атаку со стэком, а я пойду с мокрой тряпкой!» И в самом деле, взяла тряпку и пошла в атаку. Крик поднялся такой, что мы с моей кузиной Лелей заперлись в бабушкиной комнате. Другой урок — новая неудача! Папаша ученицы, заведующий кооперативом, проворовался и сел. Мамаша пришла, так и так, мол, заплатить не можем. Тут же в долг у меня взяла и больше не показывалась. С тех пор бабушка постановила, чтобы я уроков больше не давала... Мне почему-то кажется, что толку из меня никогда не выйдет. Вот недавно тетя Зина хотела научить меня делать бумажные цветы. Мадам живо смастерила розу, а я такая неловкая и терпения у меня совсем нет; я и десяти минут не просидела и начала развлекать мадам. Пока она вертела цветы, я сыграла ей «Марсельезу» и вариации придумала. А потом прочла ей вслух Беранже. Вот так все у нас и кончается! Тетя Зина машет руками и на меня и на свою Лелю: «Пропадете обе, потому что неприспособленные, средств никаких! Хорошо, если найдутся молодые люди из прежних!» Но всегда тут же вздохнет, что в наших условиях надежды на это почти нет. Видно, и в самом деле пропадать. Я ведь к тому же еще дурнушка!

И не замечая удивления, с которым взглянула на нее учительница, она схватила свой порт-мюзик и с сияющей улыбкой пошла к двери.

Собираясь на ученический концерт, Елочка говорила себе, что необходимо хорошенько поаплодировать Асе, чтобы создать свой успех. Быть может, ей как аристократке будет оказан холодный прием, а потом скажут, что сыграла неудачно, и исключат из школы. С такими, как она, все можно сделать в стране большевиков.

Когда Елочка пришла в шумевшее учениками, родителями и педагогами большое зало музыкальной школы, она пробралась между этой публикой совсем как чужая, так как за три года учения еще ни с кем не завязала знакомства. Скоро она увидела Асю. Та стояла у стенки зала со своим порт-мюзик в черном закрытом платье с полоской брюссельских кружев у горла. На затылке у Аси был большой черный бант, а хвостик косы распущен. Десять лет назад Елочка сама так причесывалась по воскресеньям, и эта манера теперь очень расположила ее к Асе. Увидев, что девушка смотрит на нее, она кивнула и указала на место возле себя. Ася пробралась к ней и села.

— Ну, как у вас дома? Все благополучно? — ласково спросила Елочка после первого приветствия.

— Мерси, не совсем. Борзая наша заболела, у нее паралич задних лапок, она ведь старенькая. Это замечательная собака; она помнит моего папу, хотя уже восемь лет, как папа... как папы нет. Если бабушка скажет: «Диана, где Всеволод Петрович? Хочешь пойти с ним на охоту?» — она оглядывается и повизгивает, ищет папу. Каждое утро, когда бабушка пьет кофе, Диана подходит и кладет морду к бабушке на колени и смотрит так кротко, грустно и задумчиво. У нее глаза такие же красивые, как у вас.

— Как у меня? — воскликнула удивленная Елочка. — Разве у меня глаза красивые? Вот я так в самом деле дурнушка!

[4] Словечко (*франц.*).
[5] Из бывших (*франц.*).

— О нет! Не говорите! У вас в лице есть что-то исключительное. Теперь не часто можно встретить такие лица.

И так как Елочка смущенно молчала, она заговорила снова:

— Жаль Диану! Он сказал: «Собаку надо усыпить». А ведь Диана все решительно понимает! Она вся съежилась, прижала ушки и задрожала. Я потом сказала ей: «Не бойся, мы тебя не отдадим ему! Ты до последнего дня будешь такая же любимая!» Она тотчас успокоилась и стала лизать мне руки. Она теперь только ползает и озирается виноватыми глазами. Бабушка очень огорчается! У бедной бабушки в память о папе только Диана. Да еще я.

Елочка погладила руку Аси, все более и более располагаясь к ней.

— Вы что играете сегодня?

— Две вещицы Шумана и одну Шуберта. Я играю во втором отделении.

— А кто-нибудь из ваших пришел вас послушать? — спросила Елочка и оглядела зал. Ей хотелось увидеть человека, который ходил в атаку со стэком. Но Ася ответила:

— Пришла мадам. Кузина Леля хотела придти, но заболела, лежит с горчичником. А дядя не придет, он рассердился на меня.

— Рассердился? За что же?

— Как всегда, неудача, и виновата, конечно, опять я. Бабушка отправила меня в комиссионный магазин отнести свой sortie-de-bal[6], а там посмотрели, оценили в полторы тысячи и сказали, что сейчас не возьмут, а только через месяц. Я хотела уйти, вдруг подходит мужчина, и говорит: «Я как раз ищу такой мех. Если вы согласны ко мне заехать, я тотчас выложу вам деньги». И представился как Рудин Дмитрий Николаевич. Ну, разумеется, я согласилась, деньги-то нам нужны! Он взял такси и усадил меня, а шоферу сказал: «В Лесной». И тут мне стало страшно; уже смеркается, а в Лесном глухо. Что, если он завезет меня и отнимет мех. Мне показалось странным, что он меня взял под руку, точно знакомую, а мех сразу же положил себе на колени. Вот я и говорю: «Знаете, я передумала, я лучше выйду». А он отговаривает, и чем больше отговаривает, тем мне страшнее, чувствую, что сделала глупость! Схватилась за дверцу, шофер затормозил, повернулся ко мне и открыл. Я выскочила — и в сторону. Я ведь быстрая. Только бы, думаю, он за мной не выскочил. Такси в ту же минуту умчалось, и только тут я вспомнила, что мех-то остался в машине! Вернулась я к бабушке вся зареванная. Бабушка, видя, в каком я отчаянии, даже не побранила. Она сказала: «Слава Богу, что кончилось только так». Но дядя... Господи, как он на меня кричал: «Безумная! О чем ты только думала! Я тебя на улицу выпускать не буду, сиди дома весь день. Ничего не понимаешь, так потрудись запомнить, что садиться в машину с незнакомыми людьми я запрещаю!» Ну, а чем я уж так виновата, скажите? Откуда я могла знать, что это не Рудин, а вор?

— Здесь дело не в том, что он вор, Ася. Надо вообще остерегаться чужих людей. Ваш дядя совершенно прав; вы были в самом деле очень неосторожны.

В эту минуту объявили начало концерта.

В антракте Ася убежала в ученическую-артистическую, и Елочка увидела ее, только уже выходящей на эстраду. Елочка чувствовала, что волнуется. «Господи, да что же это я! Не все ли равно мне-то?» Но ей было не все равно и уже не могло стать все равно.

— Вот это да! Это называется музыкальностью! — сказал кто-то шепотом позади Елочки, когда Ася начала Шумана. Елочка обернулась; говорил юнец лет шестнадцати, весьма демократического облика — без галстука, в рыжем свитере до самых ушей.

---

[6] Накидка, манто (*франц.*).

— Переливы подает очень тонко, — подхватил его товарищ-еврей в роговых очках, выступавший перед тем со скрипкой.

— А Шуберта-то, Шуберта как начала! — сказал опять первый мальчик. — Молодец девчонка! Откуда взялась такая? Я ее раньше не слышал.

Аплодисменты были дружные и бурные. Мальчики позади Елочки завопили «бис», многие подхватили. Ася выбежала раскланиваться, и это у нее получалось очень изящно. Вопросительно посмотрела на учительницу. Та кивнула, и Ася снова села к роялю. Взяла несколько печальных аккордов...

— Прелюд Шопена, — прошептал тотчас все тот же юнец в свитере.

Он в течение всего концерта безошибочно называл исполняемые вещи к немалому удивлению Елочки.

— Шабаш... Путается! — услышала она вдруг его же шепот. — Эх, жаль! Хорошо начала!

Сердце Елочки тревожно забилось... Ася взяла еще два-три аккорда, прозвучавших неуверенно, и вдруг вскочила и бегом убежала с эстрады.

— Задала стрекача с перепугу! — добродушно засмеялся еврей. — Похлопаем ей еще, Сашка.

Когда концерт кончился, Елочка увидела Асю уже в зале. Она стояла около пожилой дамы с седыми буклями.

— Что случилось, Ася? Вы, кажется, сбились? — спросила, подходя, Елочка.

— Да, неудача! У нас на бис был приготовлен этюд Мошковского, но мне что-то не захотелось его играть. Вчера я слышала вот этот прелюд, мне и взбрело на ум — дай-ка сыграю. Начала хорошо, а потом спуталась. Дома-то я бы непременно подобрала, ну а на эстраде остановилась. Это мне хороший урок: не выходить, не отрепетировав хоть раз.

Елочка с изумлением посмотрела на нее.

— Как? Вы не играли ни разу эту вещь?

— Ни разу.

— И вы могли бы ее повторить?

— Вот и не смогла, как видите.

Елочка не верила своим ушам. Не обладая сама музыкальной памятью, она не могла вообразить себе ничего подобного.

— А педагоги будут знать, что вы играли без подготовки? — спросила она.

— Юлия Ивановна знает, а другие... Не все ли равно?

— А вы с Юлией Ивановной уже разговаривали?

— Да. Она поймала меня в артистической и строго сказала, что программа должна быть согласована с педагогом и никакие вольности не допускаются. А я почему-то думала, что бисом вольна распоряжаться, как хочу. Просила Юлию Ивановну меня простить, она поцеловала меня в лоб и, кажется, простила.

На следующий день Елочка краем уха услыхала в канцелярии школы разговор Юлии Ивановны с директором. Произнесли фамилию Аси, и Елочка насторожилась.

— На прошлом уроке эта девушка легко подбирала отрывки из «Снегурочки», которую накануне слышала в первый раз. У нее огромные данные, но нет школы, нет постановки руки и слабая техника. Притом она, по-видимому, не осознаёт степени своего дарования.

— А это бывает чрезвычайно редко, — кивнул директор.

— О, да! Еще бы! В этом отношении ее нельзя даже сравнивать с нашими вундеркиндами, которые уже так воображают о себе!

Эти отрывки из «Снегурочки» запали Елочке глубоко в душу. Лежа в тот вечер в постели, она думала об Асе, и в глазах ее плыли крупные белые снежинки — отрывки из той счастливой, розовощекой

зимы, которая навеки ушла в прошлое; бедная Снегурочка — она и сама не знает, в какую страшную весну России занесло ее буйным ветром и на каком разбойничьем, языческом костре суждено ей растаять, погибнуть...

С детства в воображении Елочки сложился образ женского существа; сначала девочки, а позднее девушки, в котором было как раз все то, чего не хватало ей. Всякий раз, когда она в ком-либо ловила отдельные рассеянные черты этого манящего образа, она говорила себе: «Похоже». И понемногу слово «похоже» стало у нее именем существительным, независимым понятием, определяющим всю совокупность признаков того, чем она хотела бы стать, если б могла отказаться от себя.

Угадывая будущую судьбу Аси, Елочка страшилась и заставляла себя думать иначе, вспоминала свою бывшую подругу Марочку, с которой недавно разошлась бесповоротно. Как-то раз Марочка сказала Елочке: «Ах, оставь, пожалуйста, музыку ты любить не можешь, у тебя вовсе нет слуха. В оперу ты ходишь, чтобы смотреть, как умирает jeune premier[7]».

Слова эти резанули по сердцу. Елочка самой себе не могла признаться в том, что так точно судила Марочка, — герой, и особенно герой трагически погибающий, пусть даже оперный, сохранял в душе Елочки притягательное обаяние.

Думая теперь об Асе, о том, что они могли бы стать хорошими подругами, Елочка внушала себе: «Нет, нет, это невозможно, мы слишком разные, по характеру и по возрасту. Она скоро выйдет замуж, как все они, хорошенькие. Я все равно буду ей не нужна и не интересна. Лучше мне не вылезать из своей улиточной раковины».

Решение было принято, и на следующий день она пришла на урок в свое время, чтобы не застать Асю.

Глава третья

Нашу Родину буря сожгла,
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
Б. Пастернак.

В комнате, которая одновременно представляла собой и столовую и гостиную и где предметы изысканного убранства перемешивались с предметами самыми прозаическими, садились обедать.

В сервировке стола были старое серебро и дорогой фарфор, но вместо тонких яств на тарелки прямо из кастрюльки клали вареную картошку. Наталья Павловна — старая дама с седыми волосами, зачесанными в высокую прическу, и с чертами лица словно вылепленными из севрского фарфора, как те изящные чашки, что сияли на серебряном подносе с вензелем под дворянской короной, — сидела на хозяйском месте.

По правую руку от нее расположился Сергей Петрович, мужчина лет тридцати пяти. Ася расставляла на столе тарелки. Горничные в этом доме уже отошли в область предания.

— Обед для мадам придется подогревать. Я посылала Асю ее сменить, но мадам ее уверила, что достоит очередь сама, — сказала Наталья Павловна.

— Мадам — мужественная гражданка, ее героический дух не сломит ни одно из бесчисленных удовольствий социалистического режима, а двухчасовая очередь за яйцами — это пустяк; к этому мы уже привыкли, — усмехнулся Сергей Петрович.

[7] Герой-любовник (*франц.*).

— Ты принес мне контрамарку на концерт, дядя Сережа? — спросила Ася.

— Нет, стрекоза. Но не бойся, мы пройдем с артистического подъезда. Завтра концерт у нас в филармонии, мама, Девятая симфония. Нина Александровна солирует. Может быть, наконец соберешься и ты? У Нины Александровны сопрано совершенно божественное, не хуже, чем у твоей любимицы Забеллы.

— Ты отлично знаешь, Сергей, что я выезжать не хочу. Воображаю себе зало Дворянского собрания теперь и эту публику... Дома я, по крайней мере, не вижу этих физиономий. Не вздумай опять уверять меня, что публика там достойная — достойной публики не осталось.

— Но Девятая симфония во всяком случае осталась Девятой симфонией, мама. А солисты и оркестр...

— Я уже сказала, что не поеду, мне дома лучше, — сухо отказывалась Наталья Павловна. — Ася ничего прежнего не видела и не помнит, вот и веди ее.

— Обязательно поведу. Постараюсь устроить обеих девочек и Шуру Краснокутского. Я уже обещал.

Ася покраснела и отошла к буфету. Сергей Петрович, смеясь, сообщил Наталье Павловне, что Ася приобрела себе в лице Шуры поклонника. Вот уже месяц юноша неравнодушен к ней.

Улыбка проскользнула по мраморному лицу Натальи Павловны и смягчила строгие черты. Полуобернув голову, она взглянула на внучку.

— Зачем ты меня дразнишь, дядя Сережа? — отозвалась Ася, перебирая ложки и вилки на самоварном столике. — Ты ведь очень хорошо знаешь, что Шура мне не нравится. Ну вот! Бабушка уже вздыхает! — прибавила она с оттенком нетерпения.

— Вздыхаю, дитя мое, когда подумаю о твоем будущем. Я не представляю себе, кто может обратить внимание на тебя. Теперь почти нет молодых людей нашего круга.

— Найдутся, мама, — сказал Сергей Петрович, — беда лишь в том, что traine[8] жизнь теперь не та; все по углам попрятались, как мыши.

— Вот об этом я и говорю, Сергей, мы почти никого не видим. Не за выдвиженцев же и комсомольцев выходить Асе? А Шура Краснокутский из хорошей семьи, он вполне порядочный и хорошо воспитанный молодой человек. Я не хочу ни в чем принуждать Асю, но боюсь, со временем она пожалеет, если откажет ему теперь.

— Полно, мама. Она еще очень молода, еще может выбирать...

— Между кем выбирать, Сергей?

— Ах, бабушка! — вмешалась Ася, — да разве уж замужество так необходимо? Разве нельзя быть счастливой и без него?

— В жизни женщины это все-таки главное, Ася. Какие бы ни были революции, а без любви к мужу и детям не обойтись. Ты этого еще понять не можешь.

Ася молчала, не поднимая ресниц, но улыбалась исподтишка Сергею Петровичу. У нее были свои мысли насчет детей и замужества.

— Посмотри на нашу плутовку, мама. Она отлично знает себе цену и, конечно, пребывает в уверенности, что получит не одно предложение. И она права. Сейчас мы живем замкнуто, но это может измениться. Почем знать? Может быть, наша Ася еще будет заказывать себе приданое в Париже и поедет в свадебное путешествие в Венецию.

— О, не думаю, не думаю! Большевики слишком прочно засели в Кремле, — печально сказала старая дама.

— А как дела у Лели на бирже труда? Приняли ее, наконец, на учет? — спросил Сергей Петрович.

— Еще не знаем, — ответила Ася. — Она обещала прибежать се-

[8] Текущая (*франц.*).

годня, чтобы рассказать. Там, на бирже, заведует списками некто товарищ Васильев. Этакий рыбий жир. Товарищ Васильев уже четыре раза отказывался принять ее на учет, а добиться переговоров с ним тоже очень трудно.

— Вот где бюрократизм-то! — возмутился Сергей Петрович. — Для того, чтобы записаться в число безработных, нужно получить с десяток аудиенций у этой высокопоставленной креветки. Сидит, конечно, в фуражке, курит и отплевывается на гобелен. Лорд-канцлер новой формации! С наслаждением отдал бы приказ приставить к стенке этого товарища Васильева.

— Это не бюрократизм, Сережа. Это их система, их классовый подход, — возразила Наталья Павловна, — они не поставят Лелю на учет, потому что она внучка сенатора и дочь гвардейского офицера. Последний раз этот товарищ Васильев сказал совершенно прямо: «Мать ваша нетрудовой элемент, а отец и дед были классовыми врагами».

— Вчера Леля, уезжая на биржу, забежала сначала к нам, — вмешалась Ася, — мы все вместе старались придать ей пролетарский вид. Знаешь, дядя, мы замотали ей голову старым вязаным платком, а потом раздобыли у швейцарихи валенки и деревенские варежки, и получилась самая настоящая матрешка. Мы стоим и любуемся своей работой, а в это время входит Шура и заявляет: «В этом шарфике вы очаровательны, Елена Львовна, но вид у вас в нем сугубо контрреволюционный!». Это любимое выражение Шуры. У него все «сугубо» и «контро». Нам осталось только руками развести: «Вот тебе и на!».

— Ну, Шура и сам выглядит не менее «сугубым». Если бы на биржу отправился подобным же образом он, то и его не приняли бы за «товарища», — сказал Сергей Петрович.

— Шура на биржу не пойдет, у него нет нужды в работе. Он сам сказал: «Пока Бог дает здоровье моей тетушке в Голландии, я могу не встречаться с товарищем Васильевым». Почему это так, дядя?

— Сестра мадам Краснокутской высылает ей из Амстердама гульдены, а Шура все-таки подрабатывает переводами, — объяснил Сергей Петрович.

— Да, он переводит сейчас письма Ромена Роллана. Он очень хорошо знает литературу и может интересно говорить о ней, но... Слишком он весь изнеженный, избалованный. Я таких не люблю. Его мамаша всегда боится, что он простудится, заботится о нем, как о маленьком — это смешно! Мне нравится в Шуре только его доброта. Вчера, когда он провожал меня с урока музыки, к нам подошел человек весь в лохмотьях, но с университетским значком. И вдруг этот человек говорит: «Помогите бедствующему интеллигенту!» Шура выхватил тотчас бумажник и вынул все, что там было. Потом он обшарил свои карманы и даже вытащил рубль, завалившийся за подкладку. При этом у него дрожали руки. Тут я вдруг разревелась самым глупым образом. Но для того, чтобы влюбиться, мне доброты мало. Вот если бы он хоть немного походил на Гавена у Гюго или дрался за Россию, как папа, тогда бы я его полюбила.

— Тогда бы он давно был в концентрационном лагере, Ася. Те, кто любил Родину, все там.

— А ты, дядя?

— И я там буду. Все там будем.

Наталья Павловна положила вилку и нож.

— Даже в шутку не говори так, Сергей!

Наступило молчание. Каждый угадывал мысли другого. Первой заговорила Ася:

— Вот шекспировский Кориолан мне тоже нравится, когда он говорит: «Я, я — изменник?». Так мог бы сказать белый офицер?

— А кто тебе позволил читать Шекспира, Ася?

— «Кориолана» дядя сам прочел мне вслух.

— Ну, это другое дело. Однако, Ася, мы успеем кончить картофель прежде, чем ты принесешь нам соус.

— Прости, бабушка! — Ася убежала в кухню.

Через минуту она уже уселась на свое место, но, едва съев кусочек, положила вилку и снова защебетала:

— Какое для нас счастье, что ты попал в оркестр, дядя. Ведь иначе у нас не было бы лазейки с артистического подъезда! Я страшно хочу услышать Девятую симфонию и хор «К радости». Я очень-очень счастливая! Ты, бабушка, часто смотришь на меня с грустью и совсем напрасно. В жизни столько интересного, и каждый день выплывает что-нибудь новое, что хочется увидеть, услышать или прочитать. Досадно только, когда вы мне говорите: «Это рано, это вредно», когда я лезу на лесенку в дедушкиной библиотеке. Вчера дядя вырвал у меня из рук «Дафнис и Хлоя», а я только страничку прочитала. Я боюсь, что библиотека будет распродана прежде, чем я ее прочту.

— Кстати, Ася! Мадам говорила, что под подушкой у тебя вчера опять лежала книга, — сказала Наталья Павловна, — а я ведь запретила читать тебе в постели.

— Это не книга, бабушка, это Шопен.

— Шопен? Зачем же он под подушкой?

— Так надо, бабушка, вот он пролежит ночь, а утром я играю наизусть то, что просматривала вчера.

— Ты и без этой телепатии играешь все наизусть, Ася, — сказал Сергей Петрович, вставая и целуя руку матери.

— А что такое телепатия? Ну вот, я уже вижу, что ты ответишь свое «рано» или «вредно»!

— А вот и нет! Для разнообразия скажу: «Отвяжись!». Объяснять у меня нет времени, так как вечером я играю в рабочем клубе и мне надо спешно репетировать «Рондо каприччиозо» Сен-Санса. Попробуй мне проаккомпанировать. Сумеешь?..

Камины еще доживали свой век в старых квартирах, в чьей-нибудь гостиной, где под хрустальной люстрой втиснута кровать, а кресла и рояль завалены старыми портретами или энциклопедией Брокгауза из только что проданного шкафа. Мелькали еще у огня живые тени минувшего времени. Вот худая рука старика под ветхозаветным манжетом, длинные подагрические пальцы берутся за щипцы; вот освещенный игрой пламени профиль старушки с высоко поднятыми волосами, она зябко кутается в старую вязаную шаль, а безжизненный взгляд остановился на вспыхивающих угольках. А вот две девичьи головки, прижавшиеся друг к другу; одна золотистая, другая потемнее, две пары глаз одинаково смотрят в огонь...

Посмеет ли коснуться юности та обреченность, которая невидимо разгуливает между старой мебелью таких гостиных и отмечает все ненужное для новой эпохи, осужденное на умирание, лишнее, как и сами эти камины, которые скоро заменят газовые калориферы?

Посмеет, как показал жестокий век.

— Он говорил опять, что папа был классовый враг и что революционный пролетариат не может потерпеть в своих рядах остатки аристократии. Дети репрессированных лиц будто бы тем опасны, что они затаили зло. Это я-то опасна! Чем я могу быть опасна, хотела бы я знать? Когда такое говорят твоему дяде, это еще можно как-то понять, но мне! — Леля печально примолкла.

— Это в самом деле странно. Тетя Зина очень расстроилась?

— Конечно. Даже плакала потихоньку от меня. Ведь цветами разве можно прожить? Я вчера целый день вертела эти противные ненастоящие розы, исколола все пальцы. Продавать их все трудней и труд-

ней становится. На работу маму не принимают, а за цветы штрафуют. Последний раз она пряталась от милиционера на пятом этаже какой-то лестницы вместе с бабой, продававшей корешки для супа. Если поймают — берут штраф, который сводит к нулю заработок целой недели. Мама всякий раз так волнуется, когда идет на улицу с цветами, что вся дрожит, а меня отпустить ни за что не хочет; ей кажется, что если с цветами выйду я, то ко мне непременно пристанет матросня, будет... что-то страшное. А я от милиции сумела бы убежать лучше мамы — ноги у меня быстрее. Вчера мама сказала про твою маму: «Какая счастливая Ольга, что умерла в восемнадцатом. Она не узнала тех мучений, которые выпали на мою долю!» Ну зачем говорить такие вещи? От них никому не лучше!

Ася помешала в камине и при его свете взглянула в огорченное лицо сестры.

— Мы с мамой теперь все время ссоримся, ни о чем договориться не можем, — продолжала Леля. — Жизнь такая безысходная, что можно с ума сойти. У твоей бабушки квартира сохранилась, можно продавать вещи, и Сергей Петрович зарабатывает в оркестре; очень много значит, когда в семье есть мужчина. А мы с мамой теперь одни, у нас пустые стены и впереди — ничего, никакой надежды. Оказывается, я дурная дочь! Мне и жаль маму и досадно за нее. Вчера мама опять устроила мне сцену за то, что я пошла на вечерок к нашей соседке-евреечке. Другая наша соседка — та, что слева, Прасковья, — монстр и вся пышет классовой злобой, а Ревекка, право же, очень симпатичная и всегда рада меня повеселить. Она со мной даже как будто заискивает, не понимаю почему. И тут, изволите ли видеть, совсем некстати мама со своей гордостью на дыбы: это, мол, не твое общество и нечего тебе делать среди этих нэпманов. Noblesse oblige[9] — не забывай, что ты — Нелидова! Но если вокруг нас нет прежней среды, нет grande tenue[10], — что нам остается делать, Ася? Подумай только, напрасно пропадают, уходят наши лучшие годы, наша молодость, которая уже не вернется! Мы не веселимся, не танцуем, сидим, как в норе. Мне скоро девятнадцать, а я еще ни разу не потанцевала. Если нет прежнего общества, надо довольствоваться тем, которое есть, а мама не хочет этого понять.

— Леля, не говори так! Тетя Зина изболелась за тебя душой; у нее всегда такое измученное лицо, — перебила Ася.

Глаза у Лели на минуту стали влажными, но она тряхнула головой, как будто отгоняя ненужную чувствительность.

— Зачем же мама отнимает у меня последнюю возможность повеселиться? У нее у самой было все в мои годы. Увидишь, Ася, жизнь пройдет мимо нас, и те, которым мы дороги, этого вовсе не понимают.

— Это ничего, Леля, так иногда бывает; сначала все идет мимо, а потом вдруг приходит очень большое счастье, как во французских сказках. Надо уметь ждать. Если бы все приходило сразу, было бы даже неинтересно.

— Ты сказочного принца ждешь? Это твоя мадам тебе внушает. Она зовет тебя Сандрильеной, но хоть мы было и заподозрили в ней фею Бирилюну под впечатлением Метерлинка, ты теперь хорошо знаешь, что она не оказалась волшебницей и не может вызвать для тебя из тыквы наряды и экипаж, а если б и вызвала — придворных балов и принцев теперь нет, поехать некуда.

Ася задумчиво смотрела в огонь.

— Я всегда очень любила читать про фей и волшебников, — сказала она, понижая голос. — Я помню, когда мама одевалась перед своими зеркалами, чтобы ехать в театр или на бал, мне разрешалось присутствовать и перебирать ее драгоценности. У мамы был шарф,

[9] Положение обязывает *(франц.)*.
[10] Высоких манер *(франц.)*.

воздушный, бледно-лиловый; я куталась в него и, воображая, что я — фея Сирень, танцевала в зале. Я говорила всем, что стану феей, когда вырасту. Теперь, конечно, я в фей уже не верю... Но в чудеса... Не удивляйся, Леля, в чудеса — верю. Когда человек чего-то пожелает всем существом, желание это, как молитва, поднимется к Богу, а может быть, оно само по себе имеет магическое действие... Так или иначе, оно должно найти свое осуществление, повлиять на будущее. Я верю, что в жизнь каждого, кто умеет желать и ждать, может войти чудо. К кому — сказочный принц, к кому — царство или принцесса, к кому — талант, или мудрость, или красота... Ко мне, я в этом уверена, придет если не принц, то рыцарь. Он не будет в доспехах, конечно, нет, но все равно рыцарь «без страха и упрека» — белый офицер, как папа, или наследник-царевич, который окажется жив... Я не знаю кто. Он будет гоним или нищ, и я должна буду его узнать в этом виде, как в образе медведя узнают принцев. Я сейчас же по лицу, по первому слову узнаю! Он принесет мне большое-большое счастье, но для того, чтобы это случилось, желание мое должно быть несокрушимым и цельным... Понимаешь, Леля?

— Ты экзальтированная, Ася, а я слышала, что именно экзальтированные девушки всего чаще оказываются с рыбьей кровью. Вот ты и есть такая. Ты способна будешь до седых волос прождать своего принца, а мне вот кажется, что наши рыцари заставляют себя ждать слишком долго. Никто еще не влюбился в меня ни разу, кроме этого меланхоличного барона Штейнгеля. Помнишь, как он мучил нас всех нескончаемыми философскими разговорами? Мама только теперь открылась, что он просил у нее моей руки и уехал за границу только после того, как она ему отказала. Ведь мне тогда было только шестнадцать, а ему — тридцать пять. Разве это мужчина? Наши рыцари придут, когда и мы будем старухами или сорокалетними старыми девами. Это будет чуть-чуть смешно. Нет ничего трагичней слов «слишком поздно»!

Ася вздохнула:

— Если ты будешь возмущаться и колебаться, Леля, боюсь, твой царевич вовсе не придет! В последнее время ты стала как будто другая.

— Сергей Петрович полагает, что я такая же девочка, какой была четыре года тому назад; он не желает понять, что мне уже теперь хочется другого...

— Чего же?

— Общества моих ровесников, с которыми можно поострить, подурачиться, пококетничать, а его отеческий тон мне скучен. Я хорошенькая, и это стало меня тревожить. Я хочу, чтобы за мной ухаживали, хочу нравиться — вот что! У тебя есть твоя музыка, а меня ничто особенно не занимает. Почему ты смотришь исподлобья? Обиделась?

— Потому, что ты весь наш мирок развенчать хочешь! Наши мамы были так дружны, их даже называли inseparables[11], я думала, и мы тоже, а ты теперь как чужая...

— Ты хорошо знаешь, Ася, что все запрещенное меня всегда особо привлекало; в детстве — недозволенные книги, потом — фокстрот, а теперь — новая, незнакомая мне среда. Ты вот говоришь: «Не мельчай», а я скажу тебе, что мы словно под стеклянным колпаком. Надо выйти из-под опеки старших. Они стараются отдалить нас от действительности и современного общества, а нам надо взглянуть в лицо жизни и найти свое место в ней. Только как это сделать, я и сама не знаю. Отовсюду гонят. Служба могла бы мне помочь сориентироваться, а без нее... Ася, помнишь, синие viola odorata[12], которых так много всегда в дедушкином могильном склепе на Новодевичьем? Предок этого

[11] Неразлучными *(франц.)*.
[12] Восхитительные фиалки *(итал.)*.

цветка — дикая лесная фиалка — растет повсюду, ну а эта культура уже так облагорожена, что она стала махровой, и синева особенная, но зато она требует особого ухода и непременно погибнет в среде, где отлично уживались ее предки. Вот ты такая viola, Ася.

— Сама-то ты разве не такой же оранжерейный цветок? Я слышала, что род твоего папы древнее рода Бологовских.

— Конечно, я тоже махровая и тепличная, только я не фиалка, я скорее гвоздика; страшно люблю ее пряный, немного эксцентричный запах. Но я переделаюсь, стану опять дичком, я акклиматизируюсь! — и она усмехнулась, довольная найденным выражением.

Глава четвертая

Синьора, ваш конец — на плахе!
Д' Ориас (Эллиа).

В это время Сергей Петрович сидел на низеньком диване, положив ногу на ногу, и курил. Посередине комнаты перед трюмо стояла дама, поправляя на себе тонкие пожелтевшие кружева. На вид ей было лет 30 с небольшим, но в черных, стриженых и завитых локонами волосах уже мелькали серебряные нити. Она была высокого роста и хорошо сложена, несмотря на некоторую полноту. Большие меланхоличные зеленовато-серые глаза, похожие на глаза русалки.

Комната имела несколько запущенный вид: среди стен, увешанных старинными французскими гравюрами,— афиши; посреди ваз и запылившихся портретов — недоеденный завтрак, утюг и куча недоглаженного белья на изящном столике с инкрустацией. Облупившийся потолок и отсыревшие обои придавали комнате оттенок обветшалости, но старинные вещи согревали ее своим неповторимым обаянием, а множество нот и переписанных от руки партий, томик «Нивы» и ваза с засушенным вереском вносили живую струю в это заброшенное под рукой нужды и горя жилье.

— Я не задержу тебя. Через минуту буду готова,— сказала дама.

— Я не тороплю тебя, Нина, — Сергей Петрович взялся за газету. — Что же, решила ты, наконец, что будешь петь? — спросил он через минуту.

— Ах, не знаю! Что вздумается! Арию из «Царской невесты», а может быть, колыбельную из «Мазепы». Гречаниновскую «Осень» и его «Спи-усни».

— Две колыбельные в одном концерте — не много ли? — спросил Сергей Петрович. — У тебя положительно страсть к ним.

— Да, я это знаю. Уж ты-то должен понять почему. Неужели этого никогда-никогда не будет? — прибавила она.

— Ну, сейчас не время говорить об этом, — ответил с досадой Сергей Петрович.

— Ты хмуришься? Ты эгоист, как и все мужчины.

— Ну и что же? — спросил он нетерпеливо.

— Неужели его никогда не будет?!

— Ах, Нина! Тебе не двадцать лет. Ты должна была думать об этом раньше, когда была замужем. Тогда ты желала быть свободной и изящной. А теперь от меня ты требуешь невозможного: у меня на руках мать, племянница и француженка. Нам едва хватает денег, которые я зарабатываю в оркестре и на этих случайных концертах. И у тебя никаких средств. И потом, мы не зарегистрированы, нельзя забывать это.

— Ну уж последнее... — Она махнула рукой. — Мы не в прежнем

обществе. Советская бумажонка о браке никого не интересует. Скажи честно, что ты просто не любишь детей.

— Нет, я всегда любил их. Когда-то в Березовке я приходил смотреть, как просыпается Ася; щечки у нее бывали розовые, тельце теплое. Она протирала кулачками глаза и так очаровательно потягивалась, что я уже тогда думал: если женюсь когда-нибудь, то непременно у меня будут дети. Но это было тогда, а теперь все иначе! Вся жизнь! И сам я уже не тот — слишком утомлен и измучен, чтобы начинать что-то новое. Причем половину отеческого чувства я уже отдал Асе.

Сергей Петрович вдруг умолк. Ему вспомнилось, как после взятия Крыма красными, когда его старший брат Всеволод был расстрелян, он страшно беспокоился за судьбу Аси и едва отыскал ее потом на окраине Севастополя, в магазине. Она бросилась ему на шею, ободранная, худенькая, голодная. Всеволод сделал большую ошибку, когда взял с собой семью, уезжая в Киев, где концентрировались силы белых. Он втянул таким образом жену и детей в самый водоворот событий. Лучше было им пересидеть это тревожное время в деревне или в Петербурге с матерью; в Петербурге все-таки было тише... Никто, конечно, не мог предвидеть, как сложатся события, но результаты были самые печальные: жена и мальчик Всеволода погибли от сыпняка, а в Крыму, после его собственной гибели, легко могла пропасть и Ася. Теперь многие удивлялись, что они не расстаются с мадам, а ведь это она сохранила ребенка в самых тяжелых условиях. Есть услуги, которые забыть нельзя. Он посмотрел на Нину. Она тоже смотрела на него. Глаза ее были влажны.

— Прости меня, — сказала она и продолжала, будто прочтя его мысли: — вам всем пришлось столько испытать. Но ведь и я прошла через такие же ужасы. Кстати, Ася догадывается?

— О чем? О наших отношениях? Не думаю — она слишком наивна, чтобы быть проницательной. Притом, она видела нас вместе только однажды.

— Отчего же она смутилась, когда на последнем концерте ты знакомил нас?

— Не знаю... Не заметил... Неужели в самом деле догадывается? Минуту они молчали.

— Я любуюсь ею, как растением, которое сам вырастил, — заговорил опять Сергей Петрович. Он вынул портсигар. — Она вызывает во мне постоянную тревогу и жалость. Моя мать с нею слишком строга. Я почему-то уверен, что она не будет счастлива в жизни. Вот увидишь. Неудачи гонятся за ней по пятам. К тому же она не из тех, которые умеют постоять за себя, а счастье ведь очень часто приходится брать с бою. Другое дело — Леля, маленький хищник, который при случае покажет свои коготки.

— Она тоже очень мила, ваша маленькая Нелидова! — сказала Нина, вспоминая, как в помещении какого-то рабочего клуба, в тесной неряшливой комнате, отведенной под артистическую, она поправляла себе волосы перед зеркалом, ожидая Сергея Петровича, с которым по обыкновению «халтурила», услышала его голос, обернулась и увидела рядом с ним двух молодых девушек. Обе были настолько непохожи на окружающую публику, что она тотчас признала в них Асю и Лелю, о которых столько от него слышала. Их лица показались ей настолько еще свежими, юными, невинными, что она невольно вздохнула о том, что сама уже давно потеряла. Розовые от мороза, они жались друг к другу и не отходили от Сергея Петровича, как будто чувствовали себя несколько растерянными в непривычной обстановке. Вскоре Сергей Петрович увел их, чтобы усадить в зале. Перед тем, как выходить на эстраду со скрипкой, он отозвался, потирая несколько лихорадочно руки: «Воображаю, как сейчас волнуется Ася; она всегда сама не своя, когда я выступаю». Когда пришла очередь Нины, она с эст-

рады отыскала глазами Асю; та сидела, тесно прижавшись к кузине, и в глазах у нее было столько внимания, тревоги и тепла, что Нина почувствовала себя согретой выражением сочувствия в этом молодом существе. Но после, в «раздевалке» (как говорили в клубе), она зоркими женскими глазами увидела, с какой бережливой нежностью закутывал Сергей Петрович Асю оренбургским платком. Так одевают любимого ребенка или обожаемую женщину... И Нина на минуту как будто задохнулась от острой боли в сердце... Ей показалось, что никогда она не видела у него этого взгляда, обращенного на нее.

Эту же боль она вспоминала и теперь.

Сергей Петрович заговорил первым:

— Сейчас, когда я шел к тебе, у меня была очень невеселая встреча: сестра вдовы моего брата — Нелидова, Зинаида Глебовна, с которой мы вместе бедствовали в Крыму, стояла у водосточной трубы, как нищая, и продавала жалкие искусственные розы... Боже мой, до чего она показалась мне измученной! Я поспешил у нее купить два цветка и, когда при этом поцеловал ей руку, то вызвал сенсацию среди прохожих; кто-то даже отпустил замечание на наш счет: «Двое недорезанных церемонии разводят». Очевидно, очень уж не вязалась моя галантность с ее обносками, да и с моими. Впрочем, в ней есть тот оттенок порядочности, который позволяет безошибочно отнести человека к категории «бывших». На улице, как нищая... Когда-то изящнейшая дама, дочь сенатора, жена гвардейского офицера... Вот она — наша действительность!

Нина взяла несколько арпеджио... Чистый серебряный звук наполнил комнату. Она была сегодня в голосе; когда ей бывало грустно, она всегда хорошо пела.

Сергей Петрович вздохнул при мысли об аудитории, которая их ждет в прокуренной зале заводского клуба; голые шеи, торчащие из матросских воротников, майки, одетые прямо на свитер, и красные платочки, и то нетерпеливо-жадное любопытство, в котором всегда чудилось тайное недоброжелательство: вдруг да как-нибудь оплошают «бывшие», вот смеху-то будет! Он рад был бы стать выше своей брезгливости и все-таки не выносил эту толпу и неохотно выходил раскланиваться в ответ на аплодисменты. Нина была менее постоянна в своих впечатлениях: «Хорошо слушают. Я чувствовала эти незримые нити, связующие артиста и публику!» — часто говорила она, вынырнув из маленькой дверцы, соединяющей клубную сцену с импровизированной артистической. В другой раз жаловалась:

— Плохая нам досталась доля — клуб за Нарвской заставой и отвратительный трамвай! Хоть бы мне раз выйти на эстраду в бриллиантах, шумя шелковым шлейфом, и увидеть перед собою сияющий огнями колонный зал, а после сесть в автомобиль, украшенный цветами, кивая направо и налево поклонникам — музыкальным знаменитостям и прочим господам. Не повезло!

— Пой для меня, Нина! Я никогда не устану тебя слушать и понимать во всех оттенках. Знаешь, я не мог бы полюбить женщину немузыкальную; для меня это так же невозможно, как полюбить глухонемую. Наш роман весь соткан из музыки. Когда я в первый раз тебя увидел два года тому назад, ты пела рахманиновскую «Сирень», и я вспоминал сиреневые аллеи в нашей Березовке. Твое лицо на один миг представилось мне окруженным сиренью, как на картине Врубеля; я подумал, что у тебя голос, как у Забеллы. Я в твой голос влюбился раньше, чем в тебя. Нас сблизили наши выступления. Странно, в детстве мне попадало за скрипку. Мать требовала, чтобы я стал военным, и слышать не хотела ни об университете, ни о консерватории. А вот теперь именно скрипка кормит нас.

Сергей Петрович так и не успел окончить университет, ему оставался последний курс, когда началась война. Он тотчас перешел в юнкерские классы Пажеского. В семье все приветствовали этот жест. Дома кумиром всегда был Всеволод — кадровый преображенец, а Сергей со своей скрипкой всегда был немножно «блудным сыном», но в те дни восхищение семьи на некоторое время перешло на него...

Нина подошла и запустила пальцы в его волосы.

— А я хотела сказать тебе... Тоже объяснить... Ты не совсем правильно представляешь себе мою замужнюю жизнь: я выходила очень молодой и была такой же невинной овечкой, как твоя Ася. Я вышла в семью самую патриархальную. Ребенка я, конечно, имела, но тогда такое было страшное время... Я очень скоро потеряла моего крошку... Еще прежде, чем узнала о гибели мужа. Я никогда об этом не говорю — тяжело вспоминать... Но я не хочу, чтобы ты думал обо мне, как о легкомысленной женщине.

— Я никогда не считал тебя легкомысленной. Клянусь честью! Ну, подожди, Нина, подожди. Ася такая хорошенькая стала, она, наверное, скоро выйдет замуж, и тогда мы устроим нашу жизнь.

Он поцеловал ее руку. Она продолжала теребить его волосы.

— Опять идут аресты среди бывших военных. Смотри, не попадись, а то твоей Асе придется вот так же стоять с цветами, как мадам Нелидовой.

— Это уж судьба, Нина! Один Бог знает, как я боюсь того, что может ждать ее и мать. Кстати, меня вчера вызывали в три буквы.

— В гепеу? Тебя?!

— Да. Мои не знают, я не сказал. Приятно побеседовали со мной часа два, потрепали имена моего отца и брата. И барона Врангеля. Спрашивали, у кого я бываю. Не пугайся, я тебя не назвал, я сказал, что очень занят и нигде не бываю... Ну и отпустили.

— Мне эта история не нравится, — сказала Нина озабоченно.

— Хорошего мало, но сейчас хватают чаще кадровых.

— Дорогой мой, да разве недостаточно того, что ты сын генерала и притом белогвардеец?

— Оснований, конечно, достаточно. Да им и основания не нужны: сегодня есть человек, завтра как в воду канул! Препоганое, однако, состояние, когда плетешься туда и воображаешь себе различные варианты разговора, расставляемые тебе силки. Но не стоит об этом. Спой мне колыбельную, и поедем. Твое пение выкуривает серые мысли, как по волшебству. Спой, Нина, и скажи, что ты простила меня.

Глава пятая

Там корабль возвышался, как царь,
И вчера в океан отошел.

А. Блок.

Рояль стоял в комнате Сергея Петровича. Здесь царствовал постоянный хаос от множества нот, партитур, раскрытых книг и нотных бумаг, разбросанных на рояле, на пульте и даже на стульях, так как ноты уже не помещались в ломившиеся от них шкафы. Сергей Петрович запрещал прибирать и перекладывать ноты и нотные листы во время ежедневной уборки и был одержим постоянной тревогой, что именно после вмешательства женских рук в хаос его комнаты он не отыщет наброска нового сочинения или места, на котором он остановился в читаемой им книге. Когда Ася и мадам вторгались с тряпками в его «святая святых», он приходил в отчаяние, уверяя, что подобные чистки наносят удар по творческому вдохновению человека, и обвиняя Асю в измене его интересам.

В один январский вечер Ася, сосредоточенно нахмурив брови и приложив к губам карандаш, сидела за роялем с самым озабоченным видом. Из ее осеннего прелюда ничего не получалось. В первый раз эти темы пронеслись у нее в голове, когда они с Лелей бродили вокруг арсенала в Царском Селе и листья кустарников были как кровь. Когда она наигрывала их в первый раз, эти мотивы были гораздо фантастичнее, а теперь они звучат как-то плоско! Она не могла понять, как записывать музыку! Все, что в ней рождалось, ускользало прежде, чем она заносила на бумагу хотя бы такт. Она никогда не могла повторить ни одной строчки и всякий раз играла по-новому. Иногда ей хотелось бы сочинять для церкви — музыка должна говорить о божественном! Если бы у нее был голос, она бы пела «херувимские» и «свят, свят, свят». Чудные, небесные, никому не ведомые, всякий раз новые! Шура уверяет, что у нее очень приятный тембр голоса, но это он говорит только из вежливости. А какой чудный голос у той дамы, с которой Асю познакомил дядя Сережа! Гречаниновскую колыбельную она спела так задушевно, что Ася вспомнила, как покойная мама, прежде чем уехать в театр или в гости, приходила, бывало, перекрестить ее перед сном и плотнее укрыть одеялом.

Старое детское горе... Десять лет тому назад по дороге из Петербурга в Киев ее братишка Вася подхватил сыпняк, от которого гибли сотни и тысячи людей в те страшные годы. Ася не слишком беспокоилась, уверенная, что Вася встанет и они опять будут играть вместе. Но он не встал. И только взглянув на застывшее личико одиннадцатилетнего брата, Ася поняла, что такое смерть. Через два дня в этом же самом тифу слегла мама. Напуганный Всеволод Петрович поспешил переселить девочку к Нелидовым, которые жили в этом же самом доме, этажом выше. Ася замирала от страха, находясь теперь под впечатлением только что пережитого. Сыпняк представлялся ей длинным серым чудовищем, которое прячется в их квартире, отняло у нее брата и теперь задумало отнять мать. Когда наступали сумерки, ей начинало казаться, что чудовище проникло незамеченным в квартиру Зинаиды Глебовны и в темноте протягивает страшные щупальца, пытаясь схватить ее и Лелю. По вечерам она не отпускала Зинаиду Глебовну от себя, упрашивая сесть около своей постели.

— Тетя Зина, не туши лампу! Тетя Зина, а закрыты ли двери на лестницу? Папа говорил, что тифы ходят по городу.

Но страх потерять мать был настолько силен, что как только в квартире все ложились, она отваживалась вылезти из постели на ковер, и на коленях просила Бога защитить маму от страшилища — молитва на ковре с детства считалась у нее чрезвычайным средством. Если же случалось, спускаясь по лестнице, проходить мимо квартиры отца, она пробегала как можно скорее, закрывая при этом глаза.

В один вечер Леля уже давно заснула, а она, сжав маленькие пальчики в крестное знамение, чтобы вернее защититься от чудовища, лежала и думала о том, как страшно, должно быть, мадам в папиной квартире — прислуги нет, а отец в военчасти; он только вечером на минуту забегал узнать о мамином здоровье. Мадам одна с мамой, которая бредит. И вдруг она услышала голос мадам из соседней комнаты. Она приподнялась на локте, прислушиваясь. Теперь они уже жили не так роскошно, как в Петербурге — без анфилады комнат — и она услышала разговор Зинаиды Глебовны с мадам из смежной столовой и поняла из разговора, что только что ее мама скончалась. Мадам послала денщика в часть за Всеволодом Петровичем, а сама пришла в детскую. Воспитание и выдержка сказываются иногда в ребенке с неожиданной силой — напуганная девочка не закричала и не выскочила из кроватки, даже когда Зинаида Глебовна вошла на цыпочках в детскую, чтобы приготовить ложе для измученной мадам. Ася только по-

вернулась лицом к стене, но и тут не сказала ни слова. Через некоторое время она заснула в слезах. Утром, когда они одевались, мадам не было в комнате и Асю охватила слабая надежда, что все услышанное накануне просто приснилось ей. Тревожным признаком было только то, что Зинаида Глебовна ходила с красными глазами. Уже тогда Ася обладала тончайшим чутьем к интонациям, взглядам и жестам: от нее не укрылось, что тетя Зина была еще более, чем обычно, ласкова с ней — усадив ее и Лелю пить какао, она уговаривала ее есть, а сама не садилась. Одна из многих, прочно засевших в голове Аси заповедей гласила: «Маленькие девочки не должны лезть к старшим с вопросами», и, не смея заговорить, Ася водила тревожными глазами за тетей Зиной, причем у нее постепенно складывалось впечатление, что она нарочно отводит свой взгляд... Все это было настолько знаменательно, что Ася спешно переложила ложку из правой руки в левую, а пальцы правой сложила в троеперстие, приготовляясь к защите... В эту как раз минуту она услышала, что тетя Зина, подойдя к дверям, заговорила с кем-то полушепотом... Ася стремительно повернулась и, встретив печальный и пристальный взгляд отца, поняла, что непоправимое несчастье в самом деле пришло...

Бедная мама! Память о ней в семье как-то растаяла! Отца Ася больше помнила, хотя погиб он только годом позже: бабушка и дядя постоянно вспоминали его слова, поступки, привычки, а от мамы как будто не осталось и следа... Собираясь в театр или на бал, мама часто надевала колье с двумя бриллиантами и уверяла, что бриллиантик побольше — Вася, а поменьше — Ася, и что в театре, глядя на них, она будет вспоминать своих детишек.

Ася вздрогнула, услышав шаги за своим креслом.

— Как ты тихо сидишь, — сказал, подходя, Сергей Петрович.

— Я не слышала, как ты вошел, дядя Сережа! — сказала Ася, вскакивая и принимая из его рук скрипку. — У бабушки голова болит, а мадам пошла в костел. Мне поручено разогреть тебе ужин.

Она подумала, что в кухне сейчас темно... Никого нет... Бояться темноты в восемнадцать лет — это, конечно, очень стыдно, но все-таки очень не хочется идти. Мадам говорила, что видела вчера там мышь.

— Не хлопочи, детка, я сыт: перекусил в буфете. Посидим лучше у камина. Попадало моей стрекозе сегодня?

— Конечно, дядя! Разве я могу провести день благовоспитанно? Сначало попало мне и Леле за то, что начали играть в мяч и угодили в самоварный столик. Бабушка рассердилась и сказала, что мы могли попасть в севрскую вазу и что она уже много раз запрещала игру в мяч в комнатах. Потом пришла графиня Коковцева, а бабушка еще не вышла из ванной; мадам велела нам занимать ее, а нам с Лелей это показалось очень скучным и мы стали поочередно друг друга подменять... Получалось иногда, что фразу начинает одна, а кончает другая. Мадам заметила наши маневры и пожаловалась бабушке. Опять попало. Ну, а вечером попало уже мне одной за то, что я опять бросила свой берет и перчатки на бабушкином ломберном столике.

— Неисправимая егоза! А была ты у консерваторского профессора?

— Да, была. Он нашел, что за месяц занятий с Юлией Ивановной я сделала успехи, но рукой моей остался все-таки недоволен и дал мне несколько указаний, как держать кисть во время октав. Зато мое исполнение Шуберта ему, кажется, пришлось по душе — он очень долго и пристально посмотрел на меня, когда я кончила, и сказал: «Здесь мне делать нечего, прикоснуться — значит испортить!» Говорят, он похвал никогда не произносит, а вот, когда надо разносить и критику наводить, тут он беспощаден и бывает резок; ученице, которая играла передо мной, он сказал: «Идите лучше чулки вязать».

— А свой прелюд ты ему сыграла?

— Да. Ему понравился этот повторяющийся каданс, в котором я изображаю шорох падающих листьев, но мне показалось, что он недоволен моими попытками сочинять: он сказал, что лучше мне не разбрасываться и что композиторство съело уже много талантливых пианистов. И еще он сказал: «Я вот стараюсь вложить в вас мастерство, а через год или два вы выйдете замуж и забросите рояль... Пианист должен быть аскетом». Я поэтому решила, что никогда не выйду замуж, я так ему и сказала, чтобы его успокоить. Отчего ты смеешься, дядя?

— Твои рассуждения иногда так по-детски забавны! Прежде я не хотел видеть тебя профессионалкой, зарабатывающей с помощью музыки, но жизнь складывается иначе, и теперь это лучшее, чего бы я мог желать! В детстве при звуках минорной музыки ты начинала жалобно плакать. Я уже тогда говорил, что ты музыкальна. В четыре года ты не хотела засыпать без колыбельных Лядова и Чайковского. В Березовке, войду, бывало, к тебе в детскую, а ты прыгаешь в кроватке и повторяешь: «Хочу гули-гуленьки!» Ты уже тогда была общей любимицей. Ну, а теперь скажи мне, какая кошка пробежала между тобой и Лелей? Кажется, Леле наскучили все наши увлечения, весь тот мирок, который мы себе создали, чтобы скрасить невыносимую жизнь.

Она тревожно и озабоченно взглянула на него:

— Дядя, милый, я вижу теперь, что счастлива была я одна и не замечала этого!

Как он любил эту детскую изменчивость ее лица! Она вдруг снова улыбнулась:

— Помнишь, дядя, как мы вернулись с тобой в прошлом году с представления «Китежа»? Помнишь, какой был восторг? Как мы полночи подбирали на рояле запомнившиеся нам отрывки, пока бабушка не поднялась с постели и не разогнала нас по углам. Ты был тогда безработный и на ужин была только вобла с пшенной кашей, а комнаты не топлены, потому что нет дров... Но мы так были счастливы, что не замечали этих невзгод! Какая дивная была тогда весна!

— Помню, — отозвался он и, улыбнувшись, стал смотреть в окно.

— Весна! — проговорил он и умолк, вновь погруженный в невеселые думы. — Вчера Нина... Нина Александровна пела мне романс, которого я прежде не слышал: «Дух Лауры» Листа, слова Петрарки. Боже мой, как это прекрасно! Какая редкая женщина — Нина Александровна! В нетопленой комнате, полуголодная, всегда без денег, затравленная семейными несчастиями — и всегда увлеченная искусством.

— Она много страдала?

— Она пережила много горя, Ася. Замуж она вышла тотчас по окончании Смольного, совсем юной, а тут — гражданская война; муж ее — кавалергард князь Дашков — убит в Белой армии, в Крыму; отец — у себя в имении отрядом латышских стрелков, который грабил округу. Тогда же она потеряла и ребенка. Как видишь, одно несчастье за другим, а теперь постоянные неприятности за титул. Она с ее голосом могла бы быть на первых ролях в Мариинском или Большом, а вынуждена петь на окраинах, по рабочим клубам. Хорошо еще, что ее в Капелле держат. Капелла и филармония — последние прибежища гонимой нашей аристократии — барон Остенсакен, Половцева, Римские-Корсаковы, брат и сестра, многие... Надолго ли?.. В следующий раз, когда ты увидишь Нину Александровну, постарайся быть с ней поласковей; она очень нуждается — она так одинока! Ты сумеешь.

— Дядя Сережа...

— Что, милая?

Сидя около него на полу, она положила щеку ему на руку, доверчиво глядя ему в глаза, и он видел, как ее щеки становились все розовее и розовее.

— Она, значит, твоя невеста? Да?

Он поднял за подбородок ее просиявшее личико.

— Так ты этого хочешь?

— Конечно, хочу! Я бы так ее берегла, я бы так старалась, чтобы она была счастлива! Я научусь аккомпанировать ей и без конца буду слушать, как она поет. Ты уже сделал предложение?

Сергей Петрович замешкался с ответом, и тут в дверь сильно четыре раза подряд стукнули. Звонок с недавних пор не работал.

— Господи! Прямо-таки стук судьбы в Пятой симфонии. Кто же это так поздно? — всполошилась Ася.

Она побежала в переднюю, досадуя, что непрошеный гость перебил разговор. На пороге вырос дворник.

— Повестка вашему дяде. Распишитесь.

Она расписалась и закрыла дверь, вернулась в кабинет.

— Повестка тебе, дядя Сережа.

Он нахмурился, быстро вскрыл повестку, пробежал глазами и остался стоять неподвижно.

— Что ты, дядя Сережа? — спросила она, увидев изменившееся выражение его лица.

Он не отвечал.

— Что-нибудь случилось? Неприятность какая-нибудь?

— Предписание немедленно выехать в Красноярский край. Завтра в два часа я должен быть на вокзале. Ссылка! Только умоляю, без слез!

В семь часов утра вся семья была уже на ногах. Сергею Петровичу предстояла тысяча необходимых дел — увольнение со службы с «обходным листом», сдача продуктовых карточек и тому подобные формальности, которые неизбежно сваливаются на голову советского гражданина в подобном положении, хотя срок ему в лучшем случае дается три дня, а иногда лишь несколько часов. Наталья Павловна с удивительным присутствием духа распоряжалась и складывала вещи сына. Мадам, просидевшая всю ночь над починкой шерстяного свитера, взяла на себя самое ответственное поручение — раздобыть денег — и с этой целью, захватив с собой два серебряных подстаканника и старое бальное платье Натальи Павловны, отправилась на Кузнечный рынок, обещая выручить не менее двухсот рублей и надавать по морде всякому, кто вздумает ее надувать. Асю Наталья Павловна послала прежде всего к Нелидовым, без которых в доме у Бологовских нельзя было представить себе ни одного важного события. Близость эта между Натальей Павловной и Зинаидой Глебовной образовалась за последние несколько лет, после того, как обе понесли столько потерь.

Отправляясь к Нелидовым, Ася после недолгого колебания спросила Сергея Петровича, с которым вместе выходила из подъезда:

— Дядя Сережа, у тебя столько дел... Пошли меня к Нине Александровне, я сообщу ей, чтобы она пришла проститься.

— Бесполезно, Асенька, она вчера уехала в Кронштадт, там подвернулся шефский концерт. Она вернется только завтра. Я передал бабушке для нее письмо.

Ася остановилась.

— Вы даже не проститесь?! Господи, что же будет с ней?

Ася почти не спала эту ночь и теперь от бессонницы и от нервного возбуждения чувствовала, что вся дрожит, когда стучала в черную дверь квартиры, где жили Нелидовы. Парадный вход, как и в большинстве квартир в то время, был закрыт по непонятным соображениям «управдомов», этой хозяйственно-шпионской единицы — самого мелкого представителя власти на местах. Было только 8 утра и на лестнице

темно, входная дверь приоткрыта и из кухни слышался визгливый женский голос. Когда Ася постучала, никто не открыл, а крик продолжался:

— Своими глазами я свет у тебя из-под двери видела! Ты всю ночь электричество жгла — цветы свои крутила! Умеешь жечь, умей и платить, вошь старорежимная!

— Я не отказываюсь платить, Прасковья Васильевна! Я заплачу, но неужели же в три раза больше других? Поймите, что мне это очень трудно, — лепетал в ответ голос Зинаиды Глебовны.

— Плати, говорю! А коли не заплатишь, сейчас сообщу фининспектору. Другие бы давно донесли, это уж мы с мужем такие люди, что терпим. Так умей за то уважать людей и не спорь, а дочку изволь приструнить — больно уж зазнается перед нами твоя бездельница!

Ася решилась, наконец, войти сама. Зинаида Глебовна, миниатюрная, с усталым, худым лицом, еще сохранившим следы былой красоты, и со свойственным ей теперь постоянным испугом в глазах, стояла около керосинки с чайником, а возле нее огромная туша разгневанной бабы занимала, казалось, половину тесной кухоньки.

— Ася, деточка! Иди сюда, дорогая! — воскликнула Зинаида Глебовна, увидев племянницу, но баба явно не наоралась вволю:

— Наследила-то, наследила по всей кухне! Вытирать за твоими гостями кто будет? Я, что ли?

Только в маленькой, почти пустой комнате, где ютилась теперь семья бывшего камергера, Ася в первый раз расплакалась, бросившись на шею тете Зине и рассказывая о случившемся.

Зинаида Глебовна, как и Наталья Павловна, уже знала долгим мучительным опытом, что отчаяние ничему не поможет и что надо полностью сохранить ясность мысли, чтобы успеть сделать тысячу совершенно необходимых мелочей. И после первых нескольких минут овладела собой, угостила Асю булкой, стала подбирать для Сергея Петровича теплые вещи. У нее сохранился офицерский башлык и шерстяные носки. Зинаида Глебовна извлекла их из кованного железом сундука. Сундук этот с расписной крышкой, на которой были изображены цветы и райские птицы, служил семье Нелидовых еще со времени Иоанна Грозного, а теперь одновременно играл роль кровати — на него стелили тюфяк для Лели.

Через час Зинаида Глебовна, Ася и Леля вышли из дому. Зинаида Глебовна помчалась к Наталье Павловне, а девочки побежали сначала в комиссионный магазин с квитанциями от вещей, сданных на продажу. Магазины эти в то время были завалены самой изысканной утварью, и вещи ждали продажи иногда месяцами.

Сергей Петрович вернулся позже всех, только за два часа до того, как надо было выезжать на вокзал.

— Как ты поздно, Сережа! Мы измучились, ожидая тебя! — воскликнула Наталья Павловна.

— Что ж делать, — ответил он, — срок — несколько часов, а нужно переделать тысячу формальностей.

— Садись ужинать, — сказала Наталья Павловна, — неизвестно, когда ты будешь есть!

Он стал отказываться, она настаивала. Садясь, он поймал и поцеловал руку матери; она прижала на минуту к груди его голову. Нелидова и француженка вытерли невольные слезы. «Она уже стара. Увидит ли она его когда-нибудь!» — подумала каждая.

— Продавайте хрусталь, фарфор, бронзу — все, что найдете нужным, только книги и ноты сохраните по возможности, — говорил он, глотая наскоро завтрак. — Мои романсы... Отдайте их Нине Александровне — она их любит. Ася, ни в коем случае не бросай занятия музыкой. Скоро ты сможешь давать уроки и аккомпанировать. Только музыка поставит тебя на ноги. Если я получу работу, тотчас вышлю вам денежный перевод. Только я очень сомневаюсь, что для скрипки

там найдется работа, а если они пошлют меня чинить дороги и разгребать снег, то это — конечно, гроши.

— Пожалуйста, Сергей, ничего не высылай! Ведь мы здесь всегда сможем что-нибудь продать. Напиши. Если не будет заработка, мы тотчас вышлем и посылку и деньги, — сказала Наталья Павловна.

— Нет! Этого не будет — на хлеб себе я всегда заработаю, — сказал он, а про себя подумал: «Как знать, там могут запретить мне работать. С некоторыми они так делали».

Семейные разговоры прервало появление старой графини Коковцевой. Она жила в том же доме, этажом ниже, и приходила иногда к Наталье Павловне поиграть в вист. Теперь она приплелась, опираясь на палку, поддерживаемая старой горничной, вся в черном, со старинной наколкой на седых буклях. Все поднялись, Сергей Петрович поцеловал ей руку.

— Это... Это Бог знает что! Это такое безобразие! Я напишу в Париж брату! — грассируя, говорила она, точно желая кого-то припугнуть этими словами. Через пять минут она удалилась, чтобы не стеснять своим присутствием в момент расставания. Тотчас вслед за ней в дверь постучала соседка, вселенная недавно по ордеру.

— Там пришел управдом — осведомляется, уехали ли вы?

И тут же на пороге выросла фигура непрошеного гостя.

— Что вам здесь угодно, *товарищ?* — спросил Сергей Петрович и вложил столько иронии в последнее слово, что человек, вошедший в комнату с фуражкой на затылке, учуял нелестное для себя в этом обращении.

— Я пришел проверить исполнение приказа. Я — при исполнении служебных обязанностей, так что вы, гражданин, не очень-то..., — пробурчал он.

— Я должен уехать в два часа, а сейчас двенадцать с минутами. Я нахожусь в своем доме на законном основании, а вас попрошу немедленно отсюда убраться. Вы здесь лишний, могу вас уверить!

— Serge, au nom de Dieu! [13] — воскликнула Нелидова, хватая его за руку.

— Что вас страшит, Зинаида Глебовна? Это только управдом, а не комиссар чрезвычайки. Этот не имеет власти отправлять на тот свет.

Управдом потоптался на месте и вышел.

— Они изведут всех лучших людей России! И так уже мало осталось! — воскликнула Нелидова.

— Вы несправедливы, Зинаида Глебовна! Меня за мое происхождение следовало бы заморить в одиночке, а меня только высылают. Оцените великодушие совласти!

Он взглянул на часы. Наталья Павловна стояла около дверей кабинета.

— Поди сюда, — позвала она сына и отступила в глубь комнаты. Там она прошептала ему что-то и перекрестила.

Решено было, что поедут провожать только девочки. Нелидова и француженка начали наперерыв объяснять Сергею Петровичу, что положено из теплых вещей и что из провизии следует есть в первую очередь. Они крестили его, он перецеловал им руки и уже двинулся идти, как вдруг послышалось слабое повизгивание — умирающая борзая выползла из-под рояля и делала отчаянные усилия, чтобы добраться до уезжающего хозяина. Все с изумлением переглянулись: неужели она поняла? Она доползла, положила морду на передние лапы и подняла на него кроткие, печальные глаза. Сергей Петрович наклонился к собаке.

— Ну, прощай, бедняга! С тобою, видно, нам уже не увидеться!

---

[13] Сергей, ради Бога! (*франц.*).

Да, Диана, плохие пришли времена! — и он почесал ей за ушами. — А где Всеволод Петрович?

Собака взвизгнула и оглянулась. Сергей Петрович повернулся к матери:

— Помнишь, мама, как в Березовке мы с Всеволодом возвращались, бывало, с охоты с полными ягдташами и всегда сохраняли в величайшей тайне, кем сколько убито птиц? Дело-то все в том, что убивал один Всеволод; я вечно палил мимо, а вот она, эта самая Диана, одна была в курсе событий и презирала меня тогда до такой степени, что отказывалась со мной ходить. Однако пора. Иначе опоздаю.

На лестнице он обернулся еще раз: мать стояла на пороге, за нею — Нелидова и француженка. Все смотрели ему вслед. Наталья Павловна и теперь не плакала, но выражение глубокой скорби лежало на красивом старческом лице и тонкая рука крестила сына. Сколько раз этим жестом она провожала его сначала на фронт в Галицию, потом в Белую армию и, наконец, в ссылку. Он был единственным из ее детей, оставшимся при ней, — старший любимый сын расстрелян, дочь с семьей пропала во время оккупации Крыма. Была минута, ему захотелось подбежать к ней и, как в детстве, припасть к ее груди головой... Он сделал прощальный жест рукой и, надев шляпу, пошел вниз, шагая через ступеньку. Девочки шли сзади и вдвоем тащили за ремни тяжелый рюкзак, который ни за что не хотели надеть ему на плечи.

Глава шестая

С тех пор, как Елочка помнила себя, бабушка ее круглый год жила в небольшом родовом поместье, куда на лето к ней слетались дочери. Все эти женщины — бабушка и сестры Елочкиной матери — курсистки-бестужевки — были несколько сухи и своеобразно аскетичны. Одевались строго: иначе, чем в английских костюмах, Елочка даже вообразить их себе не могла. Все ультра-модное вызывало колкие насмешки: «За модой можно следовать только издалека», — провозглашала бабушка. В деревне считали хорошим тоном ходить без зонтиков и без перчаток; балы и приемы считали ненужной потерей времени. Гостеприимство было не в моде: проводив соседей, говорили друг другу: «Надоели своей болтовней». Не было обидней клички, чем «светская пустышка».

Ни музыкой, ни балетом в этом доме не увлекался никто. Литература, художественные выставки, драматические спектакли — другое дело. Вкус к ним был весьма развит и утончен, а в деревенском доме была богатая библиотека с большим количеством иностранных книг.

Церковных праздников и постов в этой семье не соблюдали и, шутя, говорили друг другу: «Мы потрясаем основы», однако, венчались и отпевали усопших неизменно в церкви. Священников и военных не любили, и погоны Елочкиного дяди — хирурга — вызывали все ту же брезгливую гримаску. Елочкин отец, безвременно погибший талантливый земский врач, был в этой семье особенно уважаем.

К придворному миру и аристократии относились несколько иронически; Елочка хорошо помнила такие выражения, как «раздулся от сословной спеси» или «понес аристократическую чушь», но наряду с этим, сколько собственного превосходства вкладывалось в слово «провинциалы», с которым другие неизбежно связывали нечто отсталое и затхлое. Как артистично французили за столом, не желая быть понятыми горничной!

По политическим убеждениям все были кадеты. Монархисты и большевики одинаково подвергались беспощадной критике. Войну 1914 года приветствовали дружным взрывом патриотизма. В это время, перед лицом опасности, сплотились воедино все партии страны, кроме, разумеется, одной. А в миниатюре и все члены семьи. Что касается Елочки, тогда двенадцатилетней девочки, то именно в это время она ощутила духовную связь с материнским гнездом наиболее остро.

В этой семье все были сдержанны. Общая крепкая спаянность установила молчаливое взаимопонимание, при котором разговоры о чувствах и всякая задушевность не поощрялись. Сюда уходила корнями и замкнутость Елочки. Видеть смолянкой единственную внучку и племянницу не вполне согласовывалось с либеральными принципами этой семьи. Много толковали о том, что маленькую Елочку следует перевести в гимназию, и лучше бы всего в Стоюнинскую, как наиболее передовую, но в Петербурге заботиться о девочке было уже некому, и, таким образом, институт оказался незаменимым, как только Елочка достигла школьного возраста. Только каникулы она проводила в семье.

«Смольный принес мне новые веяния и многое во мне переделал, но та резкость в суждениях и манерах, которая нам органически свойственна, осталась. Моей суровости и гордости, а также отсутствию всякого кокетства я обязана вот этой семейной родовой специфике и ее передовым настроениям. Бабушка и тетки оставались ревностными хранительницами семейного духа, с которым покончить сумела только революция и в котором мне чудится нечто чеховское», — писала Елочка в дневнике.

Революция и в самом деле, не прибегая на сей раз к кровавым репрессиям, все-таки нанесла свой сокрушительный удар по этому дворянскому гнезду средней руки; поместье было отобрано, оторванная от родной почвы, очень скоро на городской квартире угасла бабушка. Одна из молодых теток Елочки попала в Финляндию, и известия о ней прекратились. Другая вышла замуж и преподавала теперь вместе с мужем в Екатеринбурге, который уже был Свердловском.

Таким образом, родных, кроме дяди-хирурга, у Елочки в Петербурге не осталось. Никто не дрожал над ее целомудрием, над ее здоровьем, над ее радостями. Она вынуждена была сама прокладывать себе дорогу, она — служащая!

Погруженная в печальные думы о своей семье и своей судьбе, она выходила однажды из клиники, когда уже в вестибюле ее окликнула пожилая, неопрятно одетая женщина, лицо которой показалось Елочке знакомым. Женщина поспешила себя назвать — это была бывшая сестра милосердия Феодосийского госпиталя. Про ее мужа, доктора Злобина, рассказывали, что он выдавал чекистам офицеров, поименно называя каждого. Елочка хотела пройти мимо, но Злобина задержала ее руку.

— Вы работаете здесь, Елизавета Георгиевна?

— Да, на мужском хирургическом. Простите, я тороплюсь.

— Погодите, погодите, миленькая! Вот вы и разговаривать со мной не хотите. Грешно вам. Видите ведь, что я совсем больная.

Елочка приостановилась:

— Что с вами?

— Ох, не спрашивайте! Недавно из психиатрической выпущена. Признали, будто выздоровела, и бумажку дали, что работать могу, а кому такая работница нужна? Все отделаться стараются, мыкаюсь из учреждения в учреждение — никто не берет.

— Как никто не берет? Вот у нас ведь работаете?

— Ох, нет! Только временно. На постоянную не примут. Я уже все пороги обила — нужда заела.

— А муж ваш? Или его в живых нет?

— Муж меня бросил, на что я ему теперь?

Елочка взяла ее за обе руки.

— Извините, я не знала. Выйдемте вместе, поговорим.

— Я помню, что вы добрая, жалостливая! Иначе я к вам и не обратилась бы. Уж очень много я от людей презренья вижу, — всхлипнула Злобина.

Елочка еще раз оглядела ее: поношенное пальто, из воротника торчит вата, растрепанные волосы выбиваются из-под косынки, глаза припухшие, красные, перчаток нет. Даже странно, что медсестра может иметь такой неопрятный вид! А выражение глаз испуганное и растерянное — немудрено, что не принимают!

— Давно вы одна? — спросила Елочка.

— Давно.., а с ним не легче было — корил меня... неприятности из-за меня были. Он партийный, главный врач больницы, а я богомольная очень — ему на вид ставили; в стенгазете меня нарисовали: в платочке и руки для молитвы сложены, а подписали: «Жена одного хирурга». Ему, конечно, неприятно.

— Ваш муж карьерист, это всем давно известно, — надменно произнесла Елочка.

— Я поняла, о чем вы... — проговорила Злобина. — Всего в двух словах, моя миленькая, не расскажешь... Загляните ко мне, мое золотко. Мне вот сюда, в этот дом. Зашли бы, чайку выпили, а то я все одна да одна!

Елочка заколебалась, тон этой женщины претил ей — Елочка была очень чувствительна к comme il faut[14], а вместе с тем ей кое-что хотелось узнать...

Комната оказалась запущенная, неряшливая, почти пустая. Электрическая лампа, засиженная мухами, спускалась с потолка прямо на шнуре, стол оставался неубранным, на стенах Елочка разглядела следы клопов.

— Вот какое жилье-то у меня убогое! Пока сидела у Бехтерева, милые соседи все порастащили, а и было-то немного, — начала Злобина, и, только разливая чай, вернулась к вопросу, интересовавшему Елочку.

— Нелады с мужем у меня именно с того времени пошли. Очень уж винить моего Мишу, конечно, нельзя — он по убеждениям всегда был красный и офицерство терпеть не мог... — продолжала та.

— Ну, знаете, — перебила Елочка, — такой поступок иначе как подлость нельзя и расценивать, каковы бы ни были политические симпатии человека. Если вы будете защищать своего супруга, я убегу! Я не буду сидеть у вас за столом. — И Елочка уже хотела встать.

— Правильно, миленькая, правильно! Я не защищаю. Я сама с того дня покой потеряла. Вы помните, какой я была хохотушкой? С того дня я смеяться перестала.

— Почему? — спросила Елочка, уловив что-то странное в ее голосе.

— Не знаю, как и рассказать. Вы сочтете меня и в самом деле за полоумную... Только это не сумасшествие, нет!

Она оглянулась и сказала шепотом:

— Они виделись мне иногда... Когда стемнеет, проходят, бывало, по коридору мимо моей комнаты...

— Кто — они?

— То один, то другой... — те, расстрелянные!

Елочка с ужасом взглянула на нее. Господи! Да она в самом деле ненормальная! Очевидно, помешалась на этой почве.

— Знаю, что вы думаете. Так и врачи мне говорят: психоз, психует. Да ведь психоз-то оттого и случился, что я вся извелась. Психоз только два года назад прикинулся.

— Анастасия Алексеевна, я никогда не поверю, чтобы мертвые ходили по коридорам — их души должны быть очень далеки. А кроме того... виноват ваш муж, а вы можете спать совершенно спокойно, уверяю вас.

— Вы это, миленькая, как медсестра мне говорите, я это отлично понимаю. Повадились они ко мне, это точно. Я и мужу рассказывала.

---

[14] Хорошему тону *(франц.)*.

— Ну, а он что?

— Ох, как сердится и кричит, и грозится, бывало, особенно как я с перепугу по церквам зачастила. Он меня и в больницу сплавил: кабы не больница, я бы и теперь работала, нужды не знала. Все из-за него.

— В этом случае ваш муж прав был, Анастасия Алексеевна! Нельзя было вас оставлять без помощи.

— Нет, нет, голубушка моя! Вы мне этого не говорите! Я ему мешала! Он меня нарочно в больницу упрятал, чтобы скандалы кончились, да чтобы ему свободней было с другими женщинами водиться. Он и комнату хотел у меня отобрать. Хорошо, я комнату отсудила. В суде, небось, не помешал мой психоз. Началось еще с того вечера в Феодосии, в двадцатом году. Я пошла туда... в Карантин... Пошла к приятельнице и засиделась. А туда с наступлением вечера привезли расстреливать... и бросали тут же в колодцы... Вы помните, там же много колодцев было. Туда! Жители в дома запрятались и ставни позакрывали, а я сдуру в сад выскочила, да к забору. Вечер уже, и ветер гудит, и туда их бросают без молитвы, без отпевания... страшно! Доверху трупами колодцы набили и заколотили досками. Когда я потом домой бежала, я слышала, кто-то еще стонал. Я голову платком закрыла и опрометью...

— О, не говорите, не говорите! Слышать не могу!

— Так вот и я; подкатило мне что-то к горлу... Господи, думаю, и это все через моего мужа! Бегу и дрожу. Ну, а в ночь после того было у меня в госпитале дежурство...

— Как дежурство? Разве после прихода красных госпиталь еще функционировал?

— А как же! У красных свои раненые были и солдаты наши еще лежали.

— И вы остались работать? Это беспринципно, простите!

— Как сказать! И те и другие — люди, и тех и других жаль. К тому же и увольняться страшновато было — репрессий боялась. Осталась. А вы помните наш госпитальный коридор?

— Очень хорошо помню.

— Ну вот, я пошла ночью по этому коридору в буфетную за кипятком — озябла очень, хотелось чайком согреться. Коридор длинный, темный, совсем пустой. После расправы в коридоре этом по щиколотку крови было, опилками засыпали. Иду это я и думаю, что пол все еще мокрый... И тут, в первый раз... С тех пор пошло: как только одна останусь, так и страх приползет, что опять увижу их. Особенно, когда, бывало, муж на ночное дежурство уйдет. Этак навязывается, лезет в голову — сейчас, вот сейчас! Сердце заколотится, в груди холодно станет, и опять промелькнет перед глазами, а то так встанет, и стоит.

Они помолчали.

— Вы тени видели или разбирали лица? — спросила Елочка.

— Тени чаще, а случалось — лица. Полковника с усами помните? Он все, бывало, говорил, что ему нельзя умирать — семья большая, дети. Вот он и сейчас как будто стоит...

— Где стоит?

— А вот там у печки, в углу... Не видите? Угол-то левый не такой, как правый,— весь сереет и движется... А вот и фуражка николаевская проступила. Неужели не видите?

— Не вижу. Вот сейчас, чтобы доказать вам, что там пусто, пройду и проведу рукой.

Елочка встала и храбро пошла к печке.

— Вот... — никого!

— Ну как так никого — рукой сквозь него прошли.

— У вас освещение нехорошо налажено. Это лампа раскачивается, тени колышатся, вот вам и мерещится.

Сестра милосердия улыбнулась на слова Елочки, как улыбаются

на лепет младенца. Скрипнула половица, и Елочка вздрогнула. «Это начинает действовать на нервы», — подумала она. Она еще раз пристально взглянула на Анастасию Алексеевну: та сидела, устремив глаза на печной угол, губы ее слегка кривились, а все выражение лица было такое странное, болезненное, почти юродивое.

— А вот молодой не приходит, — сказала она.

— О ком вы говорите? — спросила Елочка.

— Молодой, говорю, не приходит. Помните, лежал у нас поручик, почти мальчик. У него было ранение в легкое и в висок с сотрясением мозга. Не помните?

Щеки Елочки стали пунцовыми.

— Нет, — прошептала она, застигнутая врасплох.

— Неужели не помните? Красивый такой юноша, гвардеец, с двумя Георгиями... у окна койка... бредил сильно... всегда ведь, кто в голову. В нашей палате он всех тяжелее ранен был. Я забыла сейчас фамилию...

Елочка хорошо помнила фамилию, но подсказать не решалась — боялась снова покраснеть.

— Вы про этого поручика какие-нибудь подробности знали? — все-таки выговорила она.

— Да, болтали у нас, что из самых сливок общества, паж, кажется. Уверяли, что смельчак; на самые, будто бы, рискованные рекогносцировки вызывался.., а, по-моему, так маменькин сынок, недотрога...

Елочка возмутилась:

— С чего вы взяли? Он так героически держался на перевязках: никогда не застонет, не пожалуется, не позовет лишний раз.

— Положим, что и так, а из-за пустяков скандалы устраивать мастер был. Сколько раз персоналу из-за него доставалось. Помню, раз отказался взять стакан у санитара — уверял, что тот пальцы ему в чай обмакнул. А с сестрой Зайцевой скандал вышел.

— Что такое? Я ничего не знаю.

— Вы, помните, тогда уже больны были. Зайцева эта и в самом деле очень уж бойко держалась, не вашего дворянского воспитания. Какую-то она себе с этим раненым вольность позволила; сказала ли что, или... жест неудачный, а только тот поднял историю — вызвал дежурного врача и потребовал, чтобы Зайцева к нему не подходила. Волновался так, что дежурный врач, перепугавшись, поспешил перебросить ее в другую палату. Ходила она весь день с красными глазами, боялась, что вызовет главный врач. Зачем такую неприятность устраивать человеку, скажите? Что он — девица красная, которую оскорбили, подумаешь!

Но Елочка с достоинством вскинула голову.

— Если Зайцева была нетактична — поделом ей! Сестра милосердия всегда должна быть на высоте. Еще что было?

— Повязка раз у него вся промокла, а сестра не заметила — получила разнос от дежурного врача. А то раз санитар письмо какое-то, не спросив позволения врача, ему передал прямо в руки. Опять была от дежурного нахлобучка из-за него же!

Елочка встала при мысли об этом письме, которое помнила наизусть. Она стала прощаться.

— Анастасия Алексеевна, умеете вы носки штопать? У нас в больнице сторожиха хорошо этим подрабатывает. Хотите, я соберу вам штопку?

— Спасибо, миленькая. Не откажусь. Дело нетрудное.

— Прекрасно. Я соберу и занесу вам на днях.

Она шла домой душевно растерзанная: все как будто снова приблизилось к ней — госпитальная палата и он, который даже в бреду говорил: «Погибла Россия». Она любила воображать: как паук плетет свою паутину, так она придумывала и рассказывала себе длинные истории, в которых действующими лицами были она и он — все он

же! В историях этих она продолжала то, что оборвал скосивший ее тиф. В своем воображении она на следующий день опять приходила в госпиталь; ему было лучше, он мог говорить, и она придумывала фразы, которые они говорили друг другу: город берут красные... он еще слаб, и она помогает ему выбраться из госпиталя, и после скрывает в своей комнате, как скрывали у себя придворные дамы во времена Варфоломеевской ночи гугенотов — офицеров. Потом они вместе бегут из города, и, наконец, объяснение в любви. Это объяснение она воображала себе в самых романтических и возвышенных красках; ее целомудренное воображение ни разу не нарисовало даже поцелуя. Он говорил ей, что она — героиня, настоящая русская женщина, которая для спасения любимого человека не побоится ничего.

И на этом ее история кончалась. Дальше было уже неинтересно! Что воображать дальше? И, кончив на этом месте, она начинала эту историю сначала, с того же заколдованного места, по той же канве, но каждый раз с новыми деталями.

Этим историям она отдавалась обычно по дороге на службу и со службы, иногда в длинные часы по вечерам, в тишине своей молчаливой комнаты, когда сидела за починкой белья. У нее была уютная аккуратная комнатка с белой кроватью, старинным бабушкиным комодом красного дерева, книжным шкафом и маленьким пианино. У кровати висели фотографии родителей и ее самой в форме сестры милосердия, в углу — икона Спас Нерукотворный. В этот вечер вид комнаты успокоительно подействовал на нее. Здесь как будто уже выкристаллизовалась и застыла в воздухе вся та внутренняя напряженная жизнь, которой она жила. Ее думы, ее воспоминания и фантазии, весь ее духовный мирок, запечатлевшийся на окружающих предметах, теперь как будто возвращал ей ее энергию, излучая невидимые токи. Она была здесь в своей стихии.

Раздевшись и поправив волосы, она подошла к комоду, открыла один из ящиков и достала сестринский передник и косынку Феодосийского госпиталя, аккуратно завернутые в марлю. Теперь уже не носили такие! Косынки теперь надевали повойничком, а не длинные спущенные, а передники — без красного креста и затянутой талии — просто белый халат. С формой изменилось и название, из сестры милосердия она стала «медсестрой» — работающей за деньги советской служащей, и разом сброшен был ореол романтизма с белой косынки! Медсестра уже не имела того образа, который был у сестрицы в глазах как офицеров, так и самых простых солдат. Если она стала медсестрой, то только потому, что надо было зарабатывать на жизнь. Она развернула передник и косынку; знакомый тонкий аромат повеял от них в лицо, она воспринимала его как эманации уже ушедшей души, исполненной того изящного героизма и аристократического благородства, которые ей так нравились.

Пробкой от флакона, в котором еще оставалось немного жидкости, она коснулась своих волос, что всегда делала в минуты, когда особенно остро подступала тоска. «Вот это то, что есть у меня; все, что в нашем воображении гораздо реальней действительности», — сказала она себе. Это был ее символ веры, который спасал ее в минуты душевной слабости, когда вдруг охватывало тоскливое ощущение неполноценного существования. «Сегодня я буду думать дальше! Я остановилась на том, как он говорил бы со мной на следующий день, уже в полном сознании». Но сколько ни пыталась Елочка включить мысль в ритм своего повествования, со всеми разработанными уже ею деталями, ей не удавалось в этот вечер соткать любимую паутину. Словно ядовитая муха попала в нее и жужжала ей в уши о колодцах и призраках. Воображение упорно рисовало страшных комиссаров в кожаных куртках — они приставляли револьверы к груди метавшегося в бреду юноши... А может быть, он уже не бредил? Может быть, уже очнулся и знал, что они пришли убивать? Знал и смотрел им прямо в глаза!

«Если бы я была там, я бы не допустила! Я что-нибудь бы придумала! Я бы спасла его! Это все тиф проклятый! Теперь я никогда никого не полюблю, потому что уже никогда не встречу такого! Таких теперь нет. Жизнь такая скучная, такая бесцветная, серая». И сколько ни убеждала она себя в реальности воображения, — глухая тоска подымалась со дна ее души. Она не спала ночь и утром встала бледная, с красными глазами.

Немые вещи способны иногда вмешиваться и обострять печаль... Один из старых книжных шкафов, принадлежавших раньше Елочкиной бабушке, не помещался в комнате и стоял в коридоре, вызывая постоянное неудовольствие соседей. Елочка держала его обычно запертым на ночь. В этот раз ключ, видимо, забытый ею, торчал в замке и ухватил ее за рукав. Елочка поспешно открыла дверцу, чтобы осмотреть, все ли книги на месте, и тут же впервые ей бросился в глаза, в укромном месте на нижней полке, сверток газет, перевязанный шнурком, и надпись, сделанная рукою бабушки, — «сохранить, как чрезвычайно интересное». Это оказалась газета «Новая жизнь», издававшаяся в 1918 году. Странно, почему раньше она не привлекала ее внимания? Почему для этого потребовалось вмешательство старого ключа? Там, в этой газете, в гневной статье, озаглавленной «9 января 1905 г.», расстрел большевиками манифестации в честь Учредительного собрания приравнивался к «кровавому воскресенью»!

«Правда» знает, что к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов... Именно этих рабочих расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта!» И дальше: «Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного собрания, — политического органа, который дал бы всей русской демократии возможность свободно выразить свою волю. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови, и вот народные комиссары приказали расстрелять демонстрацию, которая манифестировала в честь этой идеи». И это писал ГОРЬКИЙ! Елочка была поражена! Так вот почему соввласть закрыла навсегда эту газету! И не выдает на руки ни одного экземпляра! Так вот почему в изданиях сочинений Горького нет ни одной статьи из этой газеты, а только избранные цитаты. Так вот как мыслил писатель — гордость пролетариата! Да, «людей, которые не признают авторитета и власти комиссаров, найдется в России десятки миллионов, и всех этих людей перестрелять невозможно» — статья от 3 мая 1918 года. Да, «Большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов» — 22 мая 1918 года. «Большевистские правители выбросили лозунг — «грабь награбленное», и это есть не что иное, как переведенный на современный язык клич волжских разбойников: «Сарынь на кичку!» — 8 мая 1918 года. Да, это все так, но какой же выход из этого тупика? Кто выведет из всего Россию? Великий ум писателя словно читал ее мысли... И на минуту поднялась опущенная голова. «Стало быть, мой ум не столь уж ограничен; он не женский, он не пустой. Он способен к историческому анализу!»

Следующий вечер опять принес болезненное впечатление. Она была приглашена к Юлии Ивановне, где часто собиралось небольшое, очень интеллигентное общество и заводились содержательные разговоры под оранжевым абажуром у круглого стола.

В этот раз среди гостей находился бывший генерал, выпущенный недавно из советского концлагеря. Человек этот своей красивой седой головой и старомодной изысканной вежливостью произвел большое впечатление на Елочку, напомнив своей осанкой тех военных, которых ей случалось видеть в институтских залах в дни приемов; отчасти и ее собственного дядю, но без боевых отличий. Говорил он умно и убежденно, и, как начинал гудеть его генеральский бас, она тотчас настораживала внимание. Но одна фраза больно врезалась ей в сердце.

«Ясно было с самого начала, что из белогвардейского движения толку не выйдет. Оно было нежизненно! Слов нет — офицерские батальоны умирали красиво, но этого еще недостаточно, чтобы повернуть вспять колесо истории», — сказал этот человек.

Елочка, застенчиво притаившаяся в углу в своем темно-синем костюме, не смогла пропустить такую фразу без возражения

— Почему нежизненно? — и покраснела при этом, как пятнадцатилетняя.

— Движение это не могло увлечь за собой массы. Царизм уже изживал себя, а лозунги большевиков — такие, как «братание на фронте», «земля крестьянам», или «долой империалистов» — были слишком многообещающи и ярки. Стихийно всколыхнувшиеся массы, разумеется, ринулись на эти лозунги. Надо было вовсе не иметь политического чутья, чтобы не понять, что победа большевиков предрешена. Белое движение уже никогда возродиться не сможет.

Елочка почувствовала, как судорога сжала ей горло, но все-таки выговорила:

— А разве мало было среди белогвардейцев героев?

Вдруг блеснули глаза из-под нависших седых бровей:

— Больше, чем это было нужно, милая девушка! И когда-нибудь история реабилитирует их память. Ведь это только теперь, при советской нетерпимости и идейной узости, можно всех противников полностью выдавать за презренных мерзавцев. Большевики шли под знаменем интернационала и марксизма, и уже одно это возбуждало протест в образованной части общества. Незаслуженное пятно будет смыто, но реабилитирована будет только память, отнюдь не задачи. Запомните, дитя мое.

Красивый старик галантно поцеловал у Елочки руку, но царапина, которую нанесли его речи, не закрылась тотчас же. Хотелось никогда больше не слушать никаких высказываний на эту тему, забиться в щель, заткнуть себе уши. Это было горше издевок и поношений, потому именно, что говорил это *свой*.

Чувства Елочки к монарху и монархии странно двоились. За эти годы она значительно развилась и многое прочла. У нее создалось уже достаточно ясное представление, что монархия, как таковая, обречена и уже нет ни одного крупного европейского государства, где бы монарх являлся действительным правителем страны, а не декоративной фигурой. При той огромной сложности управления, которая наваливалась в двадцатом веке, монархический строй выглядел беззащитно. И вместе с тем он еще сохранял свое обаяние в глазах многих и многих людей, и даже в ее собственных. Среди интеллигенции она замечала в последнее время неожиданно возрождавшуюся симпатию к особе Государя. Даже в такой либеральной семье, как семья Юлии Ивановны, о Николае теперь говорили, отмечая его исключительный такт и воспитанность, а также ту смелость, с которой он показывался в обществе и перед народом (не в пример Сталину), удивлялись выдержке, которую он проявил в минуту отречения, подчеркивали его непричастность к событиям Кровавого воскресенья, опровергали даже его пристрастие к вину!

— Помилуйте, — я сидела в Бутырке вместе с Воейковой. Уж она-то стояла очень близко к царской семье, и сама говорила мне, что Государь вовсе немного пил; вся беда была только в том, что он хмелел после первой рюмки, и этим умели пользоваться.

Или:

— Позвольте! Да в чем же тут виноват Государь? Девятого января он был в Царском Селе, это уже всем известно.

Вот что теперь говорилось о убиенном Николае в споре с теми клеветническими выпадами и грубейшими издевками, которыми непрестанно осыпала недавнего монарха советская печать, всегда бессовестная.

В институте, в первые дни войны, Елочка была влюблена в Государя, он представлялся ей впереди полков на белом коне, и она молилась по ночам в своей кровати, чтобы немецкая пуля его пощадила. Позднее она поняла, что живет в мире фантазий, но и теперь она не перестала видеть в Государе прекрасные черты. По своему внутреннему и внешнему облику это был идеальный тип гвардейского офицера. Не его вина, что он не обладал государственным умом; не каждый рождается Петром Великим! Ей жаль было его и его детей, но она соглашалась с мнением, что успешно царствовать он не мог. А Белая армия, как блок всех партий против большевиков, могла бы принести спасение России, если бы, победив, установила в стране строй, подобный английской конституционной монархии или передала власть Учредительному собранию.

Так, по крайней мере, казалось Елочке.

Глава седьмая

А тут еще эта Ася! При всем нежелании ее видеть, она наскочила на эту девочку в музыкальной школе. Ася стояла в коридоре у дверей класса и очень оживленно болтала с теми мальчиками, которые так бешено аплодировали ей. Глаза еврейчика и «Сашки» были устремлены на Асю с самым искренним восхищением, но разговор был вполне невинный — Ася и Сашка критиковали Верди, а еврейчик им восхищался.

Незамеченная, Елочка несколько замедлила шаг, прислушиваясь к болтовне этих подростков, обладавших такой завидной музыкальностью, и, хотя ничего предосудительного не услышала, осталась тем не менее очень недовольна. «Сенаторская внучка, а хохочет по коридорам, как советская школьница, и позволяет плебеям ухаживать за собой!» — подумала она, забывая, что Ася еще почти девочка и что у всех троих много общих интересов. В чем состояло «ухаживание», Елочка не сумела бы объяснить, но тонкое очарование этой талантливой девушки пошатнулось в ее глазах.

Окончив урок, Елочка уже вышла из музыкальной школы, когда услышала быстрые легкие шаги, настигавшие ее по темному переулку. Она обернулась и увидела Асю в «бывшем» соболе с порт-мюзик в руках.

— Как вы поздно возвращаетесь! С кем-нибудь разговорились? — спросила Елочка не без стародевического ехидства.

— Юлия Ивановна назначила меня аккомпанировать в «Патетическом трио» Глинки; надо было договориться с виолончелистом и скрипачом, — ответила Ася.

— Как живете, Ася? — холодно бросила Елочка.

— У нас несчастье — дядя Сережа выслан по этапу в Сибирь, — печально ответила девушка.

— Выслан? За что? — и тут же Елочка осознала глупость этого вопроса.

— Да разве станут объяснять? За то, что дворянин, за то, что офицер! Принесли повестку вчера в одиннадцать вечера, а сегодня в два часа дядя должен был быть уже на вокзале. Куда-то в Красноярский край.

— А как же... На что же вы теперь жить будете?

— Не знаю... Продавать вещи будем... я попробую давать уроки... Не это страшно... Разлука с дядей Сережей для бабушки большое горе, и потом еще неизвестно, в каких условиях он там будет.

Голос Аси дрогнул. Елочка, не двигаясь, смотрела на Асю, и ей странно было, как она могла отречься от дружбы с этой девушкой. Они стояли в эту минуту перед репродуктором (передавали «Пиковую

даму»), и Елочке казалось, что звучавшие, несколько искаженные, темы рока, соединяющего Германа и старуху, звучат как рок, соединяющий ее и Асю.

— Дядя Сережа такой талантливый человек... — продолжала горестно лепетать Ася, — у него такие чудесные романсы... Он столько читал... Неужели он будет грузить дрова или разметать снег с ворами и разбойниками? Без симфонического оркестра и без книг он затоскует и не вынесет такой жизни... У нас в семье гибнут все, все! Один за другим! Я дома не плачу, совсем не плачу! — словно оправдываясь, прибавила она.

Елочка обняла ее.

— Царство тьмы! — сказала она и замолчала, так как по пустынному в этот час переулку прошла какая-то фигура. — Царство тьмы! — повторила она, когда фигура удалилась. — Они губят все лучшее, все светлое! К сожалению, еще не все осознали, что за ними безусловно стоит темнота, что их вожди — ее адепты. Им надо убить, понимаете ли, убить Россию, и в частности поразить ее мозг, русскую мысль, русское сознание. Для этого они губят носителей этого сознания. Ваше горе — горе России.

Ася подняла на нее изумленные глаза.

— Видели вы гравюру в Эрмитаже? — продолжала с увлечением Елочка. — Прекрасная девушка лежит, раненная, на спине, раскинув руки, а вокруг собираются хищные птицы, чтобы терзать ее, и подпись: «Belle France» [15]. Вот так лежит теперь наша Россия, смертельно раненная в мозг и в сердце!

— Да, да, это так! — прошептала Ася.

Рука об руку они пошли медленно по направлению к Литейному.

— Если бы вы знали, как у нас грустно в доме, — опять начала Ася. — А тут еще борзая умирает и стонет человеческим голосом. Вот уже третью ночь она плачет, а я стою над ней, а чем помочь — не знаю!

— Позвольте! Ведь ей же можно впрыснуть морфий, нельзя же вам не спать, — воскликнула Елочка.

Ася тотчас насторожилась.

— Морфий? Это яд?

— Нет — болеутоляющее и одновременно снотворное. Я могу забежать и впрыснуть ей.

— А вы разве умеете?

Елочка усмехнулась.

— Боже мой! Как же не умею! Ведь я сестра милосердия еще со времени Белой армии... в Крыму.

Ася взглянула на нее с новым восхищением:

— А я тогда была еще девочкой и играла в куклы, и Леля, моя кузина, — тоже!

Уговорились, что Елочка придет через час сделать впрыскивание собаке. Ася дала адрес и, прощаясь, спросила:

— Скажите... мне показалось или в самом деле вы холодны были со мной в первую минуту?

Елочка невольно подивилась ее чуткости.

— Да... была минута. Забудьте. Я одинока и дорожу каждой привязанностью.

В десять вечера с волнением Елочка нажимала на кнопку звонка. Отворили Ася и Леля вместе. Ася тотчас представила Лелю, говоря: «Моя двоюродная сестра». Это заставило Елочку зорко взглянуть на Лелю, так же зорко она оглянула комнату, в которую ее ввели: нужда придавала особенное благородство былой роскоши. Пожилая

---

[15] Прекрасная Франция (франц.).

француженка, сидевшая за починкой белья около изящного столика под лампой с абажуром, переделанным из страусового веера, как бы дополняла интерьер; Елочка улыбнулась от удовольствия, услышав ее изящный парижский выговор.

Елочке показалось, что горе этой семьи невидимым отпечатком лежит на каждой вещи, сквозит во множестве незаметных деталей. В том, что Ася понизила голос почти до шепота, спрашивая мадам, можно ли войти к бабушке, присутствовало то же горе. И даже в том, что в комнате было немного холодно и Леля, зябко передернув плечиками, подула себе на маленькие руки, было что-то от того же.

Леля тоже подходила под мерку «похоже» — изящная блондиночка с пышными вьющимися волосами; черты ее по-своему повторяли черты Аси, но капризная линия губ и прикрытый челкой лоб, который у Аси был таким высоким и ясным, сильно отличали Лелю. На щеке улыбалась хорошенькая темная родинка. По всему было видно, что в семье этой Леля занимает свое уютное место и кровно с ней связана. Француженка называла ее, как и Асю, chére petite[16]. Постучали к Наталье Павловне, и Елочкой опять овладело беспокойство.

Комната Натальи Павловны еще больше хранила старый дух: мебель красного дерева, божница с серебряными образами, из которых некоторые были византийского письма, несколько изящных предметов датского фарфора, а главное — большое количество миниатюрных фотографий в овальных рамках, заполнявших всю стенку над письменным столом; большинство этих фотографий изображали людей в мундирах лучших гвардейских полков. Сама старая дама, державшаяся еще очень прямо, с красивыми, несколько заострившимися чертами лица и короной серебряных волос, оживляла собой эту иллюстрацию прошлого семьи. От Натальи Павловны веяло незаурядным самообладанием и чувствовалась аристократическая замкнутость. Говоря, она слегка грассировала — привычка, которая сохранилась у многих дам ее поколения и шла от постоянного употребления французского языка.

Представляя Елочку, Ася непременно упомянула, что та была сестрой милосердия у Врангеля. Наталья Павловна пожала ей руку и сказала, указывая на Асю и Лелю:

— Там, в Крыму, погибли отцы вот этих девочек.

Елочка наклонила голову.

Перешли опять в первую комнату; Ася и Леля полезли под рояль и за углы тюфячка осторожно выволокли несчастную собаку. Сразу было видно, что за парализованным животным заботливо ухаживают, аккуратно меняют подстилки. Время, когда Елочка замирала от страха при мысли о шприце, давно миновало. Теперь она уверенно и смело отдавала свои распоряжения: в одну минуту прокипятили инструмент, смазали йодом лапку, и Елочка ловко взяла иглу. Диана не сопротивлялась, лизала руки Аси, которая ее держала.

— Собаки — удивительные существа, — сказала Ася, — они знают вещи, которых не знает человек, и мне иногда кажется, что их понимание тоньше нашего, только направлено на иные явления. Больное животное всегда так жаль — ведь оно не может ни пожаловаться, ни объяснить...

— А помнишь, Ася, ту собаку? — спросила Леля.

— Какую? — заинтересовалась Елочка.

— Была одна собака, которую мы не можем забыть, — ответила Ася. — Это было в Крыму, летом, когда мы были еще девочками. Нас перегоняли в Севастополь.

— Как перегоняли? Кто же вас гнал? — опять спросила Елочка.

— Тогда были арестованы дядя Сережа и Лелин папа. Их вместе с другими арестованными вели под конвоем китайцы... Никто не знал,

[16] Милой деточкой *(франц.)*.

куда... Тетя Зина и несколько других жен шли сзади, и мы обе с мадам шли за ними... Куда же нам было деваться? Моей мамы и папы моего в живых уже не было... И вот, когда мы шли так далеко... среди мертвых песков... Ведь там, вокруг Коктебеля, холмы и желтые бухты выжжены летом от зноя. Вдруг к нам подошла собака. По-видимому, в этой партии вели ее хозяина, а она была поранена конвойным, который ее отгонял. Видно было, что она идет из последних сил. Споткнется, упадет, потом встанет, пройдет еще немного и снова припадет на передние лапы и смотрит умоляющими глазами... Она боялась отстать и умереть... Когда мы ее гладили, она лизала нам руки, точно просила ей помочь. Мы замедляли нарочно шаг, чтобы она поспевала за нами, а мы и без того отставали. Тетя Зина и мадам кричали нам, чтобы мы не останавливались и шли, потому что нас ждать никто не будет... Они боялись потерять из виду отряд. Мы шли и оборачивались...

— Я помню, — перебила Леля, — мадам кричала мне: «Погибла Россия, погибло все, а теперь ты теряешь отца и плачешь о собаке! Тебе не стыдно?» А я и сама понимала, что если уж плакать, то о папе, но ничего не могла поделать — мне как раз собаку было жаль.

— Со мной вот кто еще был, — сказала Ася и, подойдя к креслу у камина, сняла старого плюшевого медведя с оторванным ухом, ростом с годовалого ребенка. — Это мой любимец. Я несла его тогда на руках. Мы в то время многого еще не понимали, что происходит вокруг нас. На другой день после того, как мы узнали судьбу Лелиного папы, мы с ней прыгали через лужу, которая натекла у порога нашей мазанки, и смеялись так звонко, что тетя Зина выбежала нас унять и обозвала бессердечными...

Наталья Павловна окликнула в эту минуту Лелю, та убежала, Елочка и Ася остались одни.

— Садитесь сюда, к камину, — сказала Ася, — жаль, он не топится, у нас почти нет дров. Расскажите немножко о себе. Ваши мама и папа живы?

— Нет. Родителей я потеряла еще в раннем детстве. Мой отец, земский врач, погиб при эпидемии холеры. Бабушка отдала меня в Смольный. Наш выпуск был последним. Теперь из родных у меня остался только дядя; он хирург, а я — операционная сестра. Иногда по воскресеньям у него обедаю. Вот и все. Говорить о себе я не умею. — Но через минуту она прибавила тише и мягче: — Я очень одинока.

Ася по-детски ласково прижалась к ней.

—У вас тоже на войне погиб кто-нибудь? Муж, брат, жених?

— Нет. Когда все кончилось, мне было только девятнадцать лет. И с тех пор никто никогда мне не нравился. Я не была замужем.

— Когда все кончилось? — переспросила Ася с недоумением в голосе.

— Ну, да. Когда *они* победили. С тех пор я уже не могла думать о счастье. Какое тут счастье, когда Россия в такой беде.

Большие невинные глаза Аси с недоумением взглянули на Елочку из-под длинных ресниц:

— Вы совсем особенная! Не думать о себе, потому что несчастна Родина! А я вот только о себе и думаю. Но мое счастье пока еще под покрывалом феи.

— Ну, вы — другое дело! Вы тогда еще были девочками и не могли пережить так, как я, трагическую муку тех дней. Вы почти не помните людей, которые тогда погибали. Россия взывала к своим героям: они шли, падали, вставали и снова шли. Вот и ваш отец был, очевидно, из числа таких же. Я работала в госпитале в те дни и видела, как эти люди умирали, — в бреду они говорили о России. А те, которые поправлялись, едва встав на ноги, снова бросались в бой. И этот героизм остался непрославленным — наградой были только расстрелы, лагеря... А теперь уже нет таких людей! В советской стране никто не

любит Родину, нет рыцарского уважения к женщине, нет тонкости мысли, нет романтизма, ничего нет от Духа! Это — хищники, троглодиты, которые справляют хамское торжество — тризну на костях и на крови. Среди них мне никого и ничего не надо. Знаете, у Некрасова: «Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят, где были дубы до небес, а нынче пни торчат!» — Говоря это, Елочка печально смотрела в холодную пустоту камина.

— Вы так говорите, как будто был кто-то, кто был вам бесконечно дорог и кого вы потеряли в те дни, — совсем тихо сказала Ася.

Елочка вздрогнула.

— Я вам напомнила, простите! И все-таки скажите.., скажите мне — был такой человек, я угадала?

— Был, — тихо проговорила Елочка.

— Кто же он? Офицер, как мой папа?

— Да.

— Он был убит?

— Нет, ранен. Я в госпитале его узнала.

— Вы ухаживали за ним?

— Да, у него было тяжелое ранение. Никогда не забуду, как коротко и часто он дышал... Я все время боялась, что он задохнется.

— Эта рана была смертельная?

— О, нет! В том весь ужас. Ему только что стало лучше... и вот...

— Что же?

— Красные взяли город. Они окружили офицерские палаты и расправились с ранеными. А он ведь еще не вставал с постели. Я в это время болела тифом и ничем не могла помочь. Я даже не могу узнать, как это было. С тех пор все для меня кончилось. Все! — Наступило молчание. — Другие умеют забывать, а я — нет! — сказала опять Елочка. — Я видела его всего несколько дней и все-таки не могу забыть ни одного его слова, ни одного жеста! Я всегда о нем думаю, всегда.

— А он любил вас?

— Нет, состояние его было крайне тяжелое. Романа не могло быть — поймите, однако перед операцией он попросил меня не отходить — значит, все-таки чувствовал ко мне доверие, симпатию... Раз он подарил мне флакон духов и, откупоривая, залил мне передник. Это все, что осталось у меня о нем на память.

— Если попросил быть рядом — значит любил. А как его звали?

— Ну, нет! Имени и фамилии я вам не назову! — живо возразила Елочка. — Вам знать не для чего, а мне не так просто выговорить. Обещайте, что вы никому не расскажете того, что я рассказала. За все эти годы я не проговорилась никому — вам только.

— Обещаю. О, да — обещаю! Спасибо, что рассказали. А он был красивый? — Нота наивного любопытства прозвучала в голосе Аси.

— Об этом я тогда не думала. Красивый.., но ведь я его видела перевязанным, в постели... И все-таки... по всему — по лицу, по разговору, по каждому жесту — было понятно, что этот человек очень тонко воспитанный. Храбрец с двумя Георгиями!

— Это было так давно... — сказала задумчиво Ася. — А он ведь не был вашим женихом... Неужели вам не хочется снова полюбить и быть счастливой?

Елочка быстро сделала отрицательный жест.

— Нет, не хочу. Не хочу и не могу, не сумею начать сначала. Я не вижу теперь таких людей, как он, а я могу полюбить только такого. Для меня в этом чувстве заключается все — моя любовь к России, моя любовь к героизму, мое преклонение перед человеком, который отдал жизнь Родине! Это все вошло в меня слишком глубоко. Тоска по нему — лучшая часть моей души. Я не хочу увидеть себя с другим, я бы тогда перестала себя уважать.

Ася смотрела на Елочку как завороженная, не смея пошевелиться.

— Я очень люблю стихотворения Блока, — заговорила опять Елочка. — Когда я их читаю, мне приходят иногда странные мысли, очень странные... Возможность новой встречи и любовного единения там... после смерти... вне тела. У Блока в стихах о «Прекрасной даме» мысль эта высказана совершенно ясно: «Предчувствую тебя, года проходят мимо...» или «Ты идешь! Над храмом, над нами беззакатная глубь и высь». Вот тогда, при такой встрече, он увидит и оценит мою верность; тогда найдет свое оправдание мое одиночество. Понимаете ли вы, что значит для меня такая мысль и как много она мне дает?

Глаза Елочки ярко светились, каждый нерв дрожал в ее худом и смуглом лице. Ася почувствовала себя совсем маленькой рядом с ней.

— Какая я жалкая и пустая по сравнению с вами. Никакого отречения, никакой жертвенности во мне нет, ни капельки! Мне всегда хочется только счастья! *Он* на коленях передо мною, белые цветы... чудные разговоры... полная задушевность во всем. Мне счастье представляется таким светлым, захватывающим, обволакивающим, как туман. Я очень люблю детей; я воображаю себе иногда, как буду купать моего бэби в ванночке, где плавают игрушечные золотые рыбки и лебедки: или пеленать его в кружевные конвертики. В семь-восемь лет я очень любила укачивать кукол. Я пеленала свою Лили или плюшевого мишку и ходила с ними по комнате, убаюкивая. Я любила колыбельную «гули-гуленьки» и еще казачью лермонтовскую. И всегда мне грустно делалось, когда я пела. Я даже представить себе не могу жизнь без бэби. Это тоже очень большой секрет от всех.

— Ну, это у вас будет! Можете не беспокоиться! Иметь детей может каждая прачка. Ни вашего таланта, ни вашего изящества тут не потребуется!

Ася почувствовала себя виноватой и свой лепет глупым.

Вошла француженка и сказала Асе по-французски:

— Сейчас звонила княгиня Дашкова. Она вызывала мсье Сержа. Я не знала, что ей ответить, и сказала, что еще нет дома.

Елочка дрогнула.

— Дашкова? Вы знакомы с Дашковыми?

— Oh, oui! C'est une personne d'une famille trés aristocratique![17] — ответила ей француженка.

У Елочки вертелось на губах множество вопросов, но она не решалась их задать. Ее пригласили к чайному столу, но, не желая показаться назойливой, она стала прощаться. В передней, уже у порога, отважилась, однако, спросить:

— Скажите, у этой дамы... у княгини Дашковой, не было ли среди родственников белогвардейского офицера?

— Ее муж был убит под Перекопом, — ответила Ася.

«Убит!» — думала Елочка, медленно спускаясь по лестнице. Поразмыслив, она решила — очевидно, не он. Ведь он был ранен и добит. К тому же он, конечно, не был еще женат. Ему всего-то было 22 года, этот возраст значился в истории болезни; и обручального кольца у него не было, а только перстень пажей. Елочка была потрясена тем, что именно в семье у Аси, к которой ее так потянуло, услышала она эту фамилию!

Глава восьмая

Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
А. Блок.

Месяца полтора тому назад подруга Нины Дашковой по Смольному институту, в прошлом Марина Сергеевна Драгомирова, а ныне

[17] О, да! Эта дама принадлежит к одной из самых аристократических фамилий *(франц.)*.

Риночка Рабинович, гуляя по парку Царского Села, вышла на площадь перед Екатерининским дворцом, около Лицея, и увидела двери любимой петербуржцами Знаменской церкви открытыми. Охваченная желанием перенестись в любимую ей когда-то атмосферу торжественности Храма, она переступила порог почти пустой в этот час церкви. Около Знаменской иконы Божьей Матери красными пятнышками теплились восковые свечи, тихий голос читал Канон. Она подошла к образу, встала на колени и на одну минуту припала головой к полу, в смутном порыве повторяя: «Господи, прости мне мои грехи! Я могла бы быть лучше, но Ты знаешь, как я была несчастна». Под грехами Марина подразумевала прежде всего то, что она вышла гражданским браком за еврея, не питая к нему никакого чувства, вышла потому, что он занимал хорошее место и был настолько обеспечен, что она в настоящее время одна среди всех своих подруг могла одеваться по моде, иметь прислугу и автомобиль, между тем как еще недавно она перебивалась с соленой воблы на картофель и работала за гроши регистраторшей в больнице. Но как ни хороши были модные туалеты и автомобиль, а полюбить человека, доставившего ей эти блага, — она не чувствовала себя способной, она не могла даже перестать стыдиться его перед подругами, упрекала себя за это и ее тяготило сознанье, что она оказалась способной отдаться по расчету. Временами ее охватывали порывы раскаяния и отчаянных сожалений.

Итак, она припала головой к полу, а когда подняла голову, то увидела в нескольких шагах от себя мужчину высокого роста, лет двадцати восьми, с благородным лицом. Ей бросился в глаза жест, которым он держал свою истрепанную кепку — так держали обычно свои кивера с плюмажем блестящие гвардейцы, и ей невольно вспомнились торжественные молебны в Преображенском Соборе. Она взглянула еще раз на его лицо и встретилась с ним глазами. Отводя взгляд, она подумала, что где-то видела этого человека, но где? Молитва уже не шла ей на ум, и через несколько минут она снова обернулась на него и увидела, что он в свою очередь пристально всматривается в нее. Глаза их встретились, и он наклонил голову, как будто желая выразить этим, что не может приветствовать ее более почтительно в церкви. «Неужели это Олег Дашков, beau-frére[18] Нины? Быть не может! Как он изменился!» Она поднялась с колен и отошла на несколько шагов от иконы, как бы приглашая его этим подойти к себе. Он приблизился. Темные глаза, под которыми лежала тень от бессонных ночей, впились в нее.

— Марина Сергеевна? — спросил он.

Ей трудно было поверить, что этот человек с измученным лицом, одетый почти как нищий, тот блестящий кавалергард-князь, с которым она танцевала когда-то мазурку на свадьбе Нины.

— Олег Андреевич! Вы? Откуда вы? Не с того ли света? Нина считала вас убитым! Где вы пропадали все это время? — защебетала она.

— Так вы видитесь с Ниной? Стало быть, мне вас послал Сам Бог! Я разыскиваю ее безуспешно уже несколько дней. Где она?

— Нина в Петербурге. Она, слава Богу, жива и здорова. Как она будет рада видеть вас! Господи, страшно подумать, как изменилась жизнь за эти одиннадцать лет, что мы с вами не виделись, и мы... Как изменились мы за это время!

— Вы сравнительно мало, Марина Сергеевна. Вы еще молоды, хороши, элегантны, а я... вот меня, я полагаю, трудно узнать, да это и лучше!

В его интонации было что-то подавленное и горькое.

— Если вас не шокирует разговаривать с человеком, похожим на нищего, выйдемте вместе, чтобы не мешать молящимся.

---

[18] Деверь (*франц.*).

— Олег Андреевич, как вам не совестно говорить так! Теперь лохмотья — лучший тон. Я и сама еще недавно была в лохмотьях и уважала себя больше, чем сейчас!

Они вышли из храма и подошли к маленькой скамеечке под липами, покрытыми инеем.

— Где же вы были все это время? — спросила она, садясь.

Он не сел, а стоял перед ней по-прежнему с обнаженной головой, и в изяществе его осанки было что-то такое, что безошибочно изобличало в нем гвардейского офицера.

— Рассказывать о себе было бы слишком длинно и скучно для вас, Марина Сергеевна. Это очень безотрадная повесть. В настоящее время я только что освобожден из концентрационного лагеря; три дня назад вернулся из Соловков.

— Вы?! Из Соловков? Боже мой!

— Вас удивляет это? Да кто же из лиц, подобных мне, избежал этой участи? Я провел семь с половиной лет на погрузке леса в Соловках и Кеми и в настоящее время получил освобождение за окончанием срока. Освобожден я, сверх ожидания, без всяких «минусов», а потому приехал сюда, разыскать Нину. Она единственный человек, оставшийся в живых из нашей семьи. Я думал, что могу еще быть полезен вдове и ребенку моего брата.

— Ребенку? У Нины нет ребенка, умер тогда же, младенцем. Она была в ужасных условиях... Вы про это не говорите с ней — это ее трагедия.

Он нахмурился:

— Вся наша жизнь — трагедия самая неудачная. А брат считал себя отцом, и когда умирал... — Он замолчал, видимо, вновь подавленный.

«Сказать или не сказать ему, что Нина стала артисткой и что у нее есть любовная связь. Нет, не скажу, пусть говорит сама», — думала Марина.

— Итак, вы знаете ее адрес? Вы можете проводить меня к ней?

— Могу и с радостью сделаю это через несколько дней. Дело в том, что сегодня Нина уехала на Свирстрой в концертную поездку. Она теперь зарабатывает пением — надо же на что-то жить.

— Через несколько дней? Для меня это новое осложнение: видите ли, отыскивая Нину, я думал отчасти и о себе — мне необходимо получить где-нибудь пристанище. Я без всяких средств в настоящую минуту и не могу снять комнату или угол, а между тем, пока я нигде не прописан, меня отказываются принимать на работу. Получается заколдованный круг, из которого я не могу выпутаться. Ночевать под открытым небом мне не в диковину, но мне нужно начать зарабатывать как можно скорее. Четыре дня — это вечность для человека в моем положении.

— Ну, это пусть вас не беспокоит. Это мы как-нибудь устроим, а остановиться можно у Нины и в ее отсутствие: там ее братишка и тетка. Идемте, прежде всего, на вокзал, через сорок минут поезд, мы еще успеем на него. В вагоне мы обсудим дальнейшее, — и она быстро пошла вперед. — Сколько лет вы не были в Петербурге? — спросила она.

— С восемнадцатого года, уже десять лет! Все так изменилось, особенно люди. Я чувствую себя совсем чужим. Никого из прежних родных и друзей я до сих пор не могу найти. Вот и сюда, в Царское Село, я приехал, чтобы отыскать семью, очень близкую когда-то моим родителям, но их не оказалось, мне отворили чужие. А между тем, на эту поездку я истратил последние деньги. Я точно с другой планеты сейчас.

— А вас арестовывали разве не здесь?

— Нет, в Крыму, вскоре после взятия Перекопа, — сказал он, озираясь, не слушают ли их.

— Вы ранены были, у вас шрам на лбу?
— Да, еще тогда, в Белой армии.
Они входили уже в здание вокзала, когда она заметила, что он вдруг зашатался и схватился рукой за стену.
— Что с вами? — спросила она испуганно.
— Простите, пожалуйста, голова закружилась, сейчас пройдет.
Она смотрела на его бледное до синевы лицо, и с быстротой молнии у нее мелькнула мысль: он без денег, наверное, голоден, — и после минутного колебания сказала робко:
— Олег Андреевич, вы питаетесь теперь нерегулярно. Вы, может быть, проголодались и хотите закусить в буфете? Я с удовольствием одолжу вам.
— Благодарю вас, Марина Сергеевна, я буду вам очень признателен, если вы одолжите мне рубль или два, чтобы я мог купить себе булку и выпить стакан чаю — я верну с благодарностью, как только устроюсь на работу.
Она торопливо открыла сумочку:
— Вот, пожалуйста, простите, что я не догадалась с самого начала...
Как она, в самом деле, не догадалась? Неужели эти страшные десять лет ничему ее не научили, и нищета и голод в ее представлении до сих пор связывались с человеком из народа, протягивающим руку, а не с человеком ее круга, сохранившим благородную манеру и прямую осанку?

Через несколько дней положение несколько определилось. Олег был прописан в комнате с Микой — четырнадцатилетним братом Нины. Держа в руках документы Олега, Нина с удивлением увидела, что они выписаны на чужую фамилию. Он дал ей полное объяснение того, как это случилось. В ноябре 1920 года он был без сознания от ран, полученных во время отчаянных боев за полуостров. Денщик, желая спасти его от неизбежного расстрела, в ту минуту, когда отряд красных окружил госпиталь, отобрал у Олега его документы и положил к его изголовью чужие — только что скончавшегося рядового, по которым он значился уже не гвардейским поручиком князем Олегом Андреевичем Дашковым, а фельдфебелем, мещанином по происхождению, Осипом Андреевичем Казариновым. Это спасло его от расстрела, которому были подвергнуты почти поголовно раненые офицеры.
Возвращаясь к жизни, Олегу пришлось забыть не только прежние привычки и образ жизни, но и прежнее имя. Скоро, однако, ему так опротивело имя Осип, что он пошел на риск и перед получением советских документов залил чернилами имя, оставив заметной лишь первую букву. Подозрений это, к счастью, не возбудило никаких, так как число букв совпало, как и первая буква. Таким образом ему удалось вернуть имя, полученное при крещении, и «совсправка» была выписана на Олега Андреевича Казаринова.
Нина слушала его со страхом.
— Олег, вы играете в опасную игру. Я понимаю, что она вам навязана всей обстановкой, что у вас нет выбора, и все-таки... Уверены ли вы, что вас никто не узнает и не выдаст из тех, кто знал вас раньше? Что ни в ком не возбудят подозрения ваши манеры, ваш разговор, ваше лицо, в котором нет ничего мещанского? Уверены ли вы, что не запутаетесь в бесконечных анкетах, которые вам придется заполнить при поступлении на любую службу? Ведь ваша биография теперь вся вымышленная.
— Вся. Но я ее зазубрил и повторяю в одном и том же варианте. Согласно моим документам, я сын столяра. Год моего рождения уже не тысяча восемьсот девяносто шестой, а девяносто пятый, я работал в Севастополе на заводе и был насильно завербован белыми; потом ранен и находился на излечении в госпитале, когда красные занимали Крым. Ну, а потом... Потом картина несколько меняется к худшему, так как Олег Казаринов уже выступает в роли укрывателя «классового врага». Дело в том, что, покинув госпиталь, я и мой денщик пристроились работать лодочниками, чтобы как-то существовать, а жили в заброшенной рыбацкой хибарке. Вскоре к нам присоединился знакомый мне гвардейский полковник, тоже скрывавшийся под чужим именем. Его узнали и выдали — очевидно, кто-то из местного населения, а мы были привлечены к ответу за укрывательство. Наказание я уже отбыл — семь с половиной лет в Соловках! Полагаю, достаточно! Надеюсь, что за «пролетарское» происхождение вина моя, наконец, забудется.
Он поцеловал ей руку, и она заметила горечь на его лице. Она почувствовала, что слишком холодна, а ведь у него, кроме нее, нет никого на свете, и она сказала тихо:
— Горе сушит человека, не правда ли, Олег?
— Не всегда, Нина, но я ничего больше не мог ожидать — я учитываю обстоятельства, ведь я и сам давно ожесточился и очерствел.
«Да, вот это, наверное, так», — подумала она, вспоминая его красивым юношей, кружившим головы ее подругам.
Однако ей в первые же дни стало ясно, что он хоть и не хотел признаться в этом, а был несколько уязвлен ее холодностью и теперь старался держаться как можно дальше, желая, по-видимому, показать, что не намерен докучать ей своей особой. Он ходил на вокзал грузить и носить вещи и покупал себе на вырученные деньги хлеб и брынзу. Зная, что он не может быть сыт, она несколько раз входила к нему, чтобы поставить перед ним тарелку с вареной треской или картофельным супом; два раза он принял это и поцеловал благодарно ее руку, пробормотав: «Я надеюсь, что в скором времени смогу отплатить за все...» Один раз отказался, говоря, что заработал на этот раз больше и сыт, но ни разу сам не вошел в ее комнату; когда она и Мика садились за свой, тоже скудный обед, ни разу не попросил даже стакана чаю. А с поступлением на работу оказалось не так просто, как думалось сначала. Олег владел свободно тремя иностранными языками — вот это и давало ему надежду получить место, так как после того разгрома, которому подверглись образованные люди за эти годы, владеющие языками были наперечет и учреждения расхватывали их, отбивая друг у друга. И все-таки работа ускользала от Олега: в каждом учреждении его охотно соглашались принять, но как только дело доходило до неизбежных в то время анкет и автобиографий, картина менялась, начинали говорить:
— Мы вам дадим знать, наведывайтесь.
Или:
— У вас нет нужной квалификации.
Ясно, что каждый директор крупного учреждения заботился о своей безопасности и принимал только тех, кто никоим образом не мог быть отнесен к категории классового врага.
Дело грозило затянуться и неизбежно затянулось бы, если б не вмешалась Марина. Ее муж, Моисей Гершелевич Рабинович, занимал крупный пост в порту, где была как раз острейшая необходимость в людях, владеющих иностранными языками. После нескольких сцен, устроенных старому еврею хорошенькой женой, он согласился зачислить Олега в штат. Он был заранее предупрежден о содержании анкеты, и в этот раз прогулка Олега в порт не оказалась напрасной. Нина заметила, что Дашкову было неприятно это непрошенное вмешательство женщины в его дела, неприятно, что ради него происходили семейные сцены у чужих ему людей, но делать было нечего. Как ни страдала его гордость, он все-таки пошел представляться незнакомому еврею в назначенный час. В кабинете Моисея Гершелевича между Олегом и Рабиновичем произошел непредвиденный Мариной и Ниной разговор.

Подавая заполненную только что анкету, Дашков неожиданно для самого себя сказал:

— Считаю своим долгом вас предупредить, что анкета эта соответствует моим документам, но не соответствует действительности.

Старый еврей зорко взглянул на него из-под круглых роговых очков, и Олег не мог не отметить проницательности этого взгляда.

— Ну, а вы думали, что я этого не понимаю? Ну, и какой же я был осел, если бы не понял сразу, что вы такой же Казаринов, как я князь Дашков? Но к чему нам об этом говорить? Я принял Казаринова и принял потому, что мне нехватает кадров, а это грозит срывом работы — я так и заявлю в парткоме. Я вас зачисляю не штатным работником, а временным, ну, а фактически, если работа пойдет успешно, вы у нас останетесь надолго. И помните — я ничего не знаю.

Эта фраза сопровождалась характерным жестом рук. Олег поклонился и вышел. «А он умен, — подумал Олег, — говорит с акцентом и интонация самая еврейская, но даже это не делает его смешным».

Таким образом был улажен один из основных вопросов его существования. Оставалось — наладить отношения с Ниной, которая с появлением Олега окончательно потеряла спокойствие; ей постоянно чудилось, что приходят их арестовывать. По ночам она вскакивала в холодном поту, прислушиваясь к воображаемому звонку и рисуя себе все подробности обыска.

Общения ее с братом были очень далеки от задушевности. Мика, рождение которого стоило жизни его матери, был на шестнадцать лет младше Нины и еще учился в школе. Учился с отвращением, несмотря на хорошие способности и живой, любознательный ум. Но дело не в способностях и не в уме — преподавание велось бездарными и ограниченными, наспех подготовленными людьми, сбивать и путать которых меткими вопросами стало с некоторых пор любимой забавой Мики. Отвращению к школе способствовало и то, что все молодое поколение во главе с пионервожатой немилосердно травило Мику за княжеский титул и за «отсталое мировоззрение», под которым подразумевалась религиозность. Религиозность эта проявилась в Мике как-то неожиданно, с бурной силой, удивившей Нину. Он не только ревностно посещал церковные службы, но отправлялся иногда далеко, на правый берег Невы, на монастырское подворье Киновию, чтобы прослушать уставную монашескую службу. Мика очень по-взрослому рассуждал, что в жизни «правды нет», а только «ложь и суета», что большевизм послан в наказание за грехи их дедов и прадедов, которые вели слишком праздную и роскошную жизнь, и что он убежит в Валаам, как только станет взрослым. Он даже уверял, что у него уже составлен план бегства, и этим страшно раздражал Нину. Всякие объяснения между ними почти всегда кончались ссорами. В последнее время Нина заметила, что Мика начинает сторониться ее, и поняла почему. Он осуждал ее за связь с Сергеем Петровичем. Для него, нахватавшегося на свежую душу аскетической суровости, в этом было что-то постыдное и запрещенное. Она несколько раз собиралась поговорить с ним, объяснить ему положение вещей и те трудности, которые встали перед ней и Сергеем Петровичем, но гордость удерживала ее. «Ах, все равно, пусть думает что хочет». И она махнула на него рукой, как махнула уже на многие вопросы своей жизни, не разрешая их.

В первых числах января она уехала на два дня в Кронштадт подработать на шефском концерте, а когда вернулась, узнала в Капелле о ссылке Сергея Петровича. В первые дни не хотелось жить. Но со временем необходимость кормить себя и брата брала свое, и, преодолевая нестерпимую боль в душе, она волей-неволей подходила к роялю. Ей самой было странно, что она могла петь и что не только голос ее звучал серебром нетронутой юности, но по-прежнему каждая исполняемая вещь подхватывала ее, как на крыльях, и заставляла

дрожать все струны ее души, как будто горести еще усиливали дар артистического упоения. «Но ведь это одно, что мне осталось теперь», — говорила она себе, как будто оправдываясь перед собой.

Как-то вечером она сидела в своей заброшенной, холодной комнате на старом диване, за шкафом; на коленях ее лежало старое, крашеное платье, служившее ей для выходов на эстраду; она безуспешно пробовала его чинить, но мысли ее были далеко — в теплушках для перевозки скота, где ехали ссыльные по великому сибирскому пути. Легкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. На пороге появилась Марина, они поцеловались, сели на диван.

— Я все знаю. Пришла тебя навестить. Когда это случилось с Сергеем?

— Три дня назад, я была в Кронштадте, мы даже не простились; мне в Капелле сказали.

Марина сочувственно взяла ее за руку и взглянула ей в глаза.

— Ну, как же ты?

— Что ж, вот и этот. Немного давал он мне счастья — я чаще плакала, чем смеялась во время его визитов, но все-таки был хоть какой-то луч — человек, которого я ждала. Он оживлял собой эту пустоту, он понимал мое пение; за роялем у нас бывали чудные минуты. А теперь — никакого просвета. Вот я сижу так, по вечерам, и чувствую, как из этой темноты на меня ползет холодный, мрачный ужас.

— У него, кажется, есть мать? — спросила Марина.

— Да, мать и племянница. Он был очень привязан к обеим, для них работал. Они теперь в отчаянии. Но я все-таки несчастнее их. У этой Аси — молодость, невинность, будущее, любовь окружающих, у меня — ничего. Мертвящая пустота, и так изо дня в день, как нарыв. Знаешь, я эгоистка: я убедилась, что думаю не столько о нем, что он оторван от всего и едет вдаль, сколько о себе, как я несчастна, потеряв последнее. Или я недостаточно его любила?

Она ненадолго умолкла и вновь стала жаловаться на свою жизнь — нечего есть, не во что одеться и одеть Мику, ни единого полена дров, не заплачено за квартиру.

— Теперь с халтурами будет труднее — ведь это Сергей постоянно подыскивал их себе и мне... Ну, а как ты? Всегда элегантна и цветешь, счастливая! — и она поправила на подруге модную блузочку.

— Не завидуй, Нина. Мне эта элегантность дорого стоила! Продалась старику, вот и одета.

— Марина, зачем так? Ты честная жена, во всяком случае жена вполне порядочного человека, который обожает тебя.

— И все-таки этот человек купил меня. Нина, милая, ведь это не секрет, это знают все, а лучше всех — я сама! Вышла я за моего Моисея только для того, чтобы не быть высланной и не умереть с голоду где-нибудь в Казахстане. Ни о какой любви с моей стороны не было даже разговора. Ведь ты же знаешь...

Она говорила это, вертя перед собой маленькое зеркальце и подкрашивая губки, говорила обычным тоном, как о чем-то решенном.

— Любит, да, — она усмехнулась, — но я-то не люблю! Нина, в этом все. Это делает мое положение мучительным и фальшивым. Для меня нет хуже, как остаться наедине с мужем, потому что мне не о чем с ним говорить, тяжело смотреть ему в глаза, отвечать на его ласки... А потом взгляну в зеркало и вижу, как я еще красива и молода, и делается так обидно и горько. Думаешь: природа дала тебе все, чтобы быть счастливой, но все, что могло бы быть радостью, превращается в пытку!

Она спрятала зеркальце.

— Во всяком случае ты уважаешь же его? — не унималась Нина.

— Уважаю, но как-то условно, отвлеченно. Я стараюсь ценить его отношение к себе, но он мне неинтересен. Он вовсе не глуп, но мелок как-то. Ему не хватает культурных поколений. Мы уже перестали это

ценить, а между тем, как это много значит! Нет-нет да и прорвется то грубость, то ограниченность... И потом его окружение... Терпеть не могу его родню. Когда они собираются, они устраивают настоящий кагал, и эта мелочность убийственная! Я всегда чувствую, какая бездна разделяет меня и их не потому только, что я интеллигентнее их, а еще потому, что мы — русские — пережили за это время такое море скорби, которое не снится этим самодовольным евреям.

— Скорби за Россию от них трудно и ожидать, — согласилась Нина, — но ты говоришь, как настоящая антисемитка. Я привыкла думать, что среди евреев есть множество прекрасных людей. Мой отец был о них высокого мнения. Вышла бы ты за русского из мещан, и было бы то же самое. Уж поверь.

— Может быть, и так. Но разве это меняет что-нибудь? Марины Драгомировой больше нет! Ну, довольно об этом. Что твой beau-frère, расскажи о нем, — сказала она по ей одной понятной ассоциации.

— Олег? Мы мало разговариваем, он все больше у Мики в комнате; мне кажется, что, узнав про мою любовь к Сергею, он стал меня сторониться. Но вчера, когда он узнал о ссылке Сергея, он пришел ко мне и провел со мной около часа, очень сочувственно расспрашивал, но, безусловно, только из вежливости.

Она помолчала, вспоминая что-то, и потом сказала с улыбкой:

— А помнишь, как ты была неравнодушна к Олегу, когда была девушкой? Кто знает, может быть, и завязался бы роман, если бы не революция! Помнишь наш разговор в моем будуаре, когда ты меня уверяла, что в Олеге есть что-то печоринское?

— Я и теперь скажу то же.

— Теперь? Нет. Раньше действительно он был интересен, и кавалергардская форма шла ему. А сейчас у него вид затравленного волка, и этот шрам на лбу его портит. Марина, ты плачешь? Да что с тобой, моя дорогая? Или ты опять неравнодушна к нему?

Марина открыла лицо:

— Все, что было тогда, — пустяки, Нина. Так, девичьи мечты. Разве я тогда умела любить? Я была слишком легкомысленна и весела для большого чувства. А вот теперь... Теперь, когда мне уже тридцать один, когда я уже так истерзана, а счастлива еще не была, теперь я могу любить каждым нервом, теперь это действительно женское чувство. Нина, душечка, ты как будто удивляешься... он не в твоем вкусе, я знаю... но ты послушай, пойми. Помнишь, тогда, в тот вечер, когда я его встретила, — я подумала тотчас же, что он и в лохмотьях смотрится с достоинством. А потом, когда я привела его к тебе на квартиру, Мика очень скоро ушел ко Всенощной, и я, видя, что Олег от усталости почти падает, велела ему ложиться на диване, а сама уже надела шляпку, чтобы идти домой, но зашла к твоей тетушке и немножко с ней поболтала. Потом я хотела уже выйти, да вдруг подумала, что ему очень неудобно лежать, а сам он о себе не позаботится. Я взяла диванную подушку, вот эту, чтобы подложить ему под голову. Он не ответил, когда я постучала; тогда я вошла совсем тихо: он лежал одетый на диване и уже спал. Я смотрела на его заостренные черты и темные круги под глазами, и так мне его было жаль! Знаешь, той волнующей, женской жалостью, от которой до самой безумной любви всего один шаг! Мне кажется, что если бы он тогда проснулся и раскрыл объятия — я бросилась бы к нему на грудь и отдалась без единого слова, забыла бы мужа, забыла бы все... но он не шевелился. Я стала подкладывать подушку, тут он открыл глаза и, увидев меня, тотчас вскочил — корректно, с извинением, как чужой. Что мне было делать? Я вышла и ничем не выразила этой невыносимой, душившей меня жалости, не обняла, не положила его голову на свою грудь. Все похоронила в душе, все! — она плакала.

В дверь постучали. Марина встрепенулась, как вспугнутая птица:

— Это Олег! Он увидит, что я плакала. — И, схватив любимое

зеркальце, спешно стала пудрить свой носик. Нина надвинула абажур и сказала:

— Войдите.

Олег вошел. Он был высокого роста, худощавый, стройный шатен. Черты лица его были красивы, особенно в профиль, но несколько заострены, как после тяжелой болезни. Лоб рассекал глубокий шрам — след старой раны, который шел от брови к виску и скрывался под волосами. Он вошел и, поцеловав руки обеим дамам, не сел, пока Нина не предложила ему. Эта церемонность, по-видимому, была ему свойственна.

— Ваша жизнь, кажется, налаживается понемногу, Олег Андреевич? — спросила Марина, и даже голос ее звучал как-то иначе в обращении к нему.

Он отвечал вежливо, но сдержанно, видимо, не желая переходить в задушевный тон. Разговор завертелся на трудностях жизни и неудачах большевиков; Марина, что-то рассказывая, небрежно перелистывала страницы бархатного альбома с серебряными застежками, взятого ею со стола.

— Простите, если я перебью вас, Марина Сергеевна, — сказал Олег, — я вижу в альбоме портрет матери. Позвольте взглянуть. Я не знал, Нина, что у вас сохранились семейные карточки.

— Возьмите этот портрет себе. Я буду рада подарить вам его, — сказала Нина.

— Благодарю, — ответил он коротко и вынул карточку.

— Дайте и мне взглянуть, — сказала Марина.

Он передал портрет, но как-то нерешительно, как будто не желал расставаться.

— Какая ваша мама красивая! У нее прекрасный профиль и такие кроткие глаза. Давно она скончалась?

Последовало минутное молчание, и Марина почувствовала, что этого вопроса лучше было бы не задавать.

— Княгина расстреляна у себя в имении,—сказала Нина.

Марина не удержалась от восклицания ужаса:

— Расстреляна? Женщина?! За что?

— Вы спрашиваете? Вы разве забыли, где вы живете? — жестко усмехнулся Олег, — жена свитского генерала, тоже расстрелянного, мать двух белогвардейских офицеров — разве этого недостаточно?

И, обращаясь к Нине, он спросил:

— А портретов моего отца и брата у вас не сохранилось?

— Нет. Они на всех фотографиях в мундирах, я вынуждена была сжечь все карточки; а вчера я занималась тем, что сжигала записочки Сергея. Я стала труслива, как заяц, — продолжала она, — по ночам я не могу спать: я все жду, что придут за мной или за Олегом, или за обоими. Я вскакиваю при каждом шорохе. Это становится у меня idée fixe. Представляешь, Марина, мой социальный профиль— ее сиятельство, вдова белогвардейца, у себя принимала другого белогвардейца, только что сосланного, а в квартире у меня... — она запнулась.

— А в квартире у вас, — подхватил Олег, — проживает под чужим именем третий белогвардеец. Вы ведь это хотели сказать? Да, наша с вами безопасность сомнительна!

Глава девятая

Он ходил, мировой революции преданный,
Подпирая плечом боевую эпоху.

А. Сурков.

Нина была убеждена, что несчастливый рок, тяготевший над ее жизнью, имел способность распространяться на всех окружающих и особенно на живущих с ней под одной кровлей людей. «Не сближай-

тесь лучше со мной, я приношу несчастье, — часто говорила она. — Радость избегает даже тех, кого я люблю». Старый дворник, Егор Власович, единственной отрадой которого были церковные службы, постоянно журил Нину за ее философию, усматривая в ней нечто противное вере и промыслу Божию, но прочие обитатели квартиры соглашались с Ниной.

Если кто с утра шел в очередь, в кухне предрекали: «Ну, наши не получат, мы ведь несчастливые»; если на улицах начиналась очередная кампания по штрафованию прохожих, говорили: «Уж из наших непременно кто-нибудь попадется, нам так не везет». Кухня играла роль клуба в этой квартире и одновременно служила и прачечной, и прихожей. Парадный ход, как в большинстве домов в это время, был наглухо закрыт. Причину не сумел бы объяснить ни один управдом. Всего в этой квартире было восемь комнат, и все они, не считая кухни и самой большой проходной комнаты, были заселены людьми самых разнообразных возрастов и профессий. Это была так называемая «коммунальная квартира» — одно из наиболее блестящих достижений советской власти!

Самой коренной обитательницей квартиры была старая тетка Нины — Надежда Спиридоновна Огарева. Раньше квартира принадлежала ей. Всю революцию старая дева высидела здесь, одна, как сыч. Когда Нина, потеряв мужа, отца и ребенка, приехала из деревни в 1922 году с семилетним Микой и двумя чемоданами, она прямо с вокзала отправилась к тетке, так как ни от квартиры отца, ни от квартиры мужа не осталось и следа.

Тетка, сверх ожидания, встретила ее крайне недоверчиво и недружелюбно. Отнюдь не потому, что старухе было жалко пустых комнат — пустые комнаты все равно начали брать на учет и по ордерам заселять новыми, никому неведомыми личностями; тут-то как раз вселение племянницы давало Надежде Спиридоновне лишнюю возможность избежать вторжения «пролетарского элемента».

И все-таки, все-таки появление Нины с Микой показалось Надежде Спиридоновне покушением на ее спокойствие и благополучие. Она тотчас, как мышь в нору, стала перетаскивать в свою спальню все самые лучшие свои вещи из бронзы, серебра и фарфора, будто опасалась за их целостность. Она едва согласилась выделить Нине старый кожаный диван, старый шкаф и стол со сломаной ножкой. На счастье Нины, рояль уже не мог войти в спальню к Надежде Спиридоновне. Он стоял в большой проходной комнате — бывшей гостиной, и Нине было разрешено им пользоваться. Быть может, здесь Надежда Спиридоновна руководствовалась соображением, что без рояля Нина не сможет заработать и сядет ей на шею. Это опасение все первое время неотвязно преследовало Надежду Спиридоновну и рассеялось далеко не сразу.

Не меньше опасалась Надежда Спиридоновна и Мики: ей казалось, что мальчик непременно все сокрушит и переломает, что он обязательно будет шуметь и не давать ей спать. Мике строго-настрого был запрещен вход в ее комнату, запрещено приближаться к книжному шкафу и буфету, которые, как наиболее громоздкие вещи, остались вместе с роялем в проходной, запрещалось бегать, шуметь — запреты сыпались на него, как из решета. Понемногу Мика лютой ненавистью возненавидел старую тетку — называл ее за глаза ведьмой и жабой, и по утрам, когда Нина уходила на спевки, мстительно изводил старуху: то нарочно вызывал ее к телефону, отрывая от вышивания, то начинал мяукать под ее дверью, то подбросит ей в комнату дохлую мышь, вынутую из мышеловки, то выпустит на нее таракана; иногда он выбегал на лестницу и давал неистовый звонок, заставляя ее открывать ему дверь, и потом убегал, показывая язык.

Изобретательность Мики оставила далеко за собой изобретательность Надежды Спиридоновны, и старуха позорно отступила с поля

сражения, от атаки перейдя к обороне. С годами военные действия между теткой и племянником значительно ослабели, но взаимная антипатия осталась та же.

Когда в квартире появился Сергей Петрович, Надежда Спиридоновна всю остроту своей ненависти перенесла на него. Она умела както особенно фыркать в ответ на его поклон и, спешно убегая к себе, с легким шипением демонстративно захлопывала дверь. Сергея Петровича очень мало трогали такие выходки старой девы, он пользовался ими, как средством развеселить Нину, уверяя ее, что Надежда Спиридоновна убежденная девственница и принадлежит к тем избранным, глубоко целомудренным натурам, которые даже слово «мужчина» считают неприличным и которых смущает вид этих грубых существ. Уходя от Нины, он уверял, что если встретится в коридоре с этой весталкой, то обязательно, ради опыта, попробует лобызнуть ее, хотя и допускает, что это будет ему стоить жизни.

Появление Олега уже не вызвало со стороны Надежды Спиридоновны никакой особой реакции. К этому времени квартира была заселена до отказа, и старая дева покорилась необходимости жить с чужими, да к тому же с неприличными существами. Она сложила оружие. Изредка только, когда кто-нибудь дерзал передвинуть или переставить что-нибудь из ее вещей, у нее случался прилив воинской доблести, но все всегда кончалось новым поражением, так как считалась с ее вкусами и удобствами одна только Нина.

Кроме Надежды Спиридоновны, Нины и Мики, в квартире очень скоро поселился дворник с женой. Дворник этот был раньше кучером в имении отца Нины; он и его жена были очень преданы Нине и приехали вслед за ней в Петербург. Устроившись дворником в этом доме, по протекции Нины же, бывший кучер сумел получить ордер на комнату в их квартире. Чуждый «пролетарский элемент», явившийся с ордером от РЖУ, был представлен двумя лицами, поселившимися сравнительно недавно. В бывшей «людской» жил выдвиженец-рабфаковец — Вячеслав Коноплянников, в соседней с ним — тоже маленькой комнатушке — молодая кассирша, именуемая всеми просто Катюшей. Говоря об этой Катюше, Нина не выражалась иначе как — «наша совдевушка». Весь облик этой девицы буквально дышал тем поверхностным налетом наскоро приобретенного городского лоска и модности, которыми щеголяли все «совдевушки», красившие себе губки и ногти в кроваво-красный цвет и пропадавшие в кинематографе. За Катюшей числились два коротких замужества, два развода и два аборта. Свою убогость она с легкостью замещала хамовитым, хозяйским тоном, заимствованным у своей власти. Если разговор заходил о политике или бытовых трудностях, она тотчас с запальчивостью выступала на защиту существующего строя и при этом, как исправный патефон, высыпала на слушателей целый арсенал газетных фраз и цитат из популярных брошюр. «Ее начинили, словно колбасу, вот из нее и прет», — высказался однажды Мика на своем характерном мальчишеском жаргоне. Полностью ее имя звучало — Екатерина Фоминична Бычкова, но она именовала себя Екатериной Томовной, недовольная выпавшим ей на долю отчеством. Ей было двадцать пять лет.

Однажды, когда Катюша визгливо рассмеялась над каким-то замечанием Олега и кокетливо убежала из кухни, Нина, проводив глазами ее покачивающиеся бедра, заметила с усмешкой:

— Мне кажется, Олег, что кое над кем вы без особого труда могли бы одержать полную победу.

— Благодарю вас, — сказал он с насмешливым полупоклоном. — Но едва ли поспешу воспользоваться вашим советом. Я не падок на demi-vierges [19], да еще в советской редакции.

[19] Девиц легкого поведения (*франц.*).

— Знаю я ваши гвардейские вкусы: святая невинность под фатой или кутежи с примадоннами и цыганками, и никакой середины. Не правда ли? — продолжала язвить Нина.

— Совершенно точно изволили определить, — отвечал Олег полураздраженно, — только я, к своему несчастью, не успел вкусить от кутежей с цыганками, так как прямо из Пажеского попал на фронт в тысяча девятьсот шестнадцатом году.

— Вы безнадежно опоздали, Олег. В современном обществе нет ни примадонн, ни кокоток, ни ореола невинности. Советские девушки отдаются за билеты в театры и новые туфли, но по влечению. Прогулка в загс желательна, но необязательна, а срок любви колеблется между двумя неделями и двумя-тремя годами. Ну, а так выходить, как выходила я, — так теперь не выходят.

— Благодарю за науку, — щелкнул каблуками Олег.

Вячеслав был высокий, широкоплечий юноша лет двадцати четырех с густой шапкой русых волос. Он обладал довольно правильными и даже красивыми чертами лица, но во всем его облике сквозило что-то простоватое, «бурсацкое», как говорила Нина. Его комсомольский значок служил своего рода печатью отвержения в этой квартире: при Вячеславе старались вовсе не высказываться ни на какие темы; поэтому при его появлении на кухне разговор тотчас умолкал или словно по команде переходил на незначительные мелочи. Даже у себя, в своей комнате, Нина говорила обычно своим гостям: «Мы можем сегодня говорить свободно, наш комсомолец ушел». Или напротив того: «Тише, тише, наш комсомолец сегодня дома!» А Надежда Спиридоновна доходила до того, что при его входе в кухню тотчас бросалась уносить серебряные ложки.

— Меня, кажется, трудно обвинить в пристрастии к комсомольцам, но я позволю себе вам напомнить, что партиец и вор все-таки не одно и то же, — сказал однажды Олег, которого раздражала мелочная подозрительность старой девы.

Трудно было понять, замечал ли общее предубеждение Вячеслав; Олегу казалось, что по его губам скользила быстрая усмешка, но ни разу он не вступил ни в какие объяснения по этому поводу. С Катюшей Вячеслав, по обычаю своей среды, был на «ты», но между ними, по-видимому, не было ни дружбы, ни флирта. Он останавливал ее иногда в коридоре словами: «Что, у тебя на службе уже проработали решение ЦК?». Или: «На вечер собралась? Губки-то подмазала, а доклада Кагановича, наверное, не читала!». А если оказывалось, что и доклад и решение «проработаны», он бросал небрежно: «Знаю я вас — в одно ухо впустила, в другое выпустила!».

На дом к Вячеславу ни разу не явилась ни одна девчонка — какая-нибудь выдвиженка или работница, и в этом отношении даже Нина признавала, что он жилец, безусловно, удобный, хотя манеры юноши «хамоваты». Вячеслав и в самом деле не отличался утонченными манерами, но в нем решительно не было той распущенности и зазнайства, свойственных партийной среде — людям, подобно ему вышедшим из темных неизвестных низов и призванных к общественной деятельности прежде, чем они достигли хоть какого-то культурного уровня. Мика уверял, что юный пролетарий с утра до вечера «грызет гранит науки» и что в этом деле настойчивость заменяет ему способности. Это было довольно метко, как, впрочем, и все замечания Мики. Вячеслав в самом деле с головой ушел в свои занятия, очевидно, решив во что бы то ни стало получить образование.

Он не был особенно разговорчив, но ни одного антисоветского высказывания не оставлял без яростных возражений. Говорил он теми же стереотипными фразами, что и Катюша, но в его устах они получали характер искреннего убеждения. Дворничиха одна решалась нападать

на него и журила за безбожие, называя отступником; между ними завязывались споры, но от этих споров он не переходил к враждебности, и когда у этой же самой дворничихи заболел муж, Вячеслав, к всеобщему удивлению, вызвался доставить старика в больницу.

Другой раз он с такой же готовностью донес Нине тяжелый чемодан. С этим человеком, безусловно, можно было ладить, но сблизиться с ним и подружиться — почти невозможно.

Очень скоро Дашкову стало казаться, что Вячеслав к нему присматривается. Олег слишком привык скрываться, чтобы переносить равнодушно пристальное наблюдение постороннего человека. Это начинало нервировать его.

В один вечер, стоя в кухне возле примуса, на котором он варил себе сосиски, купленные по дороге из порта, Олег раздумывал над этим ощущением, стараясь понять, как и когда оно родилось. Не было никаких точных фактов или факты были неуловимы, а что-то все-таки было!

Началось с того, что как-то раз Мика вбежал в кухню и сказал, обращаясь к Олегу: «Запутался в логарифмах, спасайте погибающего!». Олег с готовностью пошел за ним и уже по выходе из кухни сообразил, что все произошло в присутствии Вячеслава, а потому некстати — тому могло показаться странным, что Мика просит слесаря объяснить алгебраическую задачу.

Другой раз он, также в кухне, стоя возле примуса, читал по-французски маленький рассказ Додэ из библиотеки Надежды Спиридоновны, которая ему и Нине, в виде исключения, разрешала брать свои книги. В это время Нина зачем-то позвала его, он ушел, оставив открытой книгу, а когда вернулся, увидел, что Вячеслав разглядывает ее.

И был еще случай: к Нине пришла старая графиня Капнист; Олег и Нина вышли в кухню ее провожать, и пока графиня и Нина обменивались прощальными фразами, Олег стоял, вытянувшись в струнку и держа обеими руками на уровне ключиц пальто графини. Прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и с почтительным полупоклоном, пропуская ее в дверь, по военному щелкнул каблуками: «Честь имею кланяться». Когда он отвернулся от двери, то увидел, что Вячеслав с некоторым удивлением наблюдает.

Быть может, было еще что-нибудь, не ускользнувшее от внимания Вячеслава. Олег слишком хорошо знал, к чему может привести скрытая враждебность при строе, который поощряет всякие доносы и выслеживания, хотя бы они вырастали на почве личной неприязни, ссоры или ревности. Он размышлял над этим, когда в кухню как раз вошел Вячеслав и начал разжигать примус за соседним столом. Молчание начинало принимать напряженный характер.

— Тут у ворот сейчас потешная сцена вышла, — первым заговорил Вячеслав, — какая-то гражданка, увесистая такая, растянулась во весь рост. Я бросился ее поднимать, а она налегла всей тяжестью мне на простреленную руку; так я подумал — переломает и вывернет скорее; она снова бухнулась, разлила сметану и ну ругать меня на чем свет стоит.

— У вас прострелена рука? Вы были на войне? — спросил Олег.

— Да, вот здесь, в локте, пробила меня белогвардейская пуля под Перекопом.

— Вы были под Перекопом? — быстро спросил Олег. — Я потому только спрашиваю, что вам на вид не больше двадцати пяти лет.

— Двадцать четыре. Я шестнадцати лет пошел добровольцем.

«Ах, ты, гаденыш!» — подумал Олег и закусил губу.

— А вы на каком фронте были ранены? — спросил Вячеслав.

Олег почувствовал, будто к нему прикоснулись электрическим током.

— Я? Я тоже в Крыму... Я был завербован белыми.

— Вы? Завербованы? А вы разве не... Я думал — вы бывший офицер.

— Я — бывший офицер? Откуда это у вас такое странное предположение? Я слесарь Севастопольского завода...

Он хотел прибавить: «...и мои документы подтверждают это», но ему противно было дальше плести эту фальшь. Вячеслав молча смотрел ему в лицо, как будто не находил нужным поддерживать подобный разговор, а может быть, вникал в какую-то мысль, внезапно пришедшую в голову... Олег взял вилку и, выуживая из кастрюли сосиски, проговорил с равнодушным видом что-то по поводу их цен и качества, вышел из кухни.

Встретив Мику, Олег спросил, не говорил ли он о нем с Вячеславом, не проговорился ли случайно. Мика даже обиделся:

— Разумеется, нет! А что, Вячеслав догадывается?

— Кажется, он начал что-то подозревать.

— И немудрено! Из вас офицерское так и лезет наружу — все эти ваши «так точно», «здравия желаю», «я вам уже докладывал»... На вас достаточно один раз взглянуть и сразу понять, что вы за птица. Уж если Вячеслав вас раскусил, то опытный гепеушник в два счета накроет. Вы должны следить за собой.

— Ты прав, мой мальчик. Но это не так-то просто. Привычка — вторая натура. Да, неприятно было бы. — Олег поморщился. — Начнут копаться: отец, брат, Белая армия... Неприятно.

Олег сел за свои сосиски.

— Вам бы не надо теперь ссориться с Вячеславом, — посоветовал Мика. — Вообще как-то цеплять его.

— Я не думаю, чтобы он способен был донести из злобы. Скорее из превратно понятого чувства долга. Ведь там, на партийных собраниях, им каждый день вбивают в головы, что шпионить и доносить — первейший долг каждого гражданина.

— Вы так спокойно обо всем этом рассуждаете, — восхитился Мика. — Когда я смотрю на вас, во мне просыпается какой-то другой человек. Я перестаю с благоговением думать о монашестве, начинаю завидовать вам. Помните, как у Пушкина:

> Как весело свою провел ты младость:
> Ты видел двор и роскошь Иоанна.
> Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
> А я по келиям скитаюсь, бедный инок...

У Олега заблестели глаза:

— Да, Мика, из тебя бы получился хороший офицер... Но не завидуй мне. Жалкая участь человека, преданного всеми. Да, я боролся за Россию. Да, мы бесстрашно шли в бой. Но те, кто видел, как мы умирали на фронте, дали себя распропагандировать, пошли на поводу у мерзавцев. С нас, офицеров, срывали погоны, нас расстреливали, словно каких-нибудь предателей или дезертиров. И это — за окопы, за битвы, за раны — так нас отблагодарили! А теперь те из нас, кто чудом уцелел, томятся в лагерях... За что? За доблесть, за любовь к Родине, за верность долгу и присяге! Ты завидуешь моим воспоминаниям! А я хотел бы вырезать их из сердца, да не могу. Они преследуют меня днем и ночью, с ними невозможно жить!

Олег бросил вилку о тарелку, вскочил из-за стола и стал шагать по комнате из угла в угол, словно тигр, запертый в клетке. Наконец, он понемногу начал оттаивать. Остановился, вздохнул глубоко:

— Довольно об этом. Ты уроки сделал? Давай я проверю задачи.

Глава десятая

> ***Верь, несчастней моих***
> ***молодых поколений***
> ***Нет в обширной стране...***
> *А. Блок.*

Déclassé [20]. Раньше Олег не вполне понимал значение этого слова, только теперь оно стало ясным: выбит из жизни, выбит из привычной среды, все идет мимо. В последние дни он начал замечать, что тоска стала забирать его глубже, чем раньше. В лагере, где он был измучен непривычным физическим трудом и всегда полуголодный, где каждый его жест был под контролем негодяев, — самообладание ни разу не изменило ему; нервная энергия поддерживала его истощавшиеся с каждым днем силы. Эту энергию вырабатывал, быть может, инстинкт самосохранения, но, так или иначе, он жил в непрерывном нервном подъеме, стараясь не заглядывать внутрь своей души, чтобы не предаться отчаянию. Теперь же, когда обстоятельства его жизни изменялись малу-помалу к лучшему, когда он получил какой-то минимум комфорта и отдыха и возможность располагать двумя-тремя часами свободного времени, тоска его, задавленная усилиями воли, проснулась и заговорила, словно вырвалась на волю. И вместе с ней он ощущал невероятное утомление, бессонницу и потерю сил. Он не хотел обращаться к врачу, понимая, что это была естественная реакция организма после чрезмерного напряжения всех сил, а между тем состояние это было мучительно. Приходя со службы, он бросался на диван с ощущением странной разбитости во всем теле — каждое движение стоило ему усилий, и не было желания приняться за что-нибудь: встать, заговорить, пойти куда-нибудь; да и куда бы он мог пойти? Друзей и знакомых у него теперь не было; общественные места — кинотеатры, рестораны, красные уголки — были приспособлены к вкусам и требованиям новой среды, которая была ему чужда и противна. Часто, очень часто бродил он по городу и как будто не узнавал его. Улицы были насквозь чужие, дома, силуэты, лица — все изменилось. Ни одной изящной женщины, ни одного нарядно одетого ребенка в сопровождении няньки или гувернантки. Исчезли даже породистые собаки на цепочках. Серая, озабоченная, быстро снующая толпа! Ни поданных ландо, ни рысаков с медвежьей полостью, ни белых авто, ни даже извозчиков, — гремят одни грузовики и трамваи. В военных нет ни лоска, ни выправки — все в одних и тех же помятых рыжих шинелях, все с мордами лавочников, и ни один не поднесет к фуражке руку, не встанет во фрунт, не отщелкает шаг. Хорошо, что они не называют себя офицерами — одни их вид опорочил бы это звание! Вот Аничков дворец без караула. Вот полковой собор, но нет памятника Славы из турецких пушек. Вот Троицкая площадь, но — где же маленькая старинная часовня? Вот городская ратуша, но часовни нет и здесь. В Пассаже и Гостином дворе вместо блестящих витрин зияют пустые окна... Цветочных магазинов и ресторанов нет вовсе. А вот здесь была церковь в память жертв Цусимы... Боже мой! Да ведь все стены этого храма были облицованы плитами с именами погибших моряков, висели их кресты и ордена... Разрушить самую память о такой битве! Еще одно преступление перед Родиной. Еще одна обида.

Душа города — та, что невидимо реет над улицами и отражается в зданиях и лицах, — она уже другая. Этот город воспевали и Пушкин и Блок — ни одна из их строчек неприложима к этому пролетарскому муравейнику. И как не вяжется с этим муравейником великолепие зданий, от которых веет великим прошлым и которые так печально молчат теперь!

---

[20] Деклассированный (*франц.*).

Вот вам особа женского пола из автомобиля высаживается. Язык не поворачивается назвать ее дамой; кокотка — и то много чести. О, да она с портфелем, и шаг деловой: вон с какой важной миной вошла в учреждение. Бывшая кухарка, наверное, — теперь ведь каждая кухарка обучена управлять государством. А вот еще портфель — наверно, студент нынешний, второй Вячеслав Коноплянников А давно ли Белый в своих стихах о Петербурге изобразил портрет студента — «я выгляжу немного франтом, перчатка белая в руке...». До чего много этих «пролетариев». Легион. На бред похоже. «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром», — вот они. Они все здесь, а этот шум — их чугунный топот. Не зря пророчили поэты, но им не внимали вовремя. Из заветных творений, наверное, скоро не сохранится ничего. И в самом деле колыхнется поле на месте тронного зала, а книги уже теперь складывают кострами. Завернули же Олегу пшено в страницу из Евангелия. Остается появиться белому всаднику или Архангелу с трубой. «Я, может быть, начинаю с ума сходить? Последствие черепного ранения?»

Несколько раз он заходил в церковь на углу Моховой. Тянуло туда не потому, что хотелось молиться, — со дна опустошенной души не подымалось молитв, но обстановка храма, давно знакомая и родная, она одна, казалось, не изменилась за эти страшные десять лет. И напоминала ему детство, переносила в прошлое.

В один из своих «выходных» дней он стоял утром в храме, погруженный в печальные думы, и вдруг заметил, что в боковом приделе идет исповедь: как раз в эту же минуту церковный хор грянул «Дева днесь». Тут только он вспомнил, что этот день — канун Рождества, и тотчас целый рой воспоминаний детства затопил теплой волной. Охватило желание подойти к Причастию, как подходил мальчиком, когда вместе с другими кадетами пел на клиросе и выносил свечи из алтаря. «Я словно вывихнутый. Быть может, Причастие, как ничто другое, вернет мне силы», — подумал он и уже хотел присоединиться к исповедникам, но... Точно страшное земноводное на дне прозрачного бассейна зашевелилось в нем воспоминание, с годами побледневшее, но не изгладившееся. Воспоминание о проявленной им однажды жестокости...

Это было в разгар гражданской войны. Отряд, которым командовал Олег, проходил по только что занятой территории, ликвидируя последние очаги сопротивления. Они поравнялись со старым поместьем и Олег увидел аллею и две белые колонны у ворот — все, что так напоминало ему отчее гнездо. Внезапно две старые женщины — по виду служанки — с криком выбежали из ворот и, признав в нем начальника, бросились к нему. Ломая руки и причитая, они нескладно рассказывали, что какие-то неизвестные люди, безобразничавшие в поместье, перепились и начали насиловать горничных, а сейчас поволокли за руки барышню... Олег тотчас устремился со своим отрядом во двор поместья. Отдав приказ оцепить дом, он в сопровождении нескольких солдат ворвался в комнаты. Впоследствии он неизменно вздрагивал от отвращения, вспоминая ту разнузданную картину грабежа, насилья и пьянства, которую он застал в господских комнатах и тех полулюдей-полуживотных, с которыми ему пришлось сцепиться. Когда позднее он вышел из дома на крыльцо и оглядел уже окруженных его солдатами и обезоруженных «красных», он почувствовал, как мутная злоба душит его за горло. Никогда до сих пор он не чувствовал ее ни в одной битве. В тот день эту злобу усугубил дошедший до него слух, будто бы Нина, оставшаяся с ребенком в имении отца, была окружена там толпой, явившейся с полномочиями от сельсовета; люди эти убили дубиной ее отца и, по слухам, изнасиловали ее... Одна мысль, что так могли поступить с женой его брата, кормившей новорожденного сына, приводила его в бешенство.

Через полчаса, выезжая из имения, Олег увидел, как осужденных

им людей вели через аллею для выполнения приказа. Они знали, зачем их ведут, их лица больше не были ни красными, ни безобразными, а только злобными и угрюмыми; они уже протрезвели. Особенно запомнилось Олегу одно лицо — лицо юноши его лет. Еще безусый паренек, смертельно бледный с расширившимися, полными ужаса глазами. Вспоминая лицо этого юноши, он не мог не чувствовать, что был жесток. Рассказывать все это священнику было бы слишком тяжело. Да и опасно. Он не верил теперь священникам. Чекист в рясе мог обречь человека на смерть. А над Олегом они могли затеять гнусный «показательный» процесс, выставляя перед всеми жестокость белого офицера. Они не дали бы труда вникнуть в его чувства, в то, как гибель семьи озлобила его. Им никогда не узнать, как он, белый офицер, любил солдат, как еще мальчиком любил денщиков отца и брата и потом своего денщика. Он мечтал бы, даже теперь, встретиться с кем-нибудь из солдат своего взвода; да ведь эти же солдаты и спасли его, когда он лежал в бреду. Но *товарищи* ничего не захотят узнать, они будут только кричать о том, что он приказал расстрелять девять человек, что он «белогвардейское охвостье» и «недобитая контра» — любимые выражения советской печати, пересыпавшие тексты даже такого официального органа как «Ленинградская правда».

Олег издали видел, как вынесли Святые Дары, и слышал чудную молитву, которую помнил с детства наизусть; она кончалась словами — «не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзанья Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

«Господи, я был честным боевым офицером, а вот теперь не смею приблизиться, как разбойник. И нет мне утешения даже здесь».

Дома он застал Нину одну; они редко разговаривали задушевно, каждый замкнувшись в своем горе. Но в этот раз, весь под впечатлением пережитого в храме, он сказал:

— Говорят, советский служащий имеет право на отпуск после того, как проработает сколько-то месяцев. Если против ожидания я продержусь этот срок и получу отпуск, поеду туда, где был наш майорат и попробую найти могилу мамы.

Нина с удивлением взглянула на него:

— Что вы, Олег! Безумие — показываться там, да еще с расспросами что и как. Ведь вас признают.

— Крестьяне не выдадут меня. А где могила вашего отца?

— В Черемухах, около деревенской церкви. Но я туда не поеду, нет!

— Как это вышло, Нина, что вы оказались в Черемухах, а не с моею матерью?

— Отец увез меня в Черемухи, когда узнал, что Дмитрий у белых. Он говорил, что ему спокойней, когда его дети с ним. Кто мог знать, как сложатся события.

— Александра Спиридоновича арестовали там же, в имении?

— Да. Нагрянули чекисты и комиссар, латыш. Требовали, чтобы отец сдал немедленно оружие, уверяли, будто бы он сносится с белыми, которые стояли на ближайшей железнодорожной станции. Помню — обступили Мику и стали допытываться, не зарывали ли что-нибудь отец и сестра. А Мике было всего четыре! Слышим он отвечает: «Зарывали!» А они ему: «Веди». Вот он их и повел, а мы с отцом, стоя под караулом, со страхом следили через стеклянную дверь; мы боялись, что он приведет их к месту, где у отца были зарыты сабля и наган. Но оказалось, что он их повел к могиле щенка под кленами. Никогда у меня не изгладятся из памяти эти минуты... Отец... Его крупная фигура, закинутые назад седеющие кудри и та величавая

осанка, с которой он объяснялся с чекистами. Он отказался выдать им ключи от винного погреба... Уж лучше было бы не препятствовать...

— Ваш батюшка, очевидно, опасался, чтобы они не перепились и не начали бесчинствовать.

— Так вы, значит, знаете? — вырвалось у нее.

— Я? Нет... ничего не знаю...

Прошла минута, прежде чем она опять заговорила:

— Кучер и садовник отбили меня — все-таки успели спасти, но отец уже был мертв... Из-за них... Из-за этой пьяной банды я потеряла и отца и ребенка. Тогда... от этого ужаса... от страха... у меня разом пропало молоко.

Он обратил внимание, какой трогательной нежностью зазвенел ее голос при слове «молоко».

— Кормилицы под рукой не было... пришлось дать прикорм... а ему было только три месяца... И вот — дизентерия. — И она уронила голову на руки, протянутые на столе.

Он подошел и поцеловал одну из этих, беспомощно уроненных бессильных рук.

— Вы вот сейчас, наверное, думаете, — проговорила она, поднимая лицо. — «Она не оказалась русской Лукрецией и все-таки осталась жить...».

— Что вы, Нина! Я не думаю этого! Нет! Ведь тогда еще был жив ваш ребенок — имея малютку, разве смеет мать даже помыслить... и потом вас успели спасти. А вот что мне прикажете думать о самом себе — меня, князя Рюриковича, Георгиевского кавалера, офицера, выдержавшего всю немецкую войну, меня хамы гнали прикладами и ругали при этом словами, которые я не могу повторить. Нина, я помню один переход. Я отставал, у меня тогда рана в боку не заживала — она закрывалась и снова открывалась... конвойный, шедший за мной, торопил меня... потом поднял винтовку: «Ну, бегом, падаль белогвардейская, не то пристрелю, как собаку!» И я прибавлял шаг из последних сил...

Теперь она посмотрела на него с выражением, с которым он перед этим смотрел на нее.

— Не будем говорить, — прошептала она, утирая слезы.

— Не будем.

И каждый снова замкнулся в себе.

В следующий свой выходной день Олег с утра вышел из дома. Накануне он получил «зарплату» (так теперь называлось жалованье) и в первый раз мог располагать деньгами по своему усмотрению, покончив с уплатой долгов Марине и Нине. Пока долги не были сполна уплачены, он тратил на себя ровно столько, чтобы окончательно не ослабеть от голода. В это утро, сознавая себя впервые свободным от долгов, он решил, следуя советам Нины, пойти на «барахолку» и поискать себе что-нибудь из теплых вещей, так как до сих пор ходил по морозу в одной только старой офицерской шинели с отпоротыми погонами; в этой шинели он проходил все шесть лет в лагере и выпущен был в ней же. Январский день, морозный, яркий, солнечный, искрился жизнерадостностью русской зимы, но эта радость не трогала Олега. Войдя на «барахолку» он тотчас попал в движущуюся, крикливую, беспорядочно снующую толпу. Выискивая фигуру с ватником или пальто, он ходил среди толпы, когда вдруг до слуха его долетел окрик:

— Ваше благородие, господин поручик!

Совершенно невольно он обернулся и увидел в нескольких шагах от себя безногого нищего, сидевшего на земле около стены дома. В нем легко было признать бывшего солдата, и даже лицо его показалось как будто знакомо Олегу; впрочем, он так много видел подобных лиц — типичное солдатское лицо. Нищий смотрел прямо на него, и не было сомнения, что этот возглас относился к нему. Олег подошел.

— Из какого полка? — спросил он. И в ту же минуту подумал, что безопаснее было бы вовсе не подходить и не откликаться на компрометирующий оклик. Если бы говоривший не был калека — он так бы и сделал.

— Лейб-гвардии Кавалергардского, Ефим Дроздов, из команды эскадронных разведчиков! А вы — господин поручик Дашков? Я с вами на рекогносцировки хаживал.

— Тише, тс... смеешься ты надо мной, что ли?

— Никак нет, ваше благородие. Очень даже рад встрече. Поверите, даже дух захватило, как вас увидел. А я ведь вас в усопших поминал, недавно еще записочку подавал за вас и вашего братца. Замертво ведь вас тогда уносили в госпиталь.

— Да, я тогда долго лежал, ранение было тяжелое, но с тобой, я вижу, обошлось еще хуже, бедняга. — И Олег наклонился, чтобы положить ему в шляпу десятирублевую бумажку.

— Очень благодарен, ваше благородие. Пусть Бог вас вознаградит за вашу доброту! А меня ведь в том же бою, что вас, немногим позже хватило; думал, помру, а вот до сих пор маюсь. Теперь бы уж я и рад, да смерть про меня забыла.

— Чем же ты живешь, мой бедный?

— Да промышляю понемногу — то милостыней, то гаданьем; книга тут мне одна вещая досталась от знакомого старичка; по ей судьбу прочитать можно. Сяду, раскрою — подойдут, погадаю, заплатят. Не погадать ли вам, ваше благородие?

— Нет, благодарю, я свою судьбу и сам знаю. — И Олег усмехнулся с горечью.

— А то перепродам что, — продолжал солдат, — вот и сейчас товарчик хороший есть, как раз бы для вас.

— Что именно?

— Да товар такой, что на людях не покажешь, за него пять лет лагеря по теперешним порядкам. Я уже много раз приносил его с собой на рынок, да боязно и предлагать. Не знаешь, на кого нападешь, на лбу у человека не написано. Уж очень теперь много шпиков развелось, ваше благородие.

— Оружие?

— Револьверчик, хороший, новенький,— не желаете ли? Сосватаю.

Словно от капли шампанского теплота разлилась по жилам Олега — как давно уже он не держал оружия, а ведь он с детства привык считать его символом благородства, власти и доблести. Первое время, после того как он лишен был права носить оружие, ему казалось, что у него отняли часть его тела, и вот теперь — такая редкая возможность!

— Пять лет лагеря — совершенно верно! А за сколько продашь?

— Да сколько дадите, ваше благородие. Цены на его я не знаю, никогда до сих пор не продавал. И теперь не слукавлю — хочу сбыть с рук, больно опасно держать. Ну, так чего я буду запрашивать? Может, он вам и беду принесет. Сколько не пожалеете, столько и дайте.

Олег вынул портмоне.

— У меня при себе девяносто, довольно тебе?

— Премного благодарен, ваше благородие.

— Бери, только помни, не проговорись никому, что ты меня видел и что я здесь. И о револьвере тоже. Слышишь? Полагаюсь на твою солдатскую честь.

— Так точно, ваше благородие, — и солдат протянул ему оружие, обернутое в тряпку.

— Я не могу здесь развернуть его. Он заряжен, в порядке он?

— Да, уж будьте благонадежны. Заряжен. И запасные патроны тут же завернуты.

— Прощай. — Олег протянул было ему руку, но солдат быстро поднес свою к истрепанной кепке, похожей на блин. И Олег невольно ответил ему тем же жестом, который в нем был настолько изящен, что разом изобличил бы его гвардейское прошлое опытному глазу. После этого он, не оглядываясь, быстрыми шагами ушел с рынка, говоря себе, что осторожность требует удалиться как можно скорее от места неожиданной встречи. Чтобы проверить, не следят ли за ним, он свернул в проходной двор и, только убедившись, что никто его не сопровождает, направился к дому. «Теперь, — думал он, — я уже не попаду живым в их руки!»

Письменного стола у Олега не было и он невольно задумался, где будет держать револьвер, не имея своего угла. Только днем, когда Мика ушел, он заперся в комнате, чтобы осмотреть револьвер и, убедившись в его полной исправности, перезарядил вновь. Он многое вспомнил, пока возился с револьвером. Нерешительный стук в дверь прервал теплые мысли. Сунув поспешно револьвер под подушку дивана, на которой он спал, Олег подошел, чтобы отворить дверь, и увидел на пороге незнакомую девушку в пальто и меховой шапочке, всю засыпанную снегом, свежее личико было румяное от мороза, во взгляде ее он заметил нерешительность.

— Чем могу служить? — спросил Олег, беря руки по швам.

Ему одного взгляда на эту девушку было достаточно, чтобы определить ее принадлежность к несчастному разряду «бывших», и это тотчас освободило всю его изысканную вежливость.

— Простите, я не туда попала... Я искала Нину Александровну Дашкову.

В сердце у Олега защемило, когда он услышал свою фамилию, произнесенную вслух этой милой девушкой.

— Нина Александровна дома. Сию минуту я провожу вас к ней. Если желаете снять пальто, пожалуйста, здесь, — сказал он, выходя к ней в коридор, а сам еще раз мельком взглянул на нее, потому что она показалась ему замечательно хорошенькой. В полутемном коридоре на него серьезно взглянули большие глаза из-под длинных ресниц, на концах которых повисли снежинки.

— Ася, вот неожиданность! Войдите, милая, — воскликнула Нина, появляясь на пороге.

«Ася! Милое тургеневское имя!» — подумал Олег. Он вернулся, было, в свою комнату, но револьвер более не занимал его. Не вытерпев и четверти часа, он придумал какой-то предлог и направился к Нине, мимоходом соображая, что там еще сидит Марина Сергеевна, которая любит его и наверняка удержит в комнате. Так и случилось. Его представили Асе, и через пару минут он уже участвовал в общем разговоре, незаметно посматривая на Асю. Что с ним случилось? В нем как будто проснулся интерес к благородной посадке головы, к длинной и горделивой, как стебель лилии, шее, к голубоватым жилкам на висках, к глазам, мерцающим из-под ресниц... Ему понравилось, что у нее коса — так приелись уже стриженные женские головы и бритые затылки! Он с восторгом отметил у Аси тонкие запястья и тонкие щиколотки. Посмотрев на Нину и Марину, увидел их лица изношенными, даже банальными — осенними, рядом с этим свежим весенним цветком. В лице Аси не было ничего неестественного, ненакрашенные губы не казались бледными, незавитые волосы сами по себе складывались в красивую прическу, чудесная чистота линий сквозила в рисунке лба, губ и носа, ресницы бросали пушистую тень на белизну кожи. И что самое милое — во всем облике Аси дышало по-детски наивное незнание собственной привлекательности.

Он отметил, что платье ее спускается ниже колен, хотя последняя мода разрешала открывать их. Она сидела одновременно очень изящно и скромно — дико было бы вообразить ее в развязной позе или с папиросой. А ведь теперь даже в лучших семьях упадок и распущенность. Десять лет назад он бы не удивился, встретив такую девушку, но теперь... Откуда она могла взяться такая — теперь?!

Разговор шел о родителях Аси — отец, полковник Бологовский, расстрелян красными в Крыму, мать умерла от сыпняка во время гражданской войны. Стали говорить о высланном дяде Сереже. Траурный тон разговора еще больше подчеркивал белоснежность девушки. «Лилия на гробнице», — подумалось Олегу, как вдруг лицо Аси засветилось счастливой улыбкой:

— Ой! Воробьи-то!

Все с невольной улыбкой посмотрели сначала на нее, потом на окно, где за стеклом, на карнизе, суетились, галдели и дрались воробьи, урвавшие откуда-то не то сухарик, не то еще что-то.

Ася вдруг покраснела:

— Бессовестная я! Дядя теперь страдает, а я смеюсь. Сама не знаю, почему я такая!

— Напрасно, — сказал Олег. — Ваш дядя только радовался бы, услыша ваш смех.

— Да, дядя очень любит мой смех, — сказала Ася вслух. — Однажды в апреле мы гуляли вокруг Арсенала в Царском Селе, а там кусты ольхи стояли, все осыпанные розовыми почками. Они были такие настороженные, готовые вот-вот распуститься. Я так и кинулась их целовать, а дядя смеялся и говорил, что я сама будто весенняя почка.

Ее воспоминания передались Олегу. Он вообразил себе лес в имении отца, себя юношей и своего пойнтера Рекса. Как хороша бывала весна в березовых перелесках, и как радовали его тогда талый снег, первые фиалки, пробивающаяся робкая трава... Куда девалось все это? Есть ли оно хоть где-нибудь?..

— Я тоже люблю Царское Село и особенно Знаменскую церковь, — сказала Марина и покосилась на Олега своими черными глазами, но не встретила его ответного взгляда — Олег увлеченно смотрел на Асю.

— Знаменская церковь особенная, — подхватила Ася. — Мы всегда туда заходим из парка, я приношу ветки и листья и ставлю свечки.

— И молитесь о спасении России. Мне Сергей Петрович рассказывал, — добавила Нина.

Щеки Аси вспыхнули, будто ее уличили в чем-то постыдном.

— Зачем он! Нельзя рассказывать о таких вещах!

Марина вновь взглянула на Олега и с досадой отметила, что он так и не может оторваться от Аси.

— Разве это предосудительно — молиться о России? — сказал Олег очень мягким голосом. Таким мягким он давно уже не говорил.

— Дядя Сережа любит говорить о таких вещах шутливо. Мне это не нравится, — сказала Ася. — У меня душа, кажется, живет не внутри, а где-то снаружи, очень близко. Ей бывает больно оттого, отчего, может быть, не должно быть больно... Я, кажется, опять что-то не то говорю...

— Ах вы, девочка моя милая! Душа живет снаружи, какой в самом деле тяжелый случай! — засмеялась Нина, привлекая к себе Асю и целуя ее.

Олег тоже улыбался. Марина вдруг ревниво подумала, что впервые видит его улыбку.

Нина попросила Асю что-нибудь сыграть. Та не стала ломаться и послушно пошла вслед за всеми к роялю в соседнюю комнату. Олег нарочно слегка отстал, чтобы успеть увидеть ее походку и фигуру, легкую, летучую. В комнате он сел совсем близко к роялю, но когда Ася стала играть, Олег так разволновался, что пересел в темный угол комнаты на диван. Он узнал мелодию «Warum?»[21] Шумана. Потом Ася играла отрывок из «Крейслерианы», а потом «Арабески», но для Оле-

[21] «Зачем?» (*нем.*).

ла все эти звуки сплетались по-прежнему в грустно повторяющийся вопрос: Warum? Warum? Warum?

Зачем? Зачем все так сложилось? Зачем была вся его жизнь, по которой словно бы проехало слепое колесо. Боже, что «они» сделали с его жизнью! Он не знал, что в душе его еще есть уголок, в котором все еще так живо — родители, люди, дети, кошки, собаки, дамы, военные... Музыка достигла этого потаенного уголка и отворила его. И все они, оказавшиеся еще живыми, выскочили и закружили вереницами по развалинам его души. И ожила в нем та мечта, та затаенная мечта, не связанная еще ни с чьим образом, неясная, но уже смутно предчувствуемая — та, которая реяла над ним незримо, покуда кровавый туман не застлал собой всю его жизнь. О, зачем все это так сложилось!

Он слушал и не сводил глаз с чистого профиля Аси. Несколько раз он пробовал отвести глаза. И он не замечал, что Марина в свою очередь не спускала с него взгляда, в котором он мог бы прочесть многое, если б хотел. Когда Ася кончила на каком-то обрывистом прекрасном аккорде и встала, его охватило отчаяние, что сейчас она уйдет и он снова останется в той же холодной пустоте, из которой не было выхода.

Ася подошла к Нине и подставила ей для поцелуя свой лоб. Он слышал, как Нина говорила:

— Тот же лиризм, что у Сергея и редкое туше.

Когда он подавал ей пальто и надевал ботики, он чувствовал, что руки его дрожали почему-то, и не мог совладать с непонятным ему самому волнением. Уже у самой двери Ася повернулась к Нине и, внезапно краснея, сказала:

— Бабушка просила вам передать, чтобы вы непременно навестили ее и что горе легче переносить вместе.

По-видимому, она только теперь собралась с духом сказать то, зачем ее прислали.

— Передайте Наталье Павловне, что я приду и что я очень тронута и благодарна за приглашение и за то, что она отпустила вас ко мне, — сказала Нина, целуя Асю, а Олегу осталось только сказать: «Честь имею кланяться» и закрыть за ней дверь. И ему тотчас показалось, что в комнате сделалось темнее, как только не стало светлого лба и глаз, похожих на фиалки.

— Не помните ли вы, в каком это романсе Вертинский поет о ресницах, в которых «спит печаль»? — спросил он Нину.

Она отфыркнулась:

— Ох, уж эти мне гвардейские вкусы! Романсы писали гении — Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, а вы мне будете припоминать Вертинского! — и ушла к себе с Мариной.

— Ну вот! Я так и знала! — воскликнула Марина, как только они оказались вдвоем. — Я так и знала, что он не придет сюда; ему уже не интересно с нами, когда она ушла!

Нина с удивлением взглянула на подругу.

— Да, да — она понравилась ему! Неужели ты не заметила? Ненаблюдательна же ты! Он, всегда такой мрачный, сдержанный, был так разговорчив, так оживлен! Его глаза поворачивались за ней и только из приличия он обращался иногда к тебе и ко мне. А как он смотрел на нее, когда она играла, как подавал ей пальто, как надевал ботики... Павлин, который распускает свой хвост!

— Да, в самом деле... Пожалуй, что-то было...

— Вот видишь! А Вертинский? Эти ресницы... Господи! Неужели еще это досталось на мою долю!

— Марина, будь же благоразумна! Чего ты хватаешься за голову?

Ничего серьезного еще нет. И потом... для меня это новость, что ты мечтаешь о взаимности... А муж? Разве ты решишься на все?

— Нина, тебе тридцать два года, а рассуждаешь ты как в восемнадцать. Конечно, если я замечу в нем хоть искру чувства, я... пойду на все! Не говори мне о необходимости сохранять верность моему Моисею. Я не рождена развратницей и могла бы быть верной женой не хуже других, но теперь, когда жизнь так надругалась надо мной, когда я волею судеб оказалась за стариком — я не хочу думать ни о долге, ни о грехе. Пропадай все, — она махнула рукой. — Все, за минуту счастья! И вот только что я стала надеяться, только начало возникать что-то задушевное, как вдруг эта Ася! А ты, словно нарочно, еще удерживаешь ее, усаживаешь играть... Обещай мне, клянись на образ, что ты сделаешь все, чтобы он не увидел ее больше, что ты не будешь приглашать ее и ни в каком случае не представишь его старухе Бологовской. Обещай!

— Успокойся, Марина, все будет, как ты хочешь, он будет твоим, я уверена.

— Полюбит меня, ты думаешь?

— Чувства его предсказывать не берусь, а покорить его, я думаю, труда не составит... Это верно, что нам с тобой не восемнадцать лет и мы отлично понимаем, что молодой мужчина после заточения, где его морили без женщин шесть лет, вряд ли устоит против искушения... А привязать его потом к себе всегда в твоей власти.

— Господи, это все так поворачивается, точно я какая-то Виолетта, которая соблазняет неиспорченного юношу. Но разве я такая? Нина, скажи, ведь я же не такая?

— Ты не Виолетта, да и он не мальчик, — сказала Нина.

Когда Марина ушла, Нина быстро прошмыгнула к роялю, в знаменитую «проходную»; эта комната, давно не ремонтированная, с грязными обоями и грязным потолком, холодная и мрачная, эта разнородная, тяжелая мебель из числа той, которая не уместилась к Надежде Спиридоновне, пыльные бархатные портьеры и китайские вазы с сухими желтыми травами, которым, наверное, было лет двадцать, но которые старая тетка запрещала выбрасывать, — все это было какое-то затхлое, ветхое, угрюмое. Но не это заставило сжаться сердце Нины — здесь все слишком напоминало Сергея Петровича, с которым она проводила около рояля так много времени по вечерам, когда пела ему вновь разученные романсы и пыталась аккомпанировать, если он брался за скрипку. Сколько здесь было переговорено о деталях исполнения и о музыке вообще! Казалось бы, комната не располагала к вдохновению, но они приучили себя не замечать обстановки. Это он подарил ей маленькую лампочку, которая стоит на рояле, и сам подвел к ней электричество. Часы за роялем были самыми лучшими в ее безотрадном настоящем, теперь и они отняты. Он теперь без музыки — как он по ней тоскует! Наверное, больше, чем по любимой женщине.

Посидев некоторое время за роялем с опущенной головой и руками на коленях, она вздохнула и заставила себя взяться за ноты — нельзя было предаваться унынию! Ее с утра тянул к себе один романс, слышанный накануне; весь день он заполнял ее воображение. Она положила руки на клавиши и стала напевать. Спела раз, спела еще... Голос звучал лучше и лучше, но почему-то она никак не могла сосредоточиться и войти в эту вещь. Из-за текста и музыки упорно поднимались другие звуки и другие слова. Она не могла больше противиться их обаянию, она вскочила и, порывшись на пыльной этажерке, вытащила старые, пожелтевшие листки, поставила на пюпитр, расправила и запела. И даже голос ее задрожал от прорвавшегося откуда-то из глубин чувства, и слезы зазвенели в нем:

Я помню чудное мгновенье —
Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!

Она пела и скоро почувствовала, что вся находится под впечатлением светлого образа. Углы в этой комнате были всегда темные, там водились пауки; бывало, даже жутко иногда, когда она оставалась одна, портьеры как будто шевелились, и темнота выползала из-за них. Кроме того, здесь всегда было холодно, вот и сейчас Нина вся слегка вздрагивала, но, может быть, это не от холодв, а просто от увлечения — это тоже бывает: слишком хороша эта тонкая, нежная романтика слов и музыки...

Бедный Олег! Ведь и он мог бы сказать о себе: «В глуши, во мраке заточенья, тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...» Бедный Олег! Он еще молод, и это так понятно, что у него сердце загорелось, когда он смотрел на юное, прелестное создание. Его очарование Асей было гораздо лучше и чище, чем то, чего от него хотела Марина. Там было что-то от духа, а здесь... Зачем же насильно обламывать его, когда он и так уже покалечен жизнью? Она вспомнила свой разговор с Мариной, и он вдруг показался ей таким пошлым сейчас, когда она была как бы вознесена над землей, когда музыка окрылила, утончила ее, когда она почувствовала себя втянутой в красоту этого чувства... «Кажется, я ненадежная союзница», — подумала она.

Олег слушал ее пение из своей комнаты и, чтобы лучше слышать, открыл дверь и стоял, прислонясь к косяку. «Как она замечательно исполняет,— думал он,— это все прямо ко мне». И он весь отдался во власть ощущений, которые все острее и острее сжимали грудь. «Нет, мне лучше всегда быть занятым, на ненужной и скучной работе, но занятым. В свободное время меня одолевают мысли и воспоминания, а они для меня, как острие ножа», — думал он и даже обрадовался, когда Нина кончила петь и все стали собираться спать. Ночь не принесла ему успокоения: в темноте и тишине, установившейся в доме, ему мерещилась Ася. В ее образе светились все те чистые земные радости, которых он был лишен. Он видел ее перед собой, как живую: видел ее лицо, глаза, волосы, плечики, откинутые несколько назад, тонкую фигурку, как будто созданную для движения, он слышал ее голос.

Он старался не думать о том, что если бы он жил свободно, под своим именем, в свободной, *той* России, то непременно сделал бы ей предложение... Старался не думать, но все равно думалось и думалось само собою. А то вдруг пытался представить себе, что она делает сию минуту. Наверное, спокойно спит в белой кроватке и не подозревает, что перевернула вверх дном всю душу одинокому человеку. Она ставит свечки за Россию, милое дитя! Но что могут сделать вздохи ребенка, когда вся страна бессильна!..

Оклик Мики неожиданно оборвал ход его мыслей. Усевшись на постели, Мика крикнул ему:

— Да что вы все мечетесь и вздыхаете? Спать не даете! Блоха вас кусает — зажгите свет и поймайте!

Олег несколько минут молчал.

— Тоска... — проговорил он тихо и прибавил: — Послушай, ты бы мог говорить со мной немного повежливее?

— Тоска? — повторил Мика иронически. — Встаньте и прочтите молитву, коли так. Тоска — тоже искушение дьявола, не лучше всех прочих. От нее верное лекарство: «Да воскреснет Бог» — вот что!

Мика повернулся на другой бок и всхрапнул.

«Он со своим аскетизмом становится нестерпимым», — подумал Олег и постарался заставить себя уснуть, как вдруг пронзительный звонок прорезал тишину комнаты. Звонок среди ночи! Олег сел на диване, прислушиваясь; сердце часто и тяжело стучало.

Звонок повторился. Он вскочил и стал торопливо набрасывать одежду. «Они! Кто еще в такое время? На рынке проследили или Вячеслав выдал?.. Опять лагерь... Нет, довольно!» С лихорадочной поспешностью он схватил револьвер. Теперь, или уже будет поздно! Нет ни Родины, ни имени, ни семьи, ни деятельности, ни славы, — ничего! Олег приставил револьвер к виску: «Господи, прими мою душу!» — и спустил курок. Но выстрела не последовало. Что такое? Разряжен! Но каким же образом? Ведь он заряжал его! Или он начинает сходить с ума и сам не помнит, что делает!

Дверь распахнулась, и в комнату без стука ворвалась Нина в халатике с растрепавшимися волосами:

— Гепеу! Что у вас, Олег? Что это?! Боже мой, Олег, не смейте! Отдайте его, сейчас же отдайте! — И она повисла на его руке. — Безумный, что вы делаете! Аннушка, сюда, помогите!

Звонок повторился в третий раз. Олег вырвал руку.

— Он не заряжен, Нина, пустите, — и, подойдя к отдушине, открыл ее и сунул туда револьвер.

— Олег, что мы будем говорить, что делать?! Неужели за вами или за мной? Я знала, что это будет. — Она схватилась за голову.

— Успокойтесь, Нина, возьмите себя в руки. Теперь уже ничего предпринять нельзя. Идемте. Одевайся, Мика!

Мальчик смотрел на обоих широко раскрытыми глазами и послушно потянулся за бельем. Они вышли в коридор; в кухню уже входили незнакомые люди с револьверами. Вячеслав и дворник открыли им.

— Олег, если за мной, так Мика... Вы Мику... — шепнула она, останавливаясь.

— Да, Нина, конечно! Но, даст Бог, не за вами, уж лучше, чтоб за мной. Идемте.

Явившиеся люди потребовали «квартуполномоченного». Нина, бледная как полотно, обрывающимся голосом отвечала на их вопросы, что из посторонних, непрописанных лиц в квартире никто не ночует. Потребовали документы, жильцы стали их предъявлять. Подавая свои, Олег закурил и спросил, усиливается ли мороз; он тем более старался быть спокоен и небрежен, что чувствовал на себе замирающие взгляды Нины и Мики. Ему казалось, что Вячеслав тоже внимательно наблюдает его. Документы протянули ему обратно и сказали, что обойдут квартиру, дабы установить, не присутствуют ли посторонние лица. Кого они искали — оставалось неясным. И Олег и Нина страшились убедиться, что ищут бывшего князя — гвардейского офицера Дашкова. Только когда непрошеные гости двинулись из кухни в коридор, дворник и Нина спохватились, что Катюша не появлялась в кухне и не предъявляла своего удостоверения личности. Они поспешили сказать, что забыли еще одну жилицу и стали стучать ей в дверь. Катюша выползла с заспанными глазами, полураздетая — она одна во всей квартире не слышала возни и суетни, поднявшихся в доме, и, теперь, к удивлению всех, облизываясь и улыбаясь, объявила, что у нее ночует ее подруга, с Васильевского острова. Агенты тотчас потребовали «подругу» и, когда та назвала себя, объявили ей, что уже являлись к ней на Васильевский остров, где им подсказали искать ее на Моховой, 13; затем велели развязной и растрепанной девице следовать за ними. Как только дверь захлопнулась, Нина стала истерически кричать на Катюшу, глаза которой еще слипались.

— Как вы смеете? Вы обязаны были известить меня! Как вы смеете приводить сюда спекулянток или проституток! Так переволновать всех! Вам все нипочем, а вы посмотрите, на кого вы похожи! — и разрыдалась.

Дворничиха бросилась подать ей воды. Понемногу взбудораженный муравейник квартиры стал успокаиваться; скоро в кухне остался

один Олег. Он сел на табурет и, облокотив руки на стол, опустил на них голову. Он вдруг ощутил страшную усталость, очевидно, в результате чрезмерного нервного напряжения и минуты под дулом револьвера. Голова у него кружилась. Дворничиха вошла в кухню и, увидев его одного с лицом, закрытым руками, подошла.

— Устал, поди! Накось, какая передряга. Ах они, воры, разбойники! Измотают человека, да еще пужают без толку. Может, тебе чайку заварить крепкого? Согреешься, заснешь лучше!

— Благодарю вас, мне ничего не нужно.

Но она не уходила.

— У меня вот сыночек твоих лет был бы, да белые под Псковом уходили. Может, через то мне тебя и жалко. Другой раз, как я погляжу, какой ты худой да бледный, завсегда невеселый, — так за сердце и схватит. Надо ж судьбу такую: и война-то, и раны-то, и тюрьма-то, и все напасти на человека, да еще и пожалеть-то некому.

Олег так давно не слышал задушевного тона, что от этих простых, бесхитростных слов он вдруг обмяк и почувствовал почти детскую обиду на жизнь, мир, весь свет.

— Матери-то нет у тебя?

— Нет, у меня нет матери, — с усилием ответил он.

— А ты бы хоть женился, все ж лучше, чем одному, было б хоть кому о тебе позаботиться.

— Кто за меня теперь пойдет, Анна Тимофеевна? Кому я такой нужен? Оборванный, простреляный, кандидат на высылку; у меня даже угла своего нет.

— Не всякая девушка выгоду соблюдает. Другая — пожалеет, захочет пригреть и утешить. Ты еще молод и пригож — понравиться можешь. Так принести чайку-то?

— Нет, Анна Тимофеевна, спасибо на добром слове, пойду лягу.

Когда он вошел к себе, то, не раздеваясь, бросился на диван. Мика, уже забравшийся снова под одеяло, исподлобья наблюдал его, не решаясь заговорить. Глаза их встретились.

— Мика, ты разрядил револьвер? Отвечай!

— Не я, — Вячеслав. Я не сумел бы.

— Как, Вячеслав? Так он, стало быть, знает, что я держу оружие? Мика, в уме ли ты!? Да разве можно вмешивать в такое дело партийца!

— Я не стал бы ему рассказывать. Я уронил перочинный нож под диван и попросил Вячеслава помочь его отодвинуть, а револьвер выпал. Ведь я не мог же предполагать! Вячеслав повертел его в руках и говорит: «Ну, заряженным я его не оставлю». И выходит, что правильно сделал.

— Отчего же ты не рассказал мне?

— А вам жаль, что вы не сделались трупом? Вот из-за недоразумения какого-то, из-за этой дуры, Катюши, вы бы лежали сейчас с простреленной головой. А ведь самоубийство — грех непростительный, за самоубийц даже не молятся. Вы это понимаете?

— Нет, Мика, я этого не понимаю; Бог и святые должны видеть насквозь мое сердце и видеть все, что заставило меня взяться за револьвер. Если есть вечная жизнь, тогда где-то в сферах существует душа моей матери, и она будет молиться за меня, дозволено это или не дозволено по церковным канонам. Это все, что я знаю, и, пожалуйста, помолчи, Мика, не вздумай читать мне проповедь.

Мика озадаченно ерошил волосы.

Вдруг шальная мысль пронзила Олега — ведь Вячеслав разрядил револьвер только благодаря тому, что он в это время любовался Асей. Значит, сама того не зная, она спасла ему жизнь!

— Можно? — послышался за дверью голос Нины.

Олег быстро спустил ноги с дивана.

— Лежите, пожалуйста, лежите, — сказала она, входя, и села к

нему на край дивана, — я так переволновалась, что не могу заснуть. Какие мерзавцы! Если они искали определенное лицо, эту девицу, зачем не назвали ее сразу? Зачем проверяли документы у мужчин?

— Ах, Нина! Неужели вы не понимаете — это их излюбленная система заводить неводом — авось попадется золотая рыбка; и в самом деле, едва не попалась. — Он злобно усмехнулся.

— Олег, я хотела вам сказать... Мне невыносимо думать, что вы покушались на свою жизнь! Обещайте мне не повторять эту безумную попытку.

— Меньше всего я хочу обсуждать это, — сказал он.

— Олег, послушайте. Вы младший брат моего мужа, могу я хоть раз говорить с вами как старшая сестра?

— Как сестра? — переспросил он, и в его интонации прозвучало подчеркнутое удивление.

Она поняла его интонацию: почему же раньше, когда я пришел к тебе как брат, ты была так не по-родственному холодна со мной? Она все поняла и долго молчала.

— Олег, все-таки послушайте: вы не должны считать свою жизнь конченной. Мало ли какие могут быть перемены и в политической жизни, и в нашей личной. Ведь вы еще молоды. Может быть, у вас будет большая любовь, семья. Зачем думать, что впереди один только мрак?! А то, что вы хотели над собой сделать, — это ужасно своей непоправимостью. Как вам не стыдно!

Он молчал.

— И еще я хотела сказать, — продолжала она, — вам необходимо показаться врачу. Вы выглядите совсем больным, да и не удивительно — разве оттуда можно выбраться здоровым? У вас наверняка переутомление, малокровие, цынга, может быть... Со всем этим еще можно бороться, а если не будете за собой следить — навсегда потеряете здоровье.

— Мне не для кого беречь его, — сказал он.

— Опять, опять, — сказала она и положила свою руку на его руку. И вдруг ей пришло в голову предложить ему сопровождать ее к Бологовским и быть представленным Наталье Павловне. Если Ася действительно понравилась ему, это будет лучшим лекарством. Но тут же она вспомнила Марину и свое обещание. И опять их разговор показался ей пошлым, и какая-то досада на подругу закралась ей в сердце. Как неудачно переплелись все эти нити!

Неожиданно в ее памяти отчетливо возникла страшная, постоянно угнетавшая ее незабываемая минута в Черемушках, когда *они* набросились на нее и нанесли смертельный удар отцу, который пытался заслонить собой дочь. Мика тогда весь затрясся от испуга и долго потом заикался, иногда и теперь это заикание возвращалось к нему...

Она подошла к мальчику, обняла его:

— Перепугался?

Мика понял, что, спрашивая это, она вспомнила гибель их отца. Он сел на постели и порывисто обхватил сестру обеими руками, но уже в следующую минуту поспешно оттолкнул.

— Да ну тебя, Нинка! Всегда ты со своими глупыми нежностями! Ничего не испугался! Сама ты трусиха известная.

Нина с материнской заботливостью поправила на нем одеяло.

Клены... уже красные сентябрьские клены, могилка щенка в траве, ветер гонит свинцовые тучи, а испуганного мальчика обступили люди с револьверами и дубинами... Агония помещичьей жизни...

«Нет, они все-таки не совсем чужие и дороги мне!» — думал Олег, глядя на них обоих.

Утром, заряжая вновь револьвер, он говорил самому себе: «До следующего звонка!»

Продолжение следует



ВИКТОР КОЧЕТКОВ



ПЕСНИ О ВЕЧНОЙ РАЗЛУКЕ

Поцелуй Иуды

(СТАРАЯ КАРТИНА)

Рассвета тусклая полуда.
Тень облака. И тень куста.
Христа целующий Иуда,
лицом похожий на Христа.

Как будто нет ни в чем различья.
И кровь одна. И боль одна.
Лишь глаз пестрит. Да шея птичья
испуганно напряжена.

Из-под верблюжьей камилавки
он устремляет взгляд к горам.
От послезавтрашней удавки
невидимый темнеет шрам.

...Сегодня случая причуда
кладет идею на весы.
Переметнувшийся Иуда
глядит с газетной полосы.

Глядит внимательно и строго,
едва смиряя торжество.
Как будто он приятель Бога
и только что лобзал его.

В нем все — надменное величье,
во всем — уверенность видна.
Лишь глаз пестрит. Да шея птичья
испуганно напряжена.

На все и вся он даст вам справки
на все ответит наперед.
И только шрамик от удавки
с упрямой шеи не сотрет.

Обличение Аввакума

Нескладуха шумит
на Великой и Малой Руси.
Рушат старую веру
лукавые никониане.

«Бесова́, бесова́!» —
негодуют, кого ни спроси,
перед новою силой
гордыню смиряя заране.

КОЧЕТКОВ Виктор Иванович родился в 1923 году в деревне Балахоновка Самарской области. Окончил Кишиневский государственный университет и Высшие литературные курсы. Участник Великой Отечестаенной аойны. Автор поэтических книг «Росный час», «Весть, «Осколок» и многих других. Члеи Союза писателей СССР. Живет в Москве.

А боярская дума
талдычит свое: «Не горит!»
На дорогах — разбой.
А в Приказах — ворюга на воре.
Не природный русак,
а заморский ловкач Лигарид
у царя с патриархом
в высокой чести и фаворе.

И решил Аввакум,
что приспела пора обличать:
— Оглянись, Государь,
окружают тебя лицемеры.
Кто задумал державу
как весельный струг, раскачать,
начинают всегда
с исправления отческой веры.

Поднимают бузу:
— То не эдак и это не так.
— Надо все переделать,—
с амвонов твердят беспрерывно.
Смысла в их поученьях
едва наскребешь на пятак,
а злодейского умысла
будет на целую гривну.

Им обычай претит.
Перестройщикам вынь да положь
завезенное все,
новомодное все из Европы.
Будто пращуры наши
не знали, где правда, где ложь,
будто жили до этого
только одни недотепы.

С кем ты дружбу ведешь?
С кем все чаще якшаешься ты?
Эти в уши тебе напоют
всякой чуши и гили.
Ну, какой же разумник
от горбатого ждет прямоты.
Ведь горбач, по присловью,
исправится только в могиле.

Иль не видишь, Державный,
твой улей давно отроил.
Только трутни жужжат,
как сказать мне об этом ни тяжко.
Ну какой он советчик,
лукавый гречин Гавриил,
ну какой он ответчик,
боярин Ордын Алексашка?!

И помощник тебе ли
сокольничий твой из Ельца.
Только в царских подвалах
хмельные меды переводит
Эти — выгоды ради —
родного зарежут отца,
в них латинская ересь
закваскою старою бродит.

Ой, гляди, Государь,
промотаешь ты царство свое.
Все овечки твои
обернутся, поверь мне, волками.
И пойдет по Руси —
грудь на грудь, рать на рать, —
колотье.
И голодная людь
побредет — кто куда — большаками.

Снова шайки сбиваются
в Туле, Клину и Торжке.
В патриаршем подворье
уж варится варево злое.
Ты ж на троне сидишь,
как малец на поносном горшке.
Где же твердость руки?
Где же царское мужество в слове?!

Прозывался Тишайшим,
но был несговорчив и строг.
И сошлись к переносью
бровей неспокойные дуги.
И сказал Государь:
— Нечестивца в сибирский острог!
За Уралом-горой
охолонет, небось, на досуге.

Был февраль-ветродуй.
Стыло небо в полярных огнях.
И вползала поземка
в таежные дебри рисково.
И, как беркут угрюмый,
дремал в эвенкийских санях
Первомученик
русского
трехвекового раскола.

* * *

Орел-белохвост, между гор зависая,
кружит над могилой поэта Ухсая.
Над скудной землей, где со склона отрога
коричневой струйкой стекает дорога.

Давно ли, дружище, в усталом прищуре,
глядел ты на мир человеческой дури,

на шумные сходбища левых и правых,
что губят отечество в смертных забавах.

Остались в низине и распри и споры.
Тут вечное небо и вечные горы.
Тут вечные ели на вечных полянах
и вечные шелесты трав безымянных.

И вечные камни в суровом молчанье,
и вечные звезды в холодном мерцанье.
И прячет гора под туманом рассвета
гнездовье орла и могилу поэта.

Задонщина

Укрылась Задонщина белой дохой
и слушает жалобы волка.
всю ночь колоколит репейник
сухой
у самого края проселка.

Проселок все дальше бежит
в темноту,
колок за колком обегая,
где странные птицы сидят на кусту
и смотрят сквозь ночь, не мигая.

Овечьей кошары мелькнет
городьба.
И снова бездымные дали.
Кто скажет сегодня, какая судьба
их ждет и какие печали?

Предвестье какой предстоящей
беды,
какой перемены лавинной —
тоскующий свет одинокой звезды
над русскою снежной равниной?

* * *

Утро над полем сраженья встает.
Вскинуты пики. Натянуты луки.
Гибнут мужчины...
А баба поет
древнюю песню о долгой разлуке.

Тяжкие цепи неволя кует.
Сникла надежда. И нету поруки.
Гибнет держава...

А баба поет
древнюю песню о долгой разлуке.

Утро Победы над степью встает.
Ворог повержен. Отринуты муки.
Мир торжествует...
А баба поет
вечную песню о вечной разлуке.

Михаил Черниговский

(ЛЕГЕНДА)

Светлели дали, синью налитые,
весенний дым клубился над травой.
Великий князь входил
в шатер Батыя
с седою непокрытой головой.

Лежала Русь за волжскою излукой,
в руинах вся, пока еще жива.
И было непереносимой мукой
глядеть как торжествует монголва.

Молчал Батый, не поднимая
взгляда
от голубого с искоркой ковра.
А темники в четыре плотных ряда
сидели по окружности шатра.

Лишь опахало множило качанья
да билась над кошмою стрекоза.
И после злого, долгого молчанья
вдруг вскинул хан тигриные глаза:

— Мы сто степей прошли
в дороге долгой,
мы сто держав разрушили в пути,
чтоб здесь, в лесах,
за богатырской Волгой
друзей послушных, наконец, найти.

Я отпущу тебя в Чернигов с миром,
я жизнь тебе и славу сохраню,
коль ты моим поклонишься
кумирам
и моему священному огню.

И вспыхнули жаровни золотые.
И стражники сомкнули бердыши.
И князь сказал надменному Батыю:
— Не погублю для вас своей души.

Я этот кочь всегда носил по праву,
я русский князь,
а не приспешник твой.
Бери, монгол, мою земную славу,
небесной славы хватит мне
с лихвой.

На князя вмиг набросилась охрана.
И ятаган прошелся по плечу.
Но крикнул хан:
— Усердствуете рано!
Я с этим руссом говорить хочу.

Что толку после битвы горячиться,
в пустое небо посылать орла.
Твоя страна, как слабая волчица,
в лесную глушь на Север уползла.

Вы, русичи, храбры, но бестолковы,
разрознены вы даже на войне.
У вас везде раздоры, тяжбы, ковы,
и двух согласных не встречалось
мне.

В моей Орде в помине нет измены.
Моя держава к умникам строга.
Взмахну рукой и все мои тумены
как кречеты, метнутся на врага.

Чужим умом живете вы, славяне,
вам всякий раз нужны поводыри.
Что ты ответишь мертвыми
словами
великий князь сраженных? Говори!

Вот этот камень —
мой верховный идол,
его мы возим в наших тороках.
Он мне пайцзу на всю Европу
выдал.
Ее судьба теперь в моих руках.

Пади пред ним,
и все тебе простится
и все твои исполнятся мечты.
Зачем тебе своим богам молиться?
Служи моим — и будешь
счастлив ты!

И вновь молчанье было злым
и тяжким,
и князь провел последнюю межу:
— Твои кумиры только деревяшки.
Не дереву, а Богу я служу.

— Ты говоришь, что мой кумир —
химера? —
Воскликнул хан,
с кошмы своей привстав. —
А что тебе наобещала вера
в плаксивого и жалкого Христа?

Кому нужна рыдающая жалость,
кого спасла, ответь мне, доброта?
Сто ополчений русских
разбежалось
от моего монгольского хлыста!

Князь, от тебя от одного зависит
что выберешь ты? Думай наперед.
Иль моя щедрость вмиг тебя
возвысит,
иль моя ярость вмиг тебя сожжет!

— Мы, русичи, родились
не для плена.
У половецких темников спроси.
Придет пора и все твои тумены
как мыши уберутся из Руси.

Придет пора и встанут наши станы
и вашу силу темную сметут.
Сквозь ваши кости, ваши ятаганы
славянские березы прорастут.

Еще взыграет стрел славянских
пенье.
Мы не из тех, кто мирится с бедой.
Не хватит сил,
так выдюжит терпенье.
Ты знаешь, хан, народ мы молодой!

И не успел толмач-нагаец хану
перевести последние слова,
как молнией сверкнули ятаганы
и покатилась княжья голова.

И пала ночь. И заблестела Волга,
как скифский меч
на брошенной кошме,
и долгий вой рассерженного волка
за ханским станом слышался
во тьме.

И пламенел за темными возами
лиловый свет сигнального костра.
И хан Батый тигриными глазами
глядел из мглы холодного шатра.

И встрепенулся, шорохи расслыша,
и в гневе дернул за плетеный жгут.
— Кто там шуршит?
Кто шепчется там?!
— Мыши...
Куда-то мыши, светлый хан, бегут!



ПРОЗА

БОРИС ЕКИМОВ



СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

РАССКАЗЫ

МИЛОСТЫНЯ

Тимофей Сакерин — пенсионер шестидесяти двух лет — возвращался домой после утренних магазинных странствий. Пройти ему оставалось немного: один квартал шумным проспектом, а потом в гору, тихой улочкой. Но вот здесь, на проспекте, все и началось.

— Милостынку где подают? — спросил Сакерина встречный мужчина, по виду — ровесник.

Тимофей опешил, ответил не сразу, разглядывая спросившего. Тот вроде не шутил, а одет был как все: доброе пальто и шапка — на нищего ли, пьянчужку совсем не похож.

— Какую милостынку? — переспросил недоуменно Сакерин.

Но раньше ответила прохожая женщина. Бабы, они всё лучше виают.

— У райкома! — сказала она громко. — К райкому иди. Да просыпаться надо пораньше. Там — очередюка. Спал, спал...

Все, что можно, выложив на ходу, женщина увеялась прочь. Встречный мужчина понял ее указ и укоры, заспешил. А Тимофей Сакерин стоял в недоумении: не мог он толком уразуметь, о чем все же речь. Постоял он, подумал, а потом повернулся и зашагал к райкому. Чего-чего, а времени свободного было ему не занимать. Два года уже получал Тимофей пенсию, честно заработав ее долгим заводским трудом.

До райкома путь лежал не очень далекий: всего два квартала. И еще издали увидел Тимофей темную толпу очереди, для нынешней поры — дело привычное. За недолгий пенсионный срок Тимофей в магазинных очередях, харчи добывая, все бока протер и теперь, даже не спрашивая, со стороны мог определить, за чем люди стоят. Хлебные да молочные очереди были змеистыми и двигались быстро. Колбасные да мясные, где товар взвешивать надо, текли медленно и потому разбухали. Очередь у райкома Тимофей наметанным взглядом определил как очень долгую. У входных дверей, на ступеньках, она еще похожа была на очередь, а дальше, по тротуару и прирайкомовскому скверу, расползалась квашней. Люди стояли кучками, сидели на деревянных ящиках и даже на раскладных парусиновых стульчиках, из дому принесенных.

Достигнув хвоста очереди, Тимофей спросил:

— За чем стоим?

— За подарками... — ответили ему.

— За какими подарками? Вроде не Новый год? — посмеялся Тимофей.

— Заграничные, какие еще,—объяснили ему.—Германия прислала.

Вот теперь наконец до Тимофея дошло. Он вспомнил газеты да телевизор. Давно толковали об этом. Показывали груженые самолеты, машины. Думалось, что все это — Москве да, может, детским домам достанется. Оказывается, и сюда добралось.

Занимать очередь Тимофей не собирался. Даже возле нее стоять было неловко. Но любопытно. Сакерин медленно прошел тротуаром мимо райкома и людей, которые ничем от него не отличались: одежда обычная, как и у всех грешных; и лица обычные; и попадались вроде знакомые. Особо Тимофей не приглядывался, но были знакомые. Сорок лет на заводе отработано, в заводском районе сорок лет прожито. Волей-неволей свой.

Уже в голове очереди, почти миновав ее, Тимофей еще раз спросил, теперь у каких-то женщин:

— За чем стоите?

— Посылки дают продуктовые, заграничные, для пенсионеров, — женщина виновато улыбнулась, потупила взор.

Тимофей тоже опустил глаза и пошел прочь, все поняв.

Дома, с порога, он жене объявил:

— Продуктовые посылки в райкоме дают. Вроде немецкие. Людей стоит... Гибель. Какой-то мужик говорит: милостынка... за милостынкой. А стоят — не похожи на побирушек. Люди как люди. Не хуже нас одетые. И не видно, чтоб голодали.

Для жены это новостью не было.

— Какие побирушки... — засмеялась она. — Пенсионеры там стоят. Из нашего дома двое получили: колбаса, сыр, сухое молоко, печенье и даже табак. Ты же пенсионер. Может, и тебе дадут?

— Больше ничего не придумала? — спросил Тимофей. — Сейчас пойду и встану: подайте, Христа... — гнусаво протянул он. — Стыдоба.

— Ничего,— ответила жена. — Стоят люди и со стыда не линяют. Зато посылки хорошие: колбаска настоящая, сыр...

— Вот пусть и едят ее на здоровье. Мне такая колбаса поперек горла встанет, — закончил разговор Тимофей. И стал вынимать из сумки принесенное: молоко да хлеб, пакет с морковью.

Пришла пора чайку спокойно попить, с молочком да свежими булками.

Пенсионерская жизнь, какую Тимофей Сакерин два года вел, ему нравилась. Кое-кто из старых друзей-одногодков остался на заводе работать, иные жаловались на скуку непривычных буден. Тимофей новой жизнью был очень доволен.

Утром он поднимался и радовался: на завод не надо бежать. Спокойно умывался да брился. Жена была тоже на пенсии. Она любила позоревать. А Тимофей уходил в первый поход по магазинам: молоко, хлеб — его забота.

ЕКИМОВ Борис Петрович родился в 1938 году в Игарке. Образование среднее. Работал на заводе, в школе. Автор многих книг прозы. Член Союза писателей. Живет в Волгограде. В «Нашем современнике» печатается с 1974 года.

Летом он пропадал на даче, с весны и до поздней осени. А зиму коротал дома с газетами, телевизором, внуков им иногда приводили. Помаленьку текла жизнь, и грех было скучать по заводу и прошлой работе. Там — вечные нелады, нервотрепка, ругня. Здесь — покойное бытие. Поздним утром можно не торопясь чаевничать, с молочком, с газетными новостями и долгими разговорами. Жена уже поднялась, прибралась; у нее — поздний завтрак.

— Нет, как ни крути, а все же это попрошайство... — рассуждал Тимофей за чаем, на кухне.— Кусок хлеба у всех есть. Вот, например, у нас. И мы никакие не «блатные», а гляди... — указал он на стол, — молоко есть, сметана есть, булки, варенье.

Кухонный столик, за которым чаевничали, и впрямь был заставлен: в вазочках варенье — грушевое, вишневое; домашнего же изделия овощная икра. Дачу не зря держали. Летних припасов хватало на всю зиму.

— А чтоб с протянутой рукой... — рассуждал Тимофей.— За куском колбасы... Позору принимать. Люди идут, глядят на тебя, головой качают.

— Кому ты нужен? — спросила жена. — Глядеть на тебя. Не все равно, в какой очереди время проводить? За курами, за молоком стоишь?

— Так то всем положено, — не сдаваясь, возразил Тимофей.— Это свое государство дает.

— Свое,— презрительно фыркнула жена.— Дохлую куру раз в месяц. А там — добрая колбаска да сырок.

— С чужого стола объедки,— постановил Тимофей.— Сроду не пойду, не последний кусок доедаю.

— Не ходи. Другие пойдут,— спокойно рассудила жена.— Да тебе еще и не дадут. Там вроде талоны нужны.

Так они сидели, не торопясь чаевничали. Пожилые, пожившие люди. Тимофей лицом и телом был худощав. Прежде он много курил. Работа злая, бегучая. На пенсию вышел — табак оставил. А жена всю жизнь провела в цеховой инструменталке. Телом она была тучна, ноги ходили плохо. Летом, на даче, здоровье лучшало. И потому теперь она ждала тепла.

— Как погода нынче? — спросила она.

— Плюс пять,— ответил Тимофей.— Выходи на лавочку, грейся.

Лавочки стояли у подъезда. Туда жена выбиралась.

А Тимофей чаю попил, газеты поглядел и — вперед. Кур нынче должны были продавать. Сахар обещали завезти. Талоны за март он еще не отоварил. А скоро апрель, дача. Туда уедешь, талоны могут пропасть. Тимофей не только себя с женою харчами снабжал, но помогал как мог семьям дочери, сына. Они день-деньской на работе.

Он вышел из подъезда, на солнце пощурился. День разгорался теплый. И даже здесь, в чащобе серых пятиэтажных домов, чуялась весна. Грязный снег остался лишь у стен, а дворы влажно чернели. Хрипло каркало воронье, тенькала одинокая синичка.

Отсюда, с бугра, далеко было видно, весь район: дома и дома, корпуса заводские за бетонной стеной, дальше — Волга, а тот берег — в туманной весенней дымке. Заводские цеха тоже в дыму, но ином, горьком. Там сорок лет протекло. Вон он, цех родной, сорок лет там промыкался, как цепной кобель. Мастером, старшим мастером, начальником смены. С утра и до поздней ночи маета. Из дома выскочишь и летишь, а мысли уже там, в цехе: как сработали, не случилось ли чего?

Даже вот как сейчас встать и поглядеть с бугра на поселок, на завод, на далекую Волгу времени не было. Все бегом и бегом. Спасибо, теперь и постоять и поглядеть можно.

Тимофей постоял, повздыхал и пошел не торопясь вниз, мимо больницы и кинотеатры, к огромному универсаму, который построили лет пять назад с размахом: не магазин, а стадион. Но тут пришли худые времена, универсам опустел. И лишь долгие петлястые очереди к тому да иному прилавку живили его.

Нынче давали кур, без талонов. Тимофей два часа тридцать минут выстоял, но купил три штуки. Дочери, сыну и самим лапши похлебать. Еще он добыл три бутылки горчичного масла. Как раз привезли, он заметил и взял, пока народ не сбежался. Горчичное масло летом вовсю идет к огурчикам, помидорам, молодой картошке. Пять бутылок уже стояло в запасе. И эти не помешают.

Все купленное принес он домой. Настало время обеда, потом отдыха. К вечеру во дворе, в дощатой беседке, собирались любители домино, почуяв весну. Скоро день и ночь будут «козла забивать». Теперь лишь примерка.

Так и прошел день. Обычный спокойный день пенсионера.

Смеркалось, когда Тимофей вернулся домой, чтобы провести вечер у телевизора. Сначала послушать местные новости, потом — кино поглядеть, за ним — программа «Время», а там — на боковую. Раньше, вновье, депутатов любили смотреть на сессии, как ругаются; теперь — поостыли.

Нескучно тянулся привычный вечер, и уже позывало ко сну, когда объявилась гостья, родная дочь. Она, как всегда, спешила:

— Митю уложила, спит. В детсаде набегался, на воле. Говорит: к деду пойду, к деду, а потом бух — и уснул.

Дочка была в отца: худощава, на лицо миловидна, но муж ей попался пьющий. Мучалась с ним, потом прогнала. Теперь жила одна, с сыном. Тимофей жалел ее, очень любил, раньше и теперь. Дочка спешила — вдруг Митя проснется. Вручили ей курицу, молоко, и она ушла было, да у дверей спохватилась:

— Господи, чуть не забыла. Папа, талон мне дали на Митю. В детском фонде получить подарок заграничный. Что там, не сказали. Возьми мой паспорт, сходи получи.

Тимофей покорно и молча принял из рук дочери бумажку и паспорт. Жена засмеялась:

— Он нынче ругался. С протянутой рукой, говорит.

Дочь глянула на отца и принялась убеждать:

— Все берут, папа. Да еще не всем дают. Мне завком выделил, чего плохого. У нас одна женщина получила: сухие сливки, шоколад. Митя шоколад так любит, а уж давно его не видал. И колбаса там настоящая. Но если ты не хочешь, я, может быть, как-нибудь отпрошусь.

Тимофей ответил со вздохом:

— Возьму, — и, оправдываясь, виновато улыбнулся: — непривычно как-то.

Дочь ушла. Тимофей вернулся к телевизору, повертел в руках голубую бумажку — талон, потом дочкин паспорт открыл. Она смотрела на него с фотографии доверчиво и ласково. Он любил дочь: поздно она родилась, много болела в детстве, с мужем не повезло.

— Ладно,— сказал он вслух.— Сходим, раз такие времена.

— Сходи, сходи,— поддержала его жена.— Какой тут стыд. Вон Вера писала, про Володьку. Артист, а много приволок.

— Ну, это в Москве, у них...

Племянник Володька работал в театре, в Москве. Им еще в январе заграничные харчи выдавали.

— Артисты, они привычные... — вздохнул Тимофей и, поднявшись с дивана, подошел к окну.

На воле было темно. Окно глядело в ту сторону, где дача. За домами, за заводским поселком. Летом туда ходил автобус. Тридцать минут от проходной завода, а мир иной: зелень, тишина и покой. Тимофей словно увидел свой кирпичный домик с сиренью возле окон. Захотелось на дачу. Уехать, внука Митю забрать, оставив до поздней осени городские заботы. Работать в огороде, в саду, рыбу ловить на реке. За лето все здоровеют: жена, внук, да и сам он словно молодеет.

— Скорей бы тепло да на дачу.— сказал он вслух, отходя от окна.
— Сама не дождусь, — ответила жена.
Ночью, во сне, виделось Тимофею доброе лето.
А утро началось по-обычному: умылся, побрился и — в магазинный поход, за молоком да хлебом.
Уже потом, после поздиего завтрака, чая, Тимофей собрался с дочкиным поручением. Он взял паспорт, голубой талон-приглашение.
Уходя из дому, на себя в зеркало гляиул и остановился. Пальто было сереньким, будничным, в нем на завод бегал. А вот шапка — искусственный мех, но приглядный, за натуральный его принимали. И шарф — дочкин подарок — гляделся слишком нарядно: мохеровый, клетчатый. Тимофей подумал и снял его, заменив черным. А то ведь найдется умник и скажет: «В мохере, а в такую очередь лезешь, сирота казанская». Шапку он тоже сменил на клетчатую простую кепку.
В очереди магазинные Тимофей ходил привычно и стоял в них не особо томясь. Беседовал, правительство ругал и начальство, вместе со всеми тревожился: не кончилась бы колбаса ли, масло, радовался, когда удавалось купить лишнего, не по талонам. Это была жизнь как у всех, как всегда. И в детстве были карточки да очереди, и в молодые годы. Когда из них вылезли, из очередей-то?
Нынешияя очередь, за немецким подарком, виделась иной. Но Тимофей понемногу убедил себя, что в ией страшного ничего нет. Не для себя он идет получать, а для дочери, для внука. И просить никого не надо. Отстоит сколько положено, подаст бумажку. Отметят и выдадут. Дочь будет рада. К тому же ей, молодой, в очередях таких вовсе не к лицу стоять.
Детские заграничные посылки выдавали в бывшей кондитерской, рядом со старым кинотеатром «Ударник». Туда по молодости Тимофей в кино ходил, сначала один, потом с невестой, с женою.
К «Ударнику» подойдя, он увидел очередь, в которой стояли женщины, дети, старые люди. Обычная очередь, не очень великая, человек на сто. Тимофей подошел к «хвосту» ее и спросил, как обычно:
— За чем стоим?
— За милостыней... — ответил ему печальный, усталый голос.
— За милостыней? — невольио повторил Тимофей, и стыд, горький стыд, опалил его душу. Горечь и жалость ко всем этим людям, к себе, к дочери, к маленькому Мите, к этой жизни, к тусклым дням поздней весны.
Тимофей повернулся и пошел. Он уходил, убегал, а стыд все жег его не переставая. Казалось, вся очередь смотрит ему вслед, вся улица, весь район заводской.
Как он домой добежал, ие помнил. Жена поглядела на него, ничего не успела спросить, а он начал кричать:
— В детстве! Голодным ходил! Козелок жрал! Жёлуди! Ракушки! Но с протянутой рукой — никогда!.. Мама-покойница пухла от голоду! Но с протянутой рукой не ходила! А мы! А я! Последний кусок доедаем?! Джуреки грызли?! Отец всегда говорил: руки-ноги есть, проживем! Пенсии мало?! В чугунку пойду, в сталефасонку! На формовку стану, на обрубку! Но с протянутой рукой!..
Глаза его горели, руки тряслись.
— Господь с тобой! — испугалась жена. — Кто тебя неволит? Выпей лекарство. Хватит еще паралик. Не хочешь — и не ходи. Выпей, выпей...
Она принесла валерьянки, каких-то таблеток. Тимофей послушно все выпил, и ему вроде полегчало. Но долго еще трясло его, озноб колотил. Он лежал на диване под теплым одеялом и трясся. Потом уснул.
А когда проснулся, то все прошло. Лишь чуяло тело муторную, не от работы, усталость.
Вечером прибежала дочь. Тимофей сидел в комнате, у телевизора, когда она позвонила в дверь. Жена ее встретила, и там, в тесной прихожей, они стали шептаться. Тимофей поднялся, вышел к ним, невесело усмехнувшись, спросил у жены:
— Докладываешь? — И, не дождавшись ответа, честно сказал дочери: — Не могу я, дочка, обижайся — не обижайся, а не могу. Не терпит душа. И ты не ходи. Прошу, Христа ради, не ходи. А то люди увидят, скажут: Сакерины дожили. Я уж матери говорил: припрет — в цех пойду. Зиму буду работать. Сила есть, руки-ноги целы — проживем. Картошки возьмем две деляны, на тебя и на меня. Бахчу возьмем, тыквы пасадим, арбузов. Все у нас будет, проживем...
— Проживем... — легко согласилась дочь.
За что Тимофей ее и любил — за понятливость.
— Проживем. Только ты не волнуйся,— улыбнулась дочь и сказала: — Митя о какой-то репке галдит. Поедем в выходной за репкой да поедем. Какая репка?
— На даче, — ответил Тимофей. — Это по-старинному я ее так называю — репка. На вид она вроде картошки. А сладкая. На зиму ее в земле оставляем. Сочная такая, хрустит. Ты должна ее помнить, я в том году привозил. Поехали в выходной, покушаешь. Митя-то вспомнил... Сладкая репка...
Тимофей улыбался, радовался и словно был уже там, на весенней земле, на даче. Рядом дочка и внук Митя репкой хрустели. Жена грелась на солнышке.
А дел было, столько дел, после долгой зимы... Работай и работай.

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ

В нынешние времена, когда в Москве с харчами становится все хуже и хуже, ездить по служебным делам в провинцию и вовсе наказанье Божие. В гостиничных буфетах чаем не напоят, об остальном не говоря. В ресторан не попадешь, да и цены там бешеные. А из всяких «столовок» несет такой вонью, что войти туда страшно.
Но работа была такая, что изредка, но выпадали командировки. И если женщины молодые могли отказаться, оправдываясь малыми детьми, их болезнями, то Марине Владимировне, или попросту Марише, которой давно перевалило за сорок и сын — взрослый, отговариваться было нечем и волей-неволей ездить приходилось. Кому докажешь, что раньше, в молодые годы, когда сын был маленьким, она уезжала из дома легче. А теперь, отлучаясь из Москвы ненадолго, она теряла покой. Казалось ей, что без нее дома тотчас что-то стрясется. Времена пришли неспокойные: квартирные кражи, убийства — об этом говорили вокруг. Газету хоть не открывай — там страсти одни. По телевизору — то же самое. А сын рос балбесом, знал лишь одно — магнитофон на полную мощь, а сам еще громче:

Скованные одной цепью!
Связанные одной целью!

Мужу было на все начхать, кроме газет, футбола по телевизору да парной по субботам. Словом, командировки были не нужны.
Но когда в начале года на службе зашла речь о Ростове, Мариша вызвалась поехать туда. Во-первых, когда-то, по очередь надо отбыть, к тому же Ростов — не Барнаул и не Красноярск, всего ночь в поезде. Во-вторых, под Ростовом жили родственники, хоть не больно близкие; покойной мамы двоюродная сестра с семьей. В прежние годы с ними виделись часто, гостили каждое лето. Мама умерла, и все как-то быстро оборвалось. Остались лишь поздравительные открытки к празднику, и о тех иногда забывали.
В Ростове, как и в Москве, январь стоял худосочный: сырость да слякоть. Два дня прошли в командировочной суете. Зато пятница была уже свободной, а впереди — суббота да воскресенье.

Мариша пораньше распрощалась с гостиницей, удачно поспела к автобусному рейсу и покатила. Недолгий путь был впереди, каких-нибудь сто километров.

В конце его, перед самым поселком, случилось чудо ли, доброе знаменье.

День стоял ясный. Черная бесснежная степь тянулась вокруг. С запада, обнимая полнеба, надвинулась сизая, угрюмая туча. Она продвигалась неспешно, неся с собой сумрак и тишь надвигающейся непогоды.

Туча тащилась медленно, недра ее тяжелели, взбухая и опускаясь к земле. Солнце скрылось, повисла вечерняя недобрая тьма. Подул ветер, и вдруг закружилась над степью снежная метель. Автобус пошел медленнее, встречные машины зажигали фары. Земля, небо — все вокруг пропало. За стеклами автобуса кружила снежная буря.

Потом ветер стих, а снег все сыпал и сыпал, убеляя землю. Тучу пронесло. Солнце сияло кротко, по-зимнему.

Уже подъезжали. В автобусе зашевелились, стали собирать вещи.

Мариша вышла на первой же остановке, на краю поселка. Давным-давно она здесь не была. Мама умерла десять лет назад. Вот с той поры, теперь такой далекой.

Не бывала давно, но все помнила. От автобусной остановки без раздумий пошла вправо, туда, где высились над крышами низких домиков купы деревьев — роща ли, большой парк. Когда-то давно там был санаторий, потом — больница. Потом все ушло. Остались лишь старые деревья: тополя да клены, березовая аллея. В детстве то был дремучий лес, играли там.

Центральная улица поселка, с асфальтовой дорогой, машинами, осталась позади. И разом словно в ином мире очутилась. Еще сегодня был пусть провинциальный, но город, с большими домами, утренней толчеей, а два дня назад и вовсе — Москва. Теперь — тихая заснеженная улица, словно задремавшая. Мальчонка бежит навстречу. На ходу поздоровался: «Здрасьте!» Мариша сначала не поняла, что он с ней здоровается, потом опомнилась и, обернувшись, вдогон ему ответила: «Здравствуй, здравствуй!»

На минуту вдруг показалось, что приехала она в родной свой поселок, где выросла и все ее знают. И своею улицей идет к родному дому, где мама живая.

Это было короткое забвенье, не более. В тот поселок она уже никогда не приедет, там не осталось родной души. А здесь — тетя Вера, дом ее, дни детства и годы молодые. И хорошо, что она сюда приехала. Ведь вчера еще, в Ростове, мучилась раздумьем: может, взять билет — и в Москву. Как там без нее «скованные одной цепью»?..

А теперь все московское ушло, словно далеко отодвинулось. Осталась лишь тишина, запах свежего снега и ожиданье встречи.

Домик тети Веры курил из трубы прозрачным ровным дымком давно затопленной печи. Десятилетье изменило его: пристроечка появилась в глубине двора. А крылечко, веранда, малые окошки, низкие притолоки — остались теми же. И, как прежде, не запиралась дверь: отворяй и входи.

Они, конечно, признали друг друга: старая тетушка и немолодая племянница.

— Здравствуйте, гостей не ждали?

— Мариночка...— И пролились тут слезы, как и положено, потому что вспомнили покойную сестру и мать.

А потом закипел чайник. Запахло в доме свежим печевом.

— Пышечек покушай... — угощала тетушка.— Как Бог подсказал, поставила тесто. Дрожжей, правда, маловато. С дрожжами у нас...

Нашелся к горячим пышкам каймак — топленые сливки, а к чаю — молоко. И опять были слезы.

— Мамочка твоя... Чаек пить любила. Первое дело — чай. Им жила. Самовар... Особенно летом... С молочком...

Позавтракали и сели в тесной горенке. Здесь было светлее.

Мариша после дороги и завтрака привычно подкрасила губы, глаза подвела.

— Ты такая хорошая... — хвалила ее тетушка. — Молодая, красивая. Не скажешь, что сын — жених.

В сорок с лишним лет Мариша, конечно, молоденькой не гляделась; но гладкое, без морщин, лицо, густые, без проседи, волосы, крепкое тело — все говорило о том, что ее женская, бабья пора еще не миновала. И вовсе не зря на службе и все знакомые звали ее Маришей.

На тетушку, особенно сейчас, в отвычку, Мариша смотрела со слезами. Не верилось, что когда-то была эта женщина другой. Согбенная, телом усохшая, тронь — и чуешь хрупкие косточки под рукой. Ничего в ней от прежнего не осталось. Лишь голос да добрый взгляд.

Достали пухлый семейный альбом, сели рядком на диване, стали глядеть не торопясь.

И словно пошли листаться, за годом год, не альбома, но жизни страницы.

— Ты была такая серьезная... — вспоминала тетя Вера.— Все чего-нибудь придумаешь. Как-то привезли тебя, ты объявляешь: зовите меня артисткой. Я — артистка, и всё. На стул тебя поставили, ты поешь, стишки рассказываешь. Хлопайте мне, хлопайте... Мы и хлопаем. А потом, незаметно, и заневестилась.

Фотографии шли одна за другой, на глазах пухлощекий бутуз превращался во взрослого человека. А взрослые старились, тоже на глазах.

— Это уж в последний раз все сидим, — вздыхая, говорила тетя Вера.— Все собрались, сеструшки, в последний разочек. Мамочка твоя...

Три старые женщины сидели на крыльце друг подле друга.

Фотографий было много. В те годы и муж тети Веры снимал старенькой немецкой «лейкой», и Маришин отец. А виделись каждый год.

— В ту пору, сама знаешь, по курортам не ездили, лишь к родне. В отпуск, повидаться... — вспоминала тетя Вера. — И мы ехали, и к нам. Как-то было в обычае.

Мариша и сама помнила: лето начинается, ждут гостей и готовятся ехать в гости. Детишки живут у родни подольше. Взрослые — сколько смогут. Ведь дома — огород, скотина да птица. Кормились из рук своих. Так что взрослые гостевали недолго, с неделю. И всегда что-то делали, помогая по хозяйству. Мужики перекрывали крышу, погреб копали, дрова пилили. Заранее к тому готовились. «Вот Вера с Мишей приедут... — говорила мать, — и сделаем. Все не нанимать людей». Женщины шили. Тетя Вера умела кроить и шить. Тоже всегда ждали ее. Материал приготовят. «Вера сошьет...» Взрослым шила и ребятишкам. Дешевле выходило. Какие тогда были деньги... Всё — в натяг. Маришин отец сапожничал и приезжал со своим инструментом: шило, ноги, дратва, щетина — все везет. Валенки подошьет, другое починит.

Днем взрослые работали, а вечерами долго сидели за чаем. Самовар кипел.

Альбом разложат и вспоминают детство, родных, прошлое житье-бытье. Сидят и сидят. Уж заполночь, а наговориться не могут. Кто-нибудь вспомнит: «А время-то...» Рукой махнут: «Выспимся...»

Мариша помнила, как вечерами сидели. Рассказывали, пели. Слушаешь и задремлешь у кого-нибудь на коленях. Но тебя все равно не гонят, потому что — праздник, родные приехали.

А как готовились в гости ехать... А как ждали гостей... Особенно дети: что привезут в подарок?

При воспоминаиии о подарках Марише сделалось стыдно. Ведь собиралась, сунула в сумку пару шоколадок — и всё. А теперь, когда за альбомиыми фотографиями так ясно всплывали давние годы... Жили ведь в бедности, не то что нынче. Но каждый раз заранее припасали, чаще материал: ситчик, сатин, позднее штапель и что подороже. На кофточку, на платье. Мужчинам — на рубашки. Для детей — понаряднее. И, конечно, игрушки, сладости.

Как радостно было дарить ли, принимать дареное. С благодарностью, с поцелуями. И кто был счастливее, как знать...

А теперь Марише было стыдно. Хоть бы пару чулок, платок какой-нибудь на голову, халат. Не купила...

Она вынула из сумки шоколадки и, в последний момент сообразив, достала полотенце, какое взяла в дорогу, чтобы казенным не пользоваться. Полотенце было не больно застиранное, за новое сойдет.

— Ничего у нас в Москве не стало... — пожаловалась она. — Ничего не найдешь, ни конфет хороших, ни печенья. Вот полотенце тебе,— вручила она. — Шоколадки, чайку попить.

— Спасибо, спасибо... Нам тоже стали конфеты давать, по талонам. Триста грамм дают, — подхватилась тетя Вера. — Тот месяц — подушечки, а нынче — в бумажках.

«Господи, — корила себя Мариша, — что стоило конфет взять, печенья...»

Полотенце оглядев и похвалив, тетя Вера повесила его в горнице. Шоколадки на стол выставила, одну наломав на кусочки, другую оставив в нарядной обертке.

— Люди придут, угостим, — сказала она.— Соседи... Ходим друг к дружке, проверяем, живые ли...

Приходили. Одна да другая соседка. Все из новых.

— Плохо у них в Москве, плохо... — объясняла им тетя Вера. — Ничего не стало. И в газетах тоже пишут — плохо. Шоколадку покушайте, — угощала она. — Мы уже забыли про них.

Одна из соседок, нестарая еще, отпробовав шоколадку, сказала:

— К Митревне тоже из Москвы летом приеажали. Племянница с детьми. Ох и навезли...

Мариша опустила глаза, а тетя Вера бросилась ей на помощь:

— Эта племянница всю жизнь в столовой работает. Ворует. Ворует и шлет. Крупу, сахар. Как приезжает, сначала посылки идут. Она так прямо и говорит: не ходим в магазин, не имеем такой привычки.

— Раньше, бывало, пойдешь, — поддакивая, вспоминала Мариша. — Пастила белая, пастила розовая, нуга, халва ореховая, халва... пяти сортов. А нынче — шаром покати.

— Я тебя сейчас угощу, — с довольной улыбкой пообещала тетя Вера и принесла на блюдечке пяток конфет «Буревестник». — Посладись. Это мы еще летом, без талонов. Три дня в очереди простояли. Трое суток. Ночью и днем. Потом отсыпались. По полкило хороших давали и полкило простых. Покушай, моя хорошая.

— Тетя Вера, — стыдясь и досадуя на себя, сказала Мариша, — зачем же так мучиться. Трое суток не спать, в ваши годы. Написали бы, позвонили, я бы нашла, прислала.

— Не беда... Чего нам, старым, делать. Стол к магазину принесли, чай пили. Кто в карты играл, кто лясы точил. Они мне и не нужны, эти конфеты. Людей угостить. Или свои приедут. У них, в колхозе, вовсе ничего нет.

Позднее, когда все гости перебывали, вернулись к альбому, к его фотографиям, к прежней далекой жизни.

С обедом не спешили. У тети Веры сварен был борщ. Соседка принесла двух судаков, гостью рыбкой попотчевать. Чистили их да варили. Дух свежей ухи, с укропной пряностью, щекотал ноздри.

Разварное белоснежное судачье мясо парило на блюде, в окружении белых же картофелин. Рядом алели тугие соленые помидоры, ломтевая мраморная капуста, огурчики.

— Хорошо живем, — говорила тетя Вера, — жаловаться грех. Пенсии повысили. Хлебушко не переводится. Молоко, сметана бывает. Мясцо на базаре, конечно, не дешевое. А нам его, старым, и не надо. Огород, слава Богу, кормит. Это забыли мы старые годы. Как копейку считали. А нынче хорошо живем. Это у вас, в Москве, конечно, трудней. Газеты пишут... И по телевизору...

Старые фотографии еще стояли в глазах. Прежняя жизнь, о которой целый день вспоминали, словно рядом текла. Было с чем сравнивать. И было кому говорить, словно самой себе в сердечнейшем откровенье.

— Тетя Вера... Теточка Верочка... Чего газеты... Разве так жили когда? По тысяче рублей в месяц уже получаем. И все мало. Квартира трехкомнатная. Понаставлено — не пролезешь. Дача есть. Машина, считай, в руках. Уже заплатили. И берем, берем... Тряпок — в шкафы не влезают. У всех глаза — как плошки. Где, чего дают? Распродажи, талоны, выездная торговля. Надо — не надо... Хватай, тяни, завтра подорожает. Холодильника два. Три телевизора. Два пылесоса. Утюги, посуда. Скоро в дом не влезешь. Ковры — надо, золото — надо, за границу ехать — надо. А счастья нет... Покоя нет, радости... — призналась Мариша. — Чего вот у мамы было? Померла она... Остался чемоданишко. Платье праздничное да платье будничное — все богатство. А жили не хуже нас. Даже лучше. Радости было больше.

Тетя Вера слушала, согласно кивала головой. Марише хотелось говорить и говорить, словно отвечая на упреки сына, московских друзей или свои собственные.

— Машину покупаем. Так почему не иностранную, не «Вольво», не «Мерседес»? Дача есть. Почему в садовом кооперативе? Надо, чтоб в три этажа и два гектара леса. Или на юге, у моря. Телевизор почему не японский? И видеомагнитофон — тоже. Часы — и то наши не идут, надо — швейцарские. И главное — доллары, марки, фунты... Валюта...

— А это разрешается? — недоверчиво спросила тетя Вера.

— Все теперь разрешается.

Поздно вечером, готовясь ко сну, стали умываться. Тетя Вера на приглядное Маришино мыло позавидовала.

— Какое белое да духовитое. Нам тоже дают по талонам. Хозяйственное беру. Кусок побольше. Мы привыкли стирать да стирать. Мамочка приучила, чистотка. Раньше бывало — «Красная Москва», «Кармен». Положишь его в шкаф. Белье так хорошо пахнет. Теперь уж забыли...

— Да ведь... — начала было и прикусила язык Мариша. У нее дома две сотни кусков «Красной Москвы» лежало. Как начались нехватки — а в Москве можно взять, — она и набрала. Теперь корила себя: пяток бы кусков этого несчастного мыла, какая бы радость сейчас у тети Веры была. Не достало ума.

И лишь одно было успокоенье: «Приеду, — говорила она себе, — и сразу — посылку. Мыла этого несчастного». И уже, казалось, видела, как радуется тетя Вера. Радуется, от счастья плачет. Эти счастливые слезы успокаивали. И она заснула.

А утром проснулась, как всегда, рано. Но вспомнила, что не надо никуда спешить, и снова забылась. И когда очнулась, низкое зимнее солнце уже глядело в окно. От жаркой печки тепло струилось.

Чайник на плите закипал; каймак, молоко стояли на столе, и пахло печеными пышками.

Во дворе пересвистывались синицы. Снег был такой девственно чистый, пуховый, что Мариша не выдержала и умылась свежим снежком. Лицо загорелось.

Даже потом, когда позавтракали и пошли со двора, Мариша чуя-

ла, как горят ее щеки, словно у молодой, словно у тех ребятишек, что баловали со снегом на улице.

После вчерашнего снегопада и легкой ночной пороши поселок лежал принаряженный, светлый. Под солнцем, там и здесь, полыхало радужное сиянье: в ветвях деревьев, на крышах.

На центральной улице, подле магазинов, было по-праздничному людно. Но народ не спешил: встречались, судачили, не торопились расходиться.

Мариша с тетей Верой купили хлеба, заглянули в пустой гастроном. После московских магазинов, даже в теперешние времена, он был страшен: на витринах — целлулоидные куклы и куклы в кружевах... Зачем тут куклы?

А к магазину «Женская одежда» потянулся народ.

— Что-то выкинули, — догадалась тетя Вера. — Пойдем глянем. Халатик бы мне.

Выносили из «подсобки» на вешалках не халаты, а нарядные женские летние платья, цветастые, неплохо пошитые и недорогие, тридцать рублей всего.

Для тети Веры они были ярковаты, и пошив не тот. А вот Марише платье подошло. И она купила недолго думая. Померила и взяла. Тетя Вера была очень рада:

— С обновкой приедешь.

— Для лета очень прилично. И стоит — нет ничего, — радовалась и Мариша.

Дома она надела платье, прошлась в нем по комнате, решила:

— Прекрасно. Хорошо, что взяла.

Платье было очень к лицу, даже снимать его не хотелось.

Тетя Вера от племянницы не отводила глаз, а потом задумалась:

— Мариночка, у меня к тебе будет большая-большая просьба. Исполнишь?

Мариша догадывалась: внукам что-нибудь надо, конечно, не себе.

— Исполнишь, Мариночка?

— Постараюсь, тетя Вера. Только сейчас у нас трудно. Это раньше все было.

Тетя Вера, не слыша ее, продолжала:

— Ты такая красивая в этом платье. Прямо молоденькая, как раньше. Так оно мне нравится. Вот деньги...

— Зачем деньги? Может, я не куплю. Сейчас в Москве...

— Возьми, пожалуйста, тридцать рублей. И пусть это платье будет от меня подарком. Я так давно тебе ничего не дарила.

— Тетя Вера... — Мариша остановилась посреди комнаты.— Зачем? Я тебе и так очень благодарна. Но зачем мне деньги? Я получаю в десять раз больше, чем ты...

— Мариночка... — голос у тети Веры дрогнул. — Я тебя очень прошу. Пусть это будет последний наш подарок. От меня и от дяди Миши... и от мамочки твоей. От всех нас. В последний раз...

Есть в облике старого человека своя, несравненная прелесть, которая детской сродни. Худоба лица, хрупкость, седых волос серебряное сиянье. Тихий свет угасающих глаз. Все, словно вечер дня дорогого, уходящего.

— Теточка Верочка... Дорогая... Спасибо...

Мариша присела рядом с тетушкой, ткнулась лицом ей в колени и заплакала, словно и в самом деле прощалась. Она чуяла немощную стариковскую плоть, и от этого на сердце еще горше становилось. «В последний раз...»

На следующий день они прощались возле автобуса. Тетя Вера просила:

— Доедешь, напиши. На телеграмму не трашься. Напиши: мол, доехала хорошо. Я дождусь и буду спокойная.

Всегда, в прежние годы, из гостей приезжая, телеграмму давали «Доехали благополучно». А потом обязательно длинное письмо с благодарностью за прием, за подарки, за хлопоты. Так было всегда

«Телеграмму... Конечно, телеграмму... — думала Мариша в автобусе, а потом в поезде. — А письмо — само собой. Потом — посылку, даже две. Одну с конфетами да печеньем. В другую мыло положить, шампунь, тапочки домашние, халатик. Конфет побольше. Чтобы хоть сама тетя Вера попробовала. А то ведь раздаст. Своим да соседям. Будет угощать и гордиться...»

За автобусными, а потом за вагонными окнами лежала зима. Наконец дождались ее. Солнце, малиновое к вечеру, тонуло в снегах. Заря быстро погасла. Пришла ночь. Желто светили огоньки в окнах домов. Яркая звезда сияла на краю небосвода.

На душе было покойно, тепло. И часто сама собой тянулась рука к сумке. Там, в стороне от банок с тетушкиным соленьем-вареньем, лежал пакет с платьем. Чуяла рука гладкую материю. Давно так не радовалась Мариша обнове. В детстве было платьишко в красный горошек, с крылышками. Тоже чей-то подарок. И с тех пор такой радости не было. И, наверное, не будет. Потому что — Мариша это отчетливо сейчас понимала — не осталось в мире людей, которые любят ее просто за то, что она есть. Тетя Вера — последняя. Друзья... Это все иное. Даже муж... Любимые... Все в обмен за что-то. За красоту, пока она есть, за доброту. За то, что кормит, обхаживает, любит, милует. Не будешь миловать, могут и отвернуться. Одна лишь есть любовь, которой ничего не надо в обмен. Это любовь материнская и та, что рядом с нею. Когда она умирает, нет ей замены.

Поезд прибыл по расписанию. Маришу никто не встречал: муж на работе, сын в институте. Она добралась домой, и тут же позвонил муж.

— Тут без тебя, — сказал он, — записывали на итальянские стиральные машины. А я не стал. Мы же недавно купили.

— Ты с ума сошел! — не поверила Мариша. — Итальянские, и ты чего-то... Ты — сумасшедший. Сейчас же запишись.

— Но там не наше подключение, другая схема, придется переделывать.

— Бери — и никаких! — приказала Мариша. — Подключим. Раз дают. Сейчас же иди...

Целый день она переживала из-за этой машины. Все же итальянская и, может, по японской лицензии. Само в руки идет, а он...

Со стиральной машиной все обошлось хорошо, успели. Только успокоились, как обрушился обмен денег — сотенных, полусотенных. У Мариши на всякий случай лежали две тысячи в сотках, о них даже муж не знал.

Как объявили вечером... Она чуть с ума не сошла. И три дня это сумасшествие продолжалось.

Потом с акциями началась неразбериха. На акции банка «Менатеп» записались еще в декабре, трехдневную очередь отстояв. Теперь пришла пора деньги вносить, а в сберкассе их не дают. Время подходит, а никто ничего не может сказать: чеками ли, наличными и где взять. А срок пропустишь, все рухнет. Снова в очередь становись, а там цены ползут, дороже надо платить.

Целый месяц с этими акциями Мариша с ума сходила. Сыну на все наплевать. Из его комнаты с утра до ночи несется:

Скованные одной цепью!
Связанные одной целью!

И муж тоже — с усмешечками, с юмором своим, будто Марише больше всех нужно. Но к этому она привыкла — за всех отдуваться.

Январь и февраль пролетели стремительно. Подступила весна, а с ней дачные заботы.

В середине марта, с опозданием (почта последнее время работала плохо), пришла открытка: «Дорогая Мариночка! Поздравляю тебя с Женским праздником! Желаю...»

Открытку вынули из ящика вечером, после работы. Марина взяла ее в руки н, лишь почерк увидвв, еще не читая, охнула: «От тети Веры... Господи! А я ни письма, ни открытки не послала... Как нехорошо».

И в самом деле получилось нехорошо.

Но время было вечернее, а еще надо было успеть собрать еду и ехать на дачу. Друзья обещали завезти на своей машине. На даче было солнечно, тепло, а в лесу лежал снег. Можно на лыжах кататься. Друзья должны были вот-вот подъехать. И, как всегда, муж ничего не знал: где лыжные ботинки, костюмы. Как всегда, все должна была знать и делать Мариша.

— Ты бы написал тете Вере открытку, — попросила мужа Мариша. — А то опять забудем.

— Это будет нехорошо, — рассудил муж. — Она от тебя ждет. У меня, слава Богу, никаких тетушек, дядюшек, всех этих дальних родственников... Бог мнловал...

Надо было успеть поужинать и с собой еду взять. Голова шла кругом. А тут еще сын включил на полную громкость магнитофон и сам ему подпевал, мешаясь на кухне:

Скованные одной цепью!
Связанные одной целью!

НА КЛАДБИЩЕ

Зимний декабрьский вечер. Еще не поздно, лишь пять часов, а за окном — темно. Только что по телефону мне позвонил брат и сказал, что таблички готовы. Для могилок таблички, для памятников. Нынешний год для нас оказался печальным, прошлый — тоже. Хороним и хороним. Теперь брат сделал на заводе таблички, никелированные, приглядные, не хуже, чем у людей. Поедем в поселок, на кладбище, прикрепим.

Поговорил я с братом, вернулся в комнату, лампа на столе светит, а за окном тьма. Окно большое, вразмах. За черным стеклом все слилось: темный речной берег, за ним Волга, ее просторные воды тоже во тьме, и — черное небо. Лишь вдали, на том берегу, редкие огни.

Вспомнилось наше поселковое кладбище. Думается о нем легко. Может быть, потому, что уже долгие годы — в последнее время все чаще и чаще — я бываю на кладбище. Кого-то хороню, могилки прибираю весной. А то и просто заглянешь ненароком.

Кладбища я не боюсь. Там уютно, покойно и о смерти вовсе не думается.

Недавно моя соседка, женщина лет преклонных, сказала:

— В поселке иду по улице, народу много встречается, а не с кем стало здороваться: чужие да незнакомые. А на кладбище... Идешь от могилки к могилке — все свои. С одним поговоришь, другого помянешь. Уходить не хочется.

Я еще так сказать не могу: ровесники мои по земле ходят. Но на кладбище бывать и мне вовсе не в тягость.

Вот и сейчас я сижу и кладбище свое по-доброму вспоминаю.

Прежде оно было не особо приглядным, каким-то голым, словно пустырь, но в последний десяток лет на моих глазах стало хорошеть. Пробурили скважину, вода пошла. Можно поливать деревья, цветы. И теперь наше кладбище по лету — зеленый остров. Тополя растут, клены, березки, сосны. Кому какое дерево любо. Весною цветут черемуха, сирень, калина.

В пасхальное воскресенье здесь как на ярмарке. Народ валом валит. У кладбищенских ворот цветы продают: тюльпаны, гвоздики. Автолавка привозит лимонад. Приходят на кладбище принаряженные, с детишками. Приносят куличи, крашеные яйца, конфеты, а кто и винцо. Садятся возле могил, поминают покойных.

Кладбище на Пасху приглядное: свежей краской сияют памятники, оградки. Желтый песочек на дорожках, везде цветы. И зелень, весна, благоухание. На Пасху всегда солнышко светит, народу — что пчел.

Но мне более по душе кладбищенская предпасхальная неделя.

Уже тепло, весна. У ворот кладбищенских насыпаны горы желтого песка. За неделю он весь уберется. Там и здесь, на могилках, работают: красят, моют, подновляют надписи, гребут палый лист, жухлую траву.

Возле нашей оградки, в ногах могил, растет клен, сбоку — большой куст смородины. Я его каждый год собираюсь убрать, но жалею. Он хорошо цветет, рано. Обольется желтизной, пряный дух вокруг. Пчелы гудят, шмели.

Железную оградку заплел виноград. Тоже вроде ни к чему, а вырубать жалко. Все лето оградка стоит зеленая, прикрыта листвой. Осенью виноградные листья багряно пламенеют, среди них — черные гроздья. Ягоды смородины, виноградные кисти — пожива для птиц. Они тут кормятся.

В смородиновой гущине живет славка — невеликая серенькая птаха с белым брюшком, в черной шапочке. Поздней осенью я вижу ее гнездо. Весной она так хорошо насвистывает и меня не боится.

Могилки убирать — приятная забота. Потихоньку возишься: одно дело, другое. На кладбище тихо, хотя люди есть. Порой слышится там и здесь тихий говор.

За полдень кого-нибудь хоронить привезут. Издали слышны звуки печальной музыки.

Хоронить у нас, слава Богу, не разучились.

А вот недавно пришлось мне быть на московских похоронах, так очень непривычно.

Покойника в дом не везут, так и уходит он в последний путь из больничного морга. Пять минут в комнатке под названием «ритуальный зал» посидели. И всплакнуть никто не успел. Поехали...

А на кладбище и вовсе нехорошо. Подъезжает за катафалком катафалк. Гробы ставятся на высокие металлические салазки. И — в очередь.

Длинная очередь. За гробом гроб. За каждым — невеликая кучка людей, сколько в автобусе поместилось. Возле одного покойника оркестр играет. Возле другого, третьего что-то вроде траурного митинга. «Москвичи всегда будут помнить, как в годы войны...» — вещает немолодая женщина над гробом.

А в двух шагах, над гробом другим, иное: «Построил двенадцать станций... Последние годы успешно возглавлял...»

Очередь долгая. Могильщиков всего четверо. Одного зароют, к другому идут. Несладкое ожидание. Погода зимняя, с ветром. Но куда деваться? Из этой очереди не уйдешь.

Правда, и здесь есть «блатные». С катафалка, минуя очередь, через канаву и ограждение — напрямик к желанной могиле. Одного так пронесли, другого. Со вторым поскользнулись, уронили в канаву гроб. Господи...

Зимний ветер. Очередь алым обитых гробов. Кучки озябших людей. Томятся живые. Мертвым уже все равно.

Жить можно и в городе, это ясно. А вот помирать лучше на хуторе ли, в селе, в малом поселке, где, слава Богу, хоронить еще не разучились, где положенный срок остается покойник в доме. Приходят соседи, знакомые, народ и народ. Прощаются. Сидят возле покойного, вспоминают жизнь его. И ночью он не один. А в день похорон, с утра, копают могилу. За полдень понесся по улице прощальный плач: «На кого спокидаешь...»

Последняя неспешная дорога к вечному дому, где весенняя земля пахнет пряно. Молодой лист, коли проснулся он, горчит. И милая птица славочка свистит потихоньку.

Сгребаю палый лист, несу его за ограду. Возвращаюсь, читаю надмогильные надписи. Много имен знакомых. Чужих тут хоронят редко.

На душе хорошо и думается обо всем спокойно, даже о смерти. Умрешь, схоронят, будешь лежать. Но лучше, конечно, не умирать, пожить еще. Здесь, на кладбище, особенно пронзительно понимаешь, как хороша жизнь. Вечно чего-то нам не хватает, не достает, ворчим, недовольные. А раздумаешься: все суета, хороша жизнь. Вот весна пришла, первая пахучая зелень, славка посвистывает. Потом будет лето, вовсе хорошо.

Соседка моя, тетя Паня, в последние годы весной встанет возле цветущей груши и плачет.

— Чего случилось, тетя Паня? — спросишь ее.

— Грушинка цветет, такая приглядная. Умру и не увижу.

Оно ведь и вправду, сады наши цветут — загляденье.

Осенью она горевала возле облитой желтизной абрикосины:

— Листушки золотые... Огнем горят. Умру, не увижу.

Да разве одна тетя Паня такая. Другая соседка еле ходит, почти ползает. Сто болезней у нее, одна другой «лучше». Не живет — мучается. А прошлой весной зашел к ней во двор, она на солнышке греется. «Не хочу, — говорит, — помирать... Пожить бы...»

А ведь сколько на веку ругали и ругаем мы свою «проклятую» жизнь. Не такая она, видно уж, и «проклятая».

Это особенно ясно понимаю я здесь, на кладбище, по весне, когда куст смородины выпускает резные пахучие листья и милая птица-славочка, черной бусинкой глаза косясь на меня, высвистывает: «Ти-ти-ти-день! Ти-ти-ти-день!»

— Все верно, — соглашаюсь я. — Уж день так день.

В последние годы замечаю я, что весенние кладбищенские заботы многим становятся по душе. Прежде с могилками старые люди возились. А сейчас молодые идут, едут. К вечеру людей прибывает, после работы. Весенний день долог, многое можно успеть. Мужики, любители выпить, меж делом стаканчик-другой опрокинут. А резон очень веский: «Могилку убрал и родителей помянул». Тут любая жена лишь руками разведет.

В такую пору случаются и курьезы. Кладбищенская сторожиха как-то мне рассказала.

Утром она пришла на кладбище чуть свет, лишь рассветало. Пришла и слышит: «Папанька, пусти... Папанька, боле не буду... Пусти, папанька...» Вначале оробев, на голос она все же пошла и увидела такую картину: в оградке мужик ничком лежит на надгробье и голову не может поднять. Дерется и просит: «Папанька, пусти... Боле не буду...»

Дело оказалось простое: вечером, после работы, красил он железное надгробье. Красил и поминал отца, к бутылке прикладывался. С выпивкой перебрал и заснул, упав головой на надгробье. Краску разлил. За ночь волосы пристыли к металлу. Утром дернулся: головы не поднять и больно. Вот тут, с похмелья да спросонья, и почудилось ему, что строгий отец-покойник его за космы дерет и не пускает. Он и начал просить: «Папанька, пусти...» Полчуба пришлось отстригать; добро, что ножницы в сторожке нашлись.

Сразу же, пока вспомнил, расскажу еще один кладбищенский курьез. Сосед мой и давний знакомый, тоже любитель выпить, могилки убирая, встретился на кладбище с друзьями. На помин души и за встречу набрались они отменно. Сосед мой еле домой добрел. Он помнил, что, с кладбища выбираясь, сорвался в какую-то яму с мусором. Яма та виновата или веселые друзья-приятели, о том, как говорится, история умалчивает. Но встречные машины, как вспоминал он потом, фарами его осветив в ночи, резко тормозили и сворачивали.

Дома на решительный стук дверь ему отворила старуха мать. Она включила свет в коридоре, спросила: «Кто?» — и отворила. И рухнула, когда сын ступил на порог. Жена оказалась крепче. Она лишь глаза вылупила, открыла рот и громко икала.

Бабьих дурачеств не понимая, сосед шагнул в кухню, увидел себя в зеркале, и весь хмель со свистом вылетел из головы. Из зеркала глядел на него дикого вида мужик, с кладбищенским венком на шее. «Любимому зятю...» — гласила надпись на траурной ленте. Вот тут и он зашатался. Но, говорит, выдержал. Все же мужик.

Такие вот случаются анекдоты.

Первые страницы рассказа о нашем кладбище начинал я писать вечером на прошлой неделе. Теперь продолжаю.

Вчера я ездил в поселок, на кладбище. Накануне дождались мы снега. Но тепло стоит. В городе сразу — слякоть; под ногами, под колесами машин — серый студень. А в степи — бело. Кладбище лежит тихое, на нем снежный пуховый плат. На могилках снежок, на крестах, на оградах. Деревья стоят опушенные, не ворохнутся. На заснеженном клене стая пухлогрудых снегирей. «Фьюить-фьюить-фьюить...» — негромко перекликаются они. На березе, на повислых ее ветвях, — хохлатые свиристели. Нежен их ласковый пересвист. Это гости залетные, с севера, вместе со снегом пришли. Здесь их дом до весны. На кладбище их никто не тревожит и корма хватает: кленовые «летучки», березовые сережки, засохшие ягоды смородины, шиповника, боярки — много всего. Пестрые щеглы прилетят, зяблики.

Нынче на кладбище я приехал, привез инструмент, табличку прикрепил к памятнику винтами. Смотрелось хорошо.

Как всегда, закончив дело, я не сразу уехал, прошелся меж могил.

Свежий снег, тишина, ласковый птичий переклик. На свежих могилках — венки: «Любимому мужу...», «Милой мамочке...», «Соседу Василию...», «Дорогому куму Петру...»

Фотографии на мраморе, на металле. Их теперь делают добротно, не то что прежде: выгоревшие, в дождевых подтеках. Ясно глядят пожилые лица, и молодые, и вовсе детские. Долго на них смотреть нельзя: что-то во взгляде чудится. Укор ли тебе, живому, или просто печаль — до срока и в срок ушедших. Бродишь меж могил...

Конечно, на свете есть кладбища много и много краше. Сколько я видел их: Англия, Франция, Германия... далекая Америка. Гранит, мрамор. Зелень дёрна, цветы. В Словакии, в Песчанах, жил я рядом с кладбищем, ходил туда каждый день. А у нас в стране: строгие кладбища Латвии; помпезные, кичливые — в Грузии. Каждому свое. В Индии погребальный костер на берегу Ганга, где сыновья сжигают мать свою, отца. Это вовсе не наше. Египетские пирамиды на плато Гиза. Тоже ведь кладбище.

Или «Долина мертвых», «Долина царей» — спаленное солнцем ущелье. Ни былки зелени. Голый камень и прах.

Тесный подземный ход словно во тьму веков. Я один в глухом подземелье. Словно тот, кто впервые нарушил здесь вечный покой, подняв над головою неверный свет фонаря или факела. Пламя разгорается, освещая не стены, но яркий земной мир, принесенный сюда человеком: вот пчела золотая, голубая птица, рыба с серебряными плавниками, ушастый заяц, жук-скарабей и ясные звезды в синеве.

Голубизна и зелень, осенний багрец и вечерняя алость. Мир, каким был он много веков назад. Но такой же, как ныне, с вечными звездами над головой.

«Долина царей»... Долина людей, таких же смертных, как родные мои, что покоятся на этом российском погосте.

У нас фараонов не было. Но совсем недалеко, две сотни метров, не более, лежит еще одно кладбище, малое, на два десятка могил. Там начальников хоронили: секретарей райкома, председателей исполкома. Вроде московского Новодевичьего, а вернее — Кремлевской стены, но

местного значения. Там, на бугре, высится и «кремль» наш — черный монумент, памятник. Вокруг чего — десяток-другой могил, чаще всего — в бурьянах. Время от времени привозят туда солдат или школьников мусор убирать. Наскоро прогребут — и всё. Ржавеет железо памятников и оград. Ни зелени, ни цветов.

А у нас на кладбище птицы поют. Особенно весной, когда прибираешь могилки. По времени, по календарю — это месяц апрель, чуть раньше ли, когда какая Пасха выпадет.

Выберешь день — и пошел. На велосипеде ли, пешком. Лучше пешком, путь недалекий. На плечо лопату да грабли, в сумку краску да кисти. Шагаешь потихоньку — спешить некуда: день впереди. Шагаешь, и невольно уходит из души все нынешнее: суета, заботы. Думаешь о тех, кто на кладбище ждет тебя. Вспоминаешь их живыми, какими были всегда, а не мертвыми — с теми лишь прощался.

Идешь не спеша, и словно душа твоя отворяется — все видишь, все чуешь: светлую сквозящую зелень тополей, розовую пену цветущих абрикосин, молочную — вишенную. Если ранняя весна — вовсе белое половодье. Под заборами одуванчик цветет, желтеет. Первые бабочки: корнчневая крапивница да лимонница, легко порхают, завораживая взгляд. Скворцы заливаются, сияет на солнце вороненое их оперенье.

Вот околица. Кладбище — в двух шагах. Горы желтого песка у ворот. Время утреннее, а уже люди есть, убирают могилки.

Иду к себе. Ласточка, щебеча, легко пронеслась, словно путь мне указала. Значит, прилетели и уже не будет холодов.

Клен у могилы зеленеет робко, роняя красноватые нити цвета. А смородина вовсю цветет. Скоро воздух прогреется, и дух от нее пойдет пряно-сладкий. И тогда со всей округи слетятся черные и золотые шмели, пчелы. Куст будет в солнце сиять желтизной, шевелиться, гудеть, словно вот-вот поднимется и взлетит.

Хозяйка куста, белобрюхая славочка, завидев меня, зачечекала было тревожно, но потом признала, стала высвистывать приветную затейливую песнь. Где-то рядом подпеввла ей рыжегрудая аарянка. На маковке клена желтая овсянка тянет долгую дремотную песнь: «Зиньзинь-зинь-зи-и-и...» И сразу вспоминаешь лето: жаркий полдень, полевая дорога, желтеющие хлеба вокруг. На проводах — овсянки. «Зиньзинь-зи-и-и-и...» Песня лета, которое еще впереди.

И нынешний долгий день еще впереди. День неспешной работы.

В оградке и возле — палый лист, за зиму подопревший. Там и здесь на свет левет зеленый стрельчатый пырей. Памятник у могилки поблек, краска кое-где запузырилась, облупилась. Неухоженно все глядится, сиротливо. Но день еще впереди. Старую краску сдерем проволочной щеткой. Свежей покрасим, «шаровой», синеватой. Потом уберем мусор, старый лист, прошлогодний бурьян. Перекопаем землю в оградке, выдирая корни ползучего пырея. Перекопаем, утопчем — все станет ровненько. Надгробье промоем мыльной водой, потом сполоснем чистой. Оно высохнет, заблестит. Напоследок принесем желтого песку, раз да другой. Посыплем возле могилки и оградки, дорожку подновим. И могилка сразу засветится, словно засияет вокруг нее золотистый солнечный нимб.

Буду уходить — оглянусь: над могилками словно золотое марево встало — сияет и светит. И в этом мареве увижу я дорогие мне лица. Я пробыл с ними весь долгий день, теперь ухожу, прощаюсь. Слезы подступают к глазам. Я не держу их. Это плачет моя душа, радуясь и горюя. Плачет о тех, кто ушел. Плачет и о своем: о жизни, которой отмерян срок в этом теплом сияющем мире. Вот и еще один день прошел.

«День-день-день-день-дее-ень..»

Нежно и печально льется с неба щемящая песнь.

ПОЭЗИЯ



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ



СИЯНЬЕМ СОЛНЕЧНЫМ ОБЪЯТЫЙ

* * *

— Тяжелый гнет такой.
Откуда он, скажи?
— Тяжелый гнет такой
И сам я сознаю.

— А как же гнет такой
Выносишь ты, скажи?
— А тем, что гнет такой
Я сам и создаю.

* * *

— Твои шаги неотвратимы,
Неисчислимы дни твои,
Дороги неисповедимы,
Спасительны слова любви.

— Но все же, все же не хватило
Мне безграничных сил моих,
Чтоб встать,
чтоб встать пред мощной силой
Пред смертной силой дел земных!

— Идешь тропой ты, право слово,
Совсем какой-то не такой:
И лошадь есть, и есть корова.
— Зато заботы — никакой.

— А ты, напротив, право слово,
Идешь старинною тропой:
И ни козы, и ни коровы.
— Зато заботы — никакой!

КАЗАНЦЕВ Василий Иванович родился в 1935 году в Томской области. Окончил Томский университет. Автор поэтических книг «Дочь», «Прощание с первой любовью» «Талина» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в подмосковном городе Реутове.

* * *

— Ты как, скажи, сюда попал,
В край сумрачно-голодный?
— Меня никто не высылал.
Я человек свободный.

— Кто край цветущий превратил
В край тусклый, в край
бесплодный?
— Пустыню сам я сотворил.
Я — человек свободный.

На станции метро

Посреди бесконечного гула,
Тяжело опустясь на скамью,
Узелок не спеша развернула
И достала краюшку свою.

Разломила ее, пожевала,
Глядя в омут людской, как в туман.
Крошку вдруг на полу увидала —
Подняла. Положила в карман.

Не затем, что такой бережливой,
Что такой экономной была,
Не затем, что упорно, ревниво
Чистоту в помещеньи блюла.

Не затем, что заботой завидной
Отличиться хотела от всех,
А затем, что бросать ее стыдно,
А затем, что бросать ее — грех!

* * *

Была лесная жизнь нема,
И с каждым днем — немей, немее,
И шла за тьмой другая тьма,
И с каждым днем — темней,
темнее.

И, наконец, чрез много лет,
Звездой нечаянной белея,
Мелькнул, блеснул,
сверкнул просвет,
Но он был прежней тьмы страшнее.

* * *

Сияньем солнечным объятый
Воздушно-трепетный овал...
Ценил я этот куст когда-то
За то, что ягоды давал.

Прошли года. Любви послушный,
Прикосновенью красоты,
Ценил я этот куст воздушный
За то, что он давал цветы.

Прошли года. Трудом сморенный,
Работой страдной полевой,
Ценил я этот куст зеленый
За то, что веял тенью в зной.

Прошли года тропой старинной —
Ценю теперь тот куст родной
За то, что длинно, длинно, длинно
Шумит он в долгой тьме ночной.

* * *

Я не успел прочесть газету.
И новый близится рассвет.
И новый день. Газету эту
Теперь читать и смысла нет.

Прочту я свежую газету —
Лавину новых бед, побед...
Но закружился я по свету
И не успел прочесть газету.

И новый близится рассвет.
И новый день встает. А эту
Теперь читать и смысла нет.

Прочту уж свежую газету —
Прошедших суток яркий след.
Но, коль признаться по секрету,
Я не успел прочесть и эту.

И новый близится рассвет.
А эту, ясно же, а эту
Теперь читать и смысла нет.

Уже другая вышла в свет.
...Пройдет так много, много лет.
Возьму я свежую газету —
И вмиг на все найду ответ.

* * *

Хотел в размеренной беседе
Ты о селе сказать своем,
Но невзначай друзья, соседи
Все оказались под замком.

Хотел, печась об общем благе,
Сказать о смолкнувшем былом,
Но книги, письма и бумаги
Все оказались под замком.

Но сотряслись поля, дубровы.
И берега родной реки.
И разлетелись все засовы.
И в прах упали все замки.

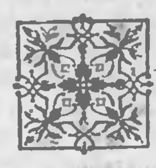
Хотел про все свои победы
Поведать ясным языком.
Но не сумел начать беседы —
Душа осталась под замком.

* * *

Как блестки конской сбруи,
Скользят, скользят, скользят
Поземки белой струи
Среди лесных громад.

В неясной мгле далекой
Негромкий стук копыт
Над полевой дорогой
Стремительно летит.

Над стынущими снами
Темнеющих болот
Прошедшей жизни память
Звенит. Гремит. Поет!



ПРОЗА

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ



ДВОЕ НА БЕРЕГУ

РАССКАЗ

В районном городке С...

Написал и подумал: какое удачное начало, свежее, незатрепанное. Во всяком случае, никто еще, помнится, так не начинал.

Из всего написанного мною раньше я могу чуть ли не каждую строчку заверить у нотариуса, потому что все там — и люди, и обстоятельства — взяты с натуры. Не только люди, но даже собаки, которых я касался в своих сочинениях, достоверны; они действительно жили, а возможно, и по сей день еще живут на белом свете. Иногда меня благодарили те, кто узнавал себя, иногда обижались за себя и за своих собак. Наконец, все это мне наскучило, и я решил теперь ничего не брать из жизни, а выдумывать, как это делают настоящие писатели. И вот сразу же у меня получилось свежее, незатрепанное и довольно-таки удачное начало. И на душе стало легко. Никто теперь не станет строить догадки: а какой это городок держит он в голове у себя под буквой С. и что за люди, кого он подразумевает? Те, кто любит до всего дознаваться и все раскрывать, прежде сразу бы сказали: ясно, мол, под буквой С. взял он город Суздаль, и так далее. И, разумеется, были бы неправы. Потому что Суздаль еще в старые времена имел коренное отличие от моего городка С. Там было сорок церквей и один кабак, а в моем городке все наоборот: было сорок кабаков и только одна церковь. В наше время эти различия стали еще более заметными. К тому же Суздаль — это действительно существующий город, а городок С. живет только в моем воображении, в натуре его не было, нет и, возможно, никогда не будет. Так же и те двое, о которых пойдет речь. Вадим Александрович Овчинин-Троепольский и Божко Андриан Фомич никогда не сидели на одном берегу и никогда не будут сидеть, ибо хоть и есть река в моем городке, ни Божко, ни Овчинина-Троепольского в нем никогда не было и, думаю, не предвидится и в будущем.

РОСЛЯКОВ Василий Петрович родился в 1921 году в Ставропольском крае. Окончил МГУ в 1950 г. Кандидат филологических наук. Участник Великой Отечественной войны. Автор романов «От весны до весны», «Последняя война», «Витенька», многих повестей и рассказов.

Когда номер был уже сверстан, пришло скорбное известие о кончине автора.

Но вот я подумал, и они будут жить до поры до времени, а сегодня, в последнюю пятницу июня месяца, сидят, как всегда, на зеленом берегу речки, которая омывает мой тихий город С. Андриан Фомич Божко сидит на раскладном стульчике, курит и смотрит на заводь, где плавает самодельный его поплавок из пробочки. А Вадим Александрович Овчинин-Троепольский так же сидит на раскладном стульчике перед самодельным мольбертом. Один сидит у самой воды, другой на самом гребешке зеленого берега. Вадим Александрович в одной руке держит кисть, в другой — палитру с надавленной на нее масляной краской.

Оба они старики-бобыли, живут примерно одинаково. Однако прежняя их жизнь шумела и текла, даже, было время, в разных направлениях, пока, наконец, не утихла и не сошлась на этом берегу, в этом моем городке.

Вадим Александрович носит бороду веником, но легкую, необременительную, под стать его сухопарой высокой фигуре. В его светлых, холодноватых глазах ничего прочитать нельзя, тем более что при разговоре он смотрит поверх головы собеседника, куда-то в неясную даль. Одет он в опрятный летний костюм из льняного полотна, на голове полотняная шляпа, смахивающая на детскую панамку. По городу и сюда, к берегу речки, ездит на велосипеде. Сейчас машина лежит в траве, за мольбертом, поблескивает спицами. Говорит Вадим Александрович басом, глухим, невыразительным, но сильно грассирует, то есть звук «р» не с ходу берет, а как бы объезжает стороной, слегка лишь задевая его сбоку. Свое грассирование считает знаком благородного происхождения, втайне гордится им. Вполне свободно читает и говорит по-французски и этим тоже гордится втайне.

Андриан же Фомич никаких чужих языков не знает и не испытывает в них никакой нужды. Он, как и положено по всем литературным канонам, полная противоположность Вадиму Александровичу. Ростом невысок, скорее низок, приземист, но тяжел, с большими излишествами в области живота, охваченного тонким ремешком, как пивной бочонок обручем. Лицо круглое, мясистое, чисто выбритое, на голове также полотняный картуз. Ходит пешком. На ходу шаркает подметками, сопит и много потеет. Глаза у Андриана Фомича немного выпуклые, с красными прожилками на белках. Взгляд тяжелый, волевой. А голос тонкий и нежный, почти женский.

Зеленый берег речки, с луговой стороны, почти немыслим без Андриана Фомича с его удочкой и Вадима Александровича с его легкой бородой и мольбертом. Горожане привыкли видеть их тут чуть ли не каждый день с весны до глубокой осени. Однако я взял последнюю пятницу июня, потому что в этот день судили участкового милиционера за убийство и об этом говорили на улицах, в магазинах, в учреждениях, в домах, на огородах и даже в бане. Баня у нас по пятницам работает. Говорили и мои старики на зеленом берегу. Так-то они давно знают друг о друге все до последней капли. Давно выговорились. Сидят обычно молча, каждый за своим занятием. А когда они молчат, как я их буду описывать? Это ни мне, ни читателю не интересно. Сегодня — другое дело.

Андриан Фомич, как я уже сказал, сидит у самой воды. Рыба его не застесняется, потому что место хорошо им подкормлено. На ночь он бросает в заводь перловой каши.

С трудом вывернув массивную шею, он говорит через плечо:

— Слышите, Вадим Александрович? Бабы опровергают решение суда.

— Глас народа, — отвечает сверху Вадим Александрович, — глас божий.

Наискосок от приятелей, на городском берегу речки, почти у самого моста, испокон веков бабы полоскают белье. Для этого дела сооружен тут дощатый наплот с перилами. Полоскали белье и в эту пятницу. По-над рекой все звуки далеко слышны. Старикам слышно и хлопанье по воде мокрого белья, и журчанье струй, когда белье выжимают, и отдельные слова.

— Твоему-то за что два года дали?

— Грозился убить.

— Полно, грозился! Он же бил тебя.

— Ударил раз, не больно.
— Не больно, а кричала. Улицу собрала.
— Боязно, бабы. С шилом кинулся, проколоть мог.
— А этот убил — и три года.
— Она с другим таскалась.
— Дак убивать? На это им оружие выдают?
— Волю взяли, им все можно.
— Она хоть и гуляла, а баба хорошая была.
— Теперь они, как курей, будут стрелять нас. Три года не страшно.
— А что три года? В иной тюрьме, говорят, как на воле, а то и лучше.
— А твой за что тебя?
— На водку не дала. Неуж гуляла?!
— Милиционерша гуляла.
— Побил бы.
— Говорят, бил, не помогло.
— Не стрелять же в человека. Ушел бы, и все.
— Любовь была.

Кто-то засмеялся, тонко. Девка, видать.
— Смейся, пока замуж не выскочила!
— А я не выскочу.
— Не выскочишь. Гляди, сиси уже в кофте не помещаются.

Застыдилась девка, замолчала.

Послушали Андриан Фомич с Вадимом Александровичем, сами заговорили.

— Насчет гласа божьего вы верно сказали, Вадим Александрович.
— Верно. Только глас этот уже не нашего бога.
— А чьего же?
— Вашего, Андриан Фомич.
— Так, так. Я ведь забываю все. Забывать стал.
— А вы, Андриан Фомич, не забывайте. Пожалуйста, человек убил человека, ну, этот участковый, пристрелил жену свою. Мерзавец, конечно, тут и говорить не о чем, но вот глас требует, чтобы и участковому присобачили смерть. Зло рождает зло, кровь требует крови. В народе разбудили зверя, приучили к крови.
— Кто приучил?
— Вы, Андриан Фомич, вы.
— К крови приучить нельзя, и мы не приучали, но этого типа я бы поставил к стенке, это факт. Он не женщину убил. Он всадил пулю в гуманность нашей идеи, нашей революции.
— Вот, вот. Об этом я и говорю, дорогой Андриан Фомич, вы это умеете — к стенке. Скольких вы поставили? Или и это забывать стали?
— Нет, не забыл. Но ставил к стенке только по железной необходимости.
— Ну да, когда требовала гуманность вашей идеи, тогда и ставили.
— Факт. Именно когда требовала гуманность нашей идеи и революции. Вот вас, Вадим Александрович, не стал же ставить?! Не стал. А казалось бы... чего проще?

...Отставной генерал Овчинин-Троепольский загодя покинул пределы своего Отечества, бежал за границу, оставив сражаться за свою Родину любимого отпрыска, Вадима. Молоденький штабс-капитан в предгорьях Северного Кавказа напал со своим полком на один из гарнизонов красных и был наголову разгромлен. Просто поднять руки и сдать себя и остатки своего полка на милость победителей казалось штабс-капитану не столько позором, сколько непереносимой пошлостью, недостойной его высокой любви к самому себе. Он собрал на берегу горной речушки остатки полка, велел заседлать себе лошадь и с седла уже произнес последние слова.

— Полчане, — воскликнул он, явно подражая кому-то, — я благодарю

вас за усердие в боях с красной сволочью, но мы проиграли бой и нашу Россию. Бог оставил нас, и мы обречены. Спасайтесь, кто как может. — Развернул коня и ускакал по каменистой тропе. Полчане думали, что он ускакал в штаб своего командования, но их свежеиспеченный командир помчался в город, где уже полгода работала новая власть. Штабс-капитан вихрем пронесся по главной улице к площади, выскочил к одноэтажному домику под красным флагом. Перед крыльцом спешился, пружинистым шагом, придерживая саблю, взошел по ступенькам мимо оторопевшего красноармейца. В коридорчике рванул на себя первую дверь и внезапно остановился перед острым взглядом человека в кожаном картузе и кожаной куртке. Председатель ревтрибунала шевельнулся литой фигурой, скрипнула кожа куртки. Девичьим голосом он сказал, не отводя темных непроницаемых глаз от штабс-капитана:

— Докладывайте, господин офицер!

Вадим Александрович молодцевато снял саблю, ремень с оружием в желтой кобуре и все это положил на стол перед председателем.

— Не изволю знать, как величать вас...
— Председатель ревтрибунала Божко, — сказал Андриан Фомич, не выпуская молодого Овчинина-Троепольского из своего цепкого взгляда.
— Я рад, что попал именно туда, куда мне нужно, господин председатель. Однако прошу вас не думать ничего лишнего, я ненавижу и презираю вас, но пришел сложить оружие, ибо наше святое дело проиграно. Можете меня расстрелять, я готов. Командир сборного полка штабс-капитан Овчинин-Троепольский.
— Где ваш полк, штабс-капитан?
— Я отпустил остатки его на все четыре стороны.
— Вот, штабс-капитан, валяйте и сами на эти же стороны.
— Но я требую обращаться со мной, как с вашим врагом.
— Какой из вас враг? Вот вы и саблю, и револьвер на стол положили.
— Я честно сложил оружие ввиду безнадежности дальнейшей борьбы. Но я остаюсь навсегда вашим врагом и прошу поступить со мной в соответствии с этим.
— Никак вы просите, чтобы я поставил вас к стенке?
— Я просил, но теперь требую этого.
— Ну что ж, господин штабс-капитан. Пусть будет по-вашему. Только давайте уж по всей форме. Садитесь. Будете отвечать на мои вопросы, а я запишу, оформим и уж тогда к стенке. Садитесь.

Овчинин-Троепольский сел.

Фамилия, имя, отчество, место и год рождения, чин и звание, служба, и так далее. Штабс-капитан отвечал исправно и был удовлетворен этим поворотом дела, хотя почувствовал, как засосало у него под ложечкой.

Божко, когда записывал место рождения штабс-капитана, а этим местом был его родной городок С., на мгновение остановил руку с пером, но преодолел соблазн объявиться земляком, спросил строго, отстраненно.

— Значит, имение под городом С. — это ваше имение? И генерал-помещик Овчинин-Троепольский — ваш папенька?
— Так точно, но откуда вам это известно?

Андриан Божко не хотел признаться, что его отец долгие годы служил у генерал-помещика лесным сторожем.

— Что с папашей? — спросил Божко.
— Он за границей.
— Бежал, значит?
— Можно и так сказать.
— Подпишитесь под протоколом допроса. Вот так. А теперь, господин штабс-капитан, идите, вы свободны, а у меня много дел. Вы и так отняли у меня битых полчаса.

Вадим Александрович вскинул спесивую голову.

— Как это понимать, господин председатель?
— В точности так, как я сказал.
— Но, позвольте...

— Встать! — крикнул Божко высоким девичьим голосом, от которого приходили в ужас попадавшие в трибунал люди.

Вадим Александрович машинально подскочил, вытянул руки по швам, пристукнул каблуком о каблук.

— Кру-у-гом!

Но штабс-капитан уже опомнился и не исполнил команду, а стал возражать, усиленно грассируя, то есть боком обходя «р» и заставляя этот звук неприятно для уха Божко вибрировать.

— Вы можете меня р-расстр-релять, но командовать мной я не позволю! — Сменив стойку «смирно» на «вольно», Вадим Александрович продолжал стоять с гордо поднятой головой.

Андриан поднялся, снял кожаный картуз, потер ладонью стриженую голову. Потом саблю и оружие с портупеей взял со стола, перенес к окну и повесил на гвоздь. Похаживая вдоль окон, тихо и раздумчиво стал говорить.

— Если бы, штабс-капитан... вы еще очень молодой парень, на целых два года моложе меня, и я с трудом называю вас господином штабс-капитаном, да и сами вы, кажется, еще не привыкли к своему «штабсу», если бы вы явились к своему начальству, оно бы немедленно вас расстреляло как труса и предателя, ибо не смогло бы понять вас. Вы оказались умнее своих начальников, они еще надеются на что-то. На что надеяться? — Андриан развел коротким руками. — Вы оказались умнее. Могли бы получить свою пулю в бою, могли бы, наконец, сдаться там же, в бою, но вы пришли за красивой пулей, но, к сожалению, я не могу ее вам дать. Вы позируете сами перед собой, разыгрываете какую-то роль. Я не буду вам подыгрывать. Ваше решение пасть красиво жертвой красной жестокости, варварства большевиков нельзя назвать умным решением. Глупо, совсем глупо, господин штабс-капитан. Кто виноват, что вы родились не в крестьянской избе, а в помещичьей усадьбе? Никто, голый случай. Так исправьте эту ошибку случая или судьбы. Война, начатая белыми, проиграна ими, у вас хватило ума понять это, теперь постарайтесь понять, что надо жить, найти свое место в новой жизни.

— Похоже, господин председатель, вы уговариваете меня служить вам. Но ведь я сказал ясно, что ненавижу и презираю вас.

— Это у вас не от ума.

— Хотя я должен честно признаться, — у штабс-капитана дрогнули молодые, с рыжинкой, усики; видимо, в эту минуту хотела пробиться неуместная улыбка, но вместо нее получилось что-то вроде быстрой судороги возле рта. — Если бы мы были одного сословия, мне бы захотелось подружиться с вами.

— Видите, штабс-капитан, как близко от ненависти до любви! — Андриан подошел к двери, открыл ее и крикнул дежурного красноармейца. Тот шаркнул в коридоре сапогами, вмиг очутился на пороге, вытянулся перед председателем трибунала.

— Что здесь происходит? — с деланой строгостью спросил Андриан красноармейца и кивнул на штабс-капитана.

— Они не слухают, штовхаются.

— А ты что, девка безоружная?

— Виноват, товарищ начальник, — красноармеец потупился, опустив голову.

— Проводи штабс-капитана на улицу, он мешает мне работать.

— Есть, шоб не мешал! — пристукнул красноармеец прикладом об пол.

Бравая голова Вадима Александровича сникла, свесилась на грудь и, сутулясь, он вышел из кабинета перед красноармейцем.

Ничего не получилось красивого у юного штабс-капитана — ни красивой смерти, ни красивых мук в большевистском застенке. Вместо всего этого просто выставили за дверь, отправили на все четыре стороны, как, между прочим, и сам он своих полчан.

— Шлепнуть человека ничего нет проще, — сказал Вадим Александрович. — Особенно по тем временам. На это я и рассчитывал. Однако ошибся

в расчетах. Вы, Андриан Фомич, предпочли унизить меня своим великодушием. Даже теперь вспомнить стыдно.

— А я-то думал, вы и по сей день благодарны мне, Вадим Александрович.

— Разумеется, я благодарен вам. Все перегорело, ушло, а я, по вашей воле, жив.

— И выглядите, между прочим, не на семьдесят девять, а на хорошие шестьдесят.

Вадим Александрович усмехнулся в бороду.

— Но ведь за вашей властью, Андриан Фомич, должок в тридцать лет. Их-то надо сбросить.

— Тут вам нечем гордиться передо мной. Кстати, до сих пор не удосужился узнать: за что вас, Вадим Александрович, замели-то?

— За то же, что и вас, Андриан Фомич.

— Ну, Вадим Александрович, это уж вы извините, — возвысил свой женский голос Божко и даже поднялся со стульчика. — Вы под чужое-то знамя не пристраивайтесь. Я — одно дело, вы — совсем другое.

— Однако же, дорогой Андриан Фомич, колючая проволока нас уравняла.

— Фактор чисто внешний. Дак за что же в самом деле?

— За отказ сотрудничать. Еще при железном Феликсе. А вы, Андриан Фомич?

— Я, Вадим Александрович, — жертва ошибки. Не разобрались. Ежовщина тогда была. Не подписал против товарища, его по стечению фактов взяли, то клеща в зерне нашли, то овец пригнали, а они чесоточными оказались. Вредительство. Я не подписал. Вины за моим товарищем не было, за мной — тем более.

— Вот видите, вины ни за кем не было, а оба пострадали.

— Пришлось, Вадим Александрович. А вы опять мост малюете? Это уже двадцатый у вас?

— Полно вам, только десятый. Половина мостов уже продана. А все-таки, Андриан Фомич, зря вы тогда затеяли заварушку свою. Зря, дорогой. Не готова была Россия-матушка.

— Как это не готова? Не готова, дак не одолели бы вас, дорогой Вадим Александрович. Больше полвека стоим, войну выиграли какую, мир от Гитлера спасли, а вы — не готова.

— По голой силе, может, и да. Но ведь сколько зол наделала голая сила. По духу, по разуму не готова была. Вы говорите, ежовщина. Была и бериевщина, и культ личности с его последствиями. Наломали дров, а отчего?

— Дак отчего?

— Оттого, отчего участковый застрелил свою жену. От невежества, от незнания.

— По-вашему, он стрелял в женщину, в жену, и не знал, что совершает преступление?

— Именно, Андриан Фомич. Невежество участкового помешало ему сделать правильный выбор. Выбор между добром и злом. Все дурные поступки совершаются по невежеству, а добрые — по знанию.

— По-вашему, дак можно оправдать любого преступника, раз нельзя наказать за незнание, за невежество.

— Человек, Андриан Фомич, так устроен, что никто себе не враг, и никто не желает себе зла, а если уж делает зло, то по величайшему невежеству.

— Философия. Значит, Россия-матушка не готова была к правильному выбору между добром и злом? Так я вас понял?

— Так, Андриан Фомич.

— А ведь сделала выбор. И очень даже правильный. И вы, кажется, поняли это в свое время и сложили оружие. И ко мне явились, помните?

— Как не помнить? На тот час выбор был правильный. Это всем было ясно. Но ведь взять власть-то — это еще далеко не все. Надо было жизнь жить и при этом поменьше делать зла. А вот для этого вы не готовы были.

— Значит, надо было подождать, пока поспеем?

— Да, Андриан Фомич, маленько бы подождать.

— Это сколько же, маленько?

— Ну, годиков сто, сто пятьдесят.

— Понятно. А мы бы в сторожах у вас сидели, а вы бы на французских языках разговаривали да пороли нас на конюшнях, а мы, выпоротые, с посеченными задами все бы ждали, когда поспеем.

— Вы сильно упр-рощаете, дор-рогой Андр-риан Фомич. — Вадим Александрович сделал решительное движение кистью, откинул голову, присмотрелся к законченному этюду, потом встал, чтобы размять спину.

— Вроде получается. Как считаете, Андриан Фомич?

Божко топтался за спиной Овчинина, курил, потому что поплавок давно уже был неподвижен. День клонился к вечеру, когда рыба снова пойдет на кормушку и начнется клев.

— Получается, Вадим Александрович. И раньше получалось, но вы все новые и новые рисуете мосты. Не надоело?

— Не могу остановиться на полдороге, Андриан Фомич. Каждый раз кажется, что схватил, а закончишь — ничего, все ушло, остался простой мост. А ведь я бьюсь над чем? Чтобы он соединял что-то с чем-то. Ну, вроде небо с землей или один берег жизни с другим берегом жизни. Что-то в этом роде. Схватишь, а оно ускользает, и опять остается простой мост.

Вадим Александрович стал собираться домой, укладывать краски, приторачивать к велосипеду этюдник.

— Оставайтесь на вечернюю зорьку, может, на зорьке схватите, — посоветовал Андриан Фомич, осторожно спускаясь к воде. Там, на песчаном откосе, стоял его стульчик, а рядом полиэтиленовый пакет с нарезанной хлебной корочкой. Он ловил на хлебную корочку.

— Желаю удачи, сегодня я наметил себе, — сказал Вадим Александрович, — к Грушеньке сходить.

Вадим Александрович ходил к Грушеньке по субботам. Но завтра ожидался праздник, двухсотлетие городка, и приятели уговорились пойти посмотреть на праздник. Многолюдство, нарядно одетые женщины, дети с цветными шарами, музыка на стадионе, все это не вязалось с кладбищем. И Вадим Александрович решил перенести посещение родной могилы на сегодня, на пятницу. Он думал об этом, спускаясь с высокого берега по луговой тропинке, ведя в руках велосипед. Возле ольхового куста поставил его и пошел по траве набрать луговых цветов. Луг был желтый от лютика и калужницы, в редких капельках красных кукушкиных слез, гвоздички и смолки с липкими ножками. Хотелось незабудок положить в букет, но незабудки отчего-то не росли на этом лугу.

С дороги от автобусной станции через мост прохожим был виден высокий старик с легким веником бороды. Старик склонялся то и дело над желтым лугом, набирал в левую руку нелепый букет. Возможно, и сам он был нелеп в своем одиночестве на этом вечереющем желтом поле цветов, поблизости от моста, который никак не давался ему, не соединял что-то с чем-то, одну жизнь с другой, или хотя бы небо с землей, не в прямом и грубом смысле, а в туманном, отвлеченном, в виде несмелого намека на что-то, едва уловимое. И думалось ему сейчас о Грушеньке и о навязчивой своей затее положить этот простой мост на полотно и чтобы вел он не просто через речку в городок, а куда-то в неясный, иной мир, может быть, прямо к Грушеньке.

Вадим Александрович жил на главной улице, в деревянном двухэтажном доме, рядом с бывшей гимназией, куда он ходил в давние-предавние годы. Теперь ему казалось, что тех лет никогда не было, и не только потому, что были они немыслимо давно, а потому еще, что весь порядок жизни переменился так, что ничего из прежнего в нем не оставалось и ничто не связывало нынешнюю жизнь с той, ушедшей. Только в душе его все еще держался зыбкий мостик, соединяющий его с прежней жизнью, где главное место занимала Грушенька, крестьянская девушка из ближней деревеньки, которую видно было из окон барского дома. И сейчас обветшалый барский дом все еще отделен от деревни заросшим оврагом, на дне которого в те давние годы бежал бойкий ручей, начинавшийся от светлого родничка. В том овраге, у родничка, приехавший из Петербурга барчонок-юнкер и встретил крестьянскую девчонку Грушеньку. Здесь они встречались потом золотыми вечерами, целовались и клялись в вечной любви. Страсть так захватила молодого барина, что он объявил отцу о своем намерении жениться на Грушеньке. Отставному генералу блажь эта была хорошо знакома, и он отнесся к заявлению сына с мудрой усмешкой, понадеявшись на благоразумие, которое придет к семнадцатилетнему сыну с возрастом. Но тут, как снег на голову, свалилась на генерал-помещика великая Революция. С радужными надеждами на возрождение России, с проектами по перестройке имения и другими благородными замыслами отставному генералу пришлось вскоре расстаться и думать уже о другом; пришлось хлопотать о бегстве за границу, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих домочадцев. И это предприятие ему удалось. А Вадима Александровича бурная река жизни, а она-таки бурной была в ту пору, вынесла в двадцать шестом году на Север, где предстояло ему прожить длинную жизнь, полных тридцать лет. Вернулся он в родные края уже с этой бородой-веником и неясными надеждами на будущее. Никого уже не опасаясь, направил он ладью свою к туманным берегам своей юности. С рюкзачишком за спиной побродил вокруг усадьбы, спустился в овраг, но родничка уже не было на дне его, выбрался на противоположную сторону, и в густых потемках, когда деревня уже спала, ноги сами понесли его к третьему с краю домику. Постучался в темное окошко. Затаился. Редкие, но сильные удары сердца мешали ему прислушаться к тишине внутри дома. Еще раз поклевал ногтем в черное стекло.

— Кого там нечистая сила? — отозвалось внутри.

Потом чиркнули спичкой, вспыхнула висячая лампа. Вадим Александрович перешел к выходной двери. Через минуту дверь со скрипом ушла в темноту тамбура. Вадим Александрович шагнул во тьму с единственным словом:

— Гр-рушенька...

На его плечи легли женские руки.

— Господи, живой, Вадимушка.

Они стояли, не видя друг друга, голова ее вздрагивала на его груди, под бородой, от женщины исходило сонное тепло, но она зябко вздрагивала и неслышно плакала. Вся жизнь, все ее обиды, непереносимая жалость подступили к горлу, и Вадим Александрович впервые за долгие годы не сдержался, всхлипнул по-детски и приник к волосам Грушеньки. Запах поля, увядающего сена и сонного тепла мягко душил его и не давал успокоиться. Боже мой, бо-же мой...

...«Здравствуй, Грушенька», — сказал или только подумал про себя Вадим Александрович, опуская свежий букет на могилу, рядом с уже высохшими цветами прошлой субботы. Ему казалось, что он разговаривает с Грушенькой, но слов не было слышно. Он поправлял луговые цветы, гладил голубец над деревянным крестом, а слова всплывали где-то на глубине и неслышно проходили там, как немые рыбы. Вот пришел я опять, голубушка, скоро уж приду насовсем, и больше мы не будем разлучаться, дай вот мост мне уловить, и я прямехонько по нему к тебе, и конец нашей разлуке. Ты не обижайся, Грушенька, завтра я не приду, город празднует свое двухсотлетие, и мы с Андрианом Фомичем посмотреть хотели. Про дом говорить нечего, там все, как при тебе было, за меня не волнуйся, перебиваюсь кое-как, только вот мост не дается. Может, и правда на зорьке попробовать, при свете заката, может, и прав Андриан Фомич. Шли слова, шли, как рыбы на глубине. Вадим Александрович уже прикрыл железную дверку ограды и сидел горюном на лавочке, а слова всё шли и шли, и тихий день дотлевал под могучими кладбищенскими ракитами...

Божко сидел на своем раскладном стульчике у подъезда дома, где жил Вадим Александрович, покуривал через костяной мундштучок, без всякого интереса провожал глазами редких прохожих и еще более редкие в эту пору машины или трескучий мотоцикл с двумя седоками в размалеванных касках.

— Батюшки мои, Андриан Фомич! — воскликнул Вадим Александрович, развел руки от неожиданности. В бороде его пряталась грустная улыбка.

— Никак, ушицей вздумали угостить?!

— Фактически так, Вадим Александрович. — Андриан Фомич грузно поднялся, сложил стульчик, взял рыболовное ведерко.

— Ну, коли так, милости прошу к нашему шалашу. — И Вадим Александрович пропустил перед собой Андриана Фомича.

Комната была в первом этаже, напротив деревянной лестницы, ведущей наверх. Была тут и общая кухня, которой Вадим Александрович после смерти Грушеньки перестал пользоваться. В его комнате один угол справа от двери был отведен под кухню и столовую. Водопроводный кран над эмалированной раковиной, электроплита на широкой тумбочке и стол для еды. Все это отгорожено от остальной части комнаты ситцевой занавеской. Тут стояли стол у окна и широкая деревянная кровать, да кое-какая мебелишка, вывезенная в свое время из деревенского дома Грушеньки. На стенках висело множество этюдов в рамках и без рамок, среди них — пять-шесть «мостов». Перед письменным столом увеличенная семейная фотография — Грушенька с мужем, колхозным бригадиром, и сыном-подростком. Оба они, муж и сын, убиты на войне, но остались висеть над письменным столом Вадима Александровича и после Грушенькиной смерти. Небольшой застекленный шкафчик набит был книгами в старых кожаных переплетах. Вадиму Александровичу кое-что удалось подобрать в подвалах бывшего имения. Там же, в подвале, среди всякой рухляди, нашел он и бронзовый бюстик царя Александра II. Царь стоял на одной из полок книжного шкафа. Тем из любопытных, кто изредка навещал Вадима Александровича, он выдавал царя-освободителя за баснописца Крылова в молодости.

Пока Вадим Александрович ставил кастрюльку с водой, чистил картошку для ухи, Андриан Фомич разглядывал книги, иную снимал с полки, пролистывал; бюстик этот бронзовый на ладони понянчил, обглядел со всех сторон, искал надписи какой-нибудь, ко не нашел, а вообще-то он знал, кажется, он один знал, что это не баснописец Крылов.

— Небось, тоскуете, Вадим Александрович, по этим баснописцам?

— Тоскую, Андриан Фомич. Вам этого не понять, конечно.

— Фактически тут и понимать нечего, Вадим Александрович. — Андриан Фомич еще раз понянчил царя. — Ведь вы были монархистом, им же и остались, так, Вадим Александрович?

— От вас не буду скрывать, остался.

— Странного ничего в этом нет, Вадим Александрович. Странно другое. Как это мы спокойненько говорим об этом. Могли бы мы вот так разговаривать лет тридцать, сорок тому назад? Мыслимо ли? И не в том дело, Вадим Александрович, что за одного вот этого баснописца вашего вас бы за жабры взяли, а в том, что я, красный с ног до головы, и вы, с головы до ног белый, разговариваем о таких вещах спокойненько и просто, как о плотве какой-нибудь (кстати, я почистил ее на реке, не люблю заниматься этим дома), разговариваем фактически без всякой вражды, а как-то, черт его знает, совершенно спокойно, без драки, даже голоса не повышаем. Неужели все теперь ни к чему? Столько крови пролито. Зазря, что ли? Ведь дрались не на живот, а насмерть. А теперь говорим, и хоть бы хны. Больше того, вам, белому офицеру, советская власть пенсию положила и платит регулярно, каждый месяц. Как все это понять, Вадим Александрович?

— Что касается пенсии, Андриан Фомич, то я заработал ее честным трудом. И в лагерях, и в ссылке, да и на воле не дурака валял, а работал. Касательно же наших с вами разговоров, так ведь от них ни одна муха не сдохнет в нашем государстве. Что толку, что мы говорим, вспоминаем, ведь мы уже выпали из жизни, там-то, в ней, и сейчас не разговорились бы особенно, тем более спокойно. Не бойтесь, Андриан Фомич, ничего из вашего не пропало зря, все на месте и ничего не переродилось, мы выродились, нам пора на кладбище, мне бы схватить мост мой, и все, делать больше нечего на земле. Да и вам, собственно, нечего засиживаться. Жизнь давно идет мимо вас. Мимо меня она почти всегда текла.

По комнате распространился крепкий запах ухи. Поспела уже. Андриан Фомич потянул носом, поставил царя на место.

— Да, Вадим Александрович, жизнь мимо уже течет. Не верится. Как можно?! По чьему указанию, по какому такому праву?! Черт возьми!

Андриан Фомич расшумелся, расхрабрился, шутейно, конечно, но и шутейно уже получилось плохо. Голос его высокий не по-женски уже, а по-старушечьи звучал, дребезжал, как спущенная струна. Отвоевали, откричали свое, Андриан Фомич. Не получается уже. Дома у него висел еще над кроватью маузер в деревянной колодке. Давным-давно залили этому маузеру ствол оловом и подарили с монограммой на ручке герою гражданской войны Андриану Божко. В дни коллективизации разъезжал он по деревням с этим мертвым, но все еще страшным с виду оружием, внушая уважение и даже страх мужикам, потом провалялось оно в сарае, спрятанное на время, а теперь висит на коврике, наподобие музейного экспоната и будоражит иной раз придремавшую память.

— Прошу, Андриан Фомич, к столу.

Уселись два старика за тесным столиком, улыбнулись друг другу.

— Вы как, под коньячок, Андриан Фомич? Или под калгановку? — ритуально пошутил Вадим Александрович.

— Я, как всегда, под рыковку, Вадим Александрович, — продребезжал Андриан Фомич спущенной струной. Покачалась немного борода Вадима Александровича. Веселые старики взяли деревянные ложки и начали хлебать из одной миски.

Назавтра, с самого утра главная улица городка и правда пестрела от праздничного многолюдства. Улица как бы текла против течения, на подъем, к мосту и через мост к стадиону. Тут уж гремела усиленная динамиком музыка. Нарядная толпа кольцом стояла вокруг зеленого поля, ждала обещанного театрализованного представления. В сторонке, за живым кольцом, бойко торговали в палатках и с грузовиков фруктовой водой, пивом, пирожками и мороженым. Шумно было от детских голосов, гитарного бренчанья, пиликанья гармошек, но все эти звуки поглощались мощным громом, исходившим от агитавтобуса с серебристой грушей динамика над кабиной. Видно, в том же автобусе сидела и ждала своего часа режиссура праздника.

Андриан Фомич, нацепивший сегодня орден Боевого Красного Знамени, стоял рядом с благообразным Вадимом Александровичем. Они допивали из бумажных стаканчиков бутылку «Буратино». Голос из агитавтобуса возвестил начало праздничного представления. Потом громогласно осветил краткую историю города, начал с того, что по высочайшему указу императрицы Екатерины Второй, двести лет тому назад поселению С., где жили крестьяне, ремесленники и торговцы, было присвоено звание города. Однако жизнь местного люда, как и всего российского народа, никак не улучшалась после высочайшего указа. По-прежнему крестьяне находились в крепости у помещика. От зари до зари мужик ходил в борозде вслед за сохой, и так далее.

И в это время режиссура отправила с конца зеленого поля пахаря, а чуть в стороне от него выпущены были бабы с серпами да с граблями. Одни жали воздух перед собой, другие подгребали, несли скошенное на носилках, а пахарь, ухватившись за чапиги деревянной сохи, с сигаретой в зубах, пошатываясь и спотыкаясь, шел по мнимой борозде. Сигарета в зубах потухла и была тут же выплюнута.

— Вот так и горбились, Вадим Александрович, до самого Октября, — сказал Андриан Фомич.

— Горбились, Андриан Фомич, но пьяными не пахали, — с усмешкой ответил Вадим Александрович.

И тут же все заметили, что пахарь пьян в стельку. На середине поля ноги его запутались, и он упал, выронив из рук вожжи. Лошадь потащила опрокинутую соху и, достигнув живого кольца, пошла на людей. Получилось много смеху. Диктор сделал паузу.

— Не проинструктировали как следует, — сказал Андриан Фомич. Ему неловко стало перед Вадимом Александровичем. — Опять безобразие. Даже этого не смогли.

Пахарь коечкак поднялся, сперва на четвереньки, потом уж на ноги. Кинулся, заплетаясь в траве, догонять лошадь. А там ждала его Вера Ивановна из отдела пропаганды. Она стала стыдить тракториста, которому доверили этот номер с сохой.

— Какой позор! — говорила она пьяному. — Подождать не могли. Мы еще поговорим с вами в другом месте.

Пахарь что-то искал по карманам, обшаривал себя, видно, закурить хотелось человеку, он убедительно, как ему казалось, оправдывался.

— Я, Вера Ивановна, подневольно никогда не работал и показать это без бутылки не могу. А тут она дернула, подсунули лошадь, ну, и не удержался, упал, дак и они падали, как вы говорили.

— Хорошо, поговорим после, а теперь идите, не позорьте всех.

Пахарь взял под уздцы лошадь и повел ее куда-то, улыбаясь самому себе под нос. Диктор пропустил лет сто и говорил уже о новой жизни, которая пришла в городок С. и в его район. Потом по кругу стали ездить украшенные фанерными щитами с диаграммами и плакатами грузовики. В открытых кузовах фигурно стояли ударники первых пятилеток, а диктор все дальше и дальше рассказывал о достижениях и победах нашей истории, пока не закончил сегодняшним днем. После этого с трибуны выступил первый секретарь райкома, рассказал о планах и достижениях. После аплодисментов снова стали пить фруктовую воду и пиво, закусывать пирожками и мороженым. И просто стали гулять по стадиону. Кое-где собирались кучки людей, пели под гитары и гармошки, но их заглушали громкие марши из агитавтобуса. Напротив трибуны быстренько собрали подмостки, поставили микрофон, и вышел джаз-оркестр из Дома культуры.

Самодеятельность и танцы под оркестр старики не стали смотреть, а выпив еще одну бутылку «Буратино», отправились домой. Служебные машины, стоявшие по другую сторону дороги, тоже разъезжались по домам, увозя дородных жен хозяев города, красавиц дочек и нарядно одетую детвору. Уезжали и автобусы, у которых на бортах было славянской вязью написано: «Городу С. — 200 лет». Словом, праздник в основном закончился, но поскольку впереди было еще почти полдня, старики решили, отобедав, снова встретиться на своем берегу.

Мостки для полосканья белья нынче пустовали, и тихо было на реке, зато старые приятели по-прежнему сидели на берегу, каждый на своем месте. Сегодня Вадим Александрович был полон надежд на зорьку. Он верил, что в розоватом свете заката он схватит именно тот мост, который с недавнего времени стал целью его жизни. Больше от этой жизни он уже ничего не ожидал и не хотел.

Малиново горела вода у бабьих мостков, розово отливали шевелящиеся зеленые купы придорожных ив, и прямо из них выходил и выгибал спину, как бы готовясь для взлета или для прыжка навстречу полыхавшей заре, городской мост.

Андриан Фомич, посапывая от натуги, вытащил хорошего подлещика:

— Видите, какие у меня дела!

Вадим Александрович оглянулся — ого-го! — порадовался удаче приятеля... Но на самом деле его мало тронул этот подлещик, он ликовал в душе по поводу своей удачи.

— Кажется, схватил, Андриан Фомич. Взгляните, пожалуйста.

Андриан Фомич поднялся наверх с подлещиком, остановился за спиной Вадима Александровича.

— Фактически вы добились своего, — сказал он с грустью.

— Но это в этюде, удержать бы теперь в законченной картине.

Андриан Фомич усмехнулся:

— Значит, и помирать теперь можно, Вадим Александрович?

— Даст Бог, и помру спокойно.

— А мне, Вадим Александрович, пожить хочется. Ничего так не хочется, как самому увидеть, чем в с ё э т о кончится, будь оно неладно...

Над рекой, над городком С., торжественно и печально угасал день.

ВАДИМ КОЖИНОВ

ЖИЗНЬ В СЛОВЕ

Признаюсь, не без известной тревоги пишу это предисловие к публикации фрагментов из сочинения молодого (год его рождения — 1960) мыслителя и писателя Дмитрия Галковского. Его пространное сочинение (70 с лишним авторских листов! — то есть здесь будет представлена только одна пятнадцатая часть текста), непривычное по своей форме (отдельные «записи», объединенные достаточно прочной, но и очень сложной и трудно различимой связью), проникнуто такой свободой, таким — подчас поистине головокружительным — бесстрашием мысли, или, вернее, цельного *переживания* того или иного «предмета», что он едва ли может рассчитывать на сколько-нибудь легкое и быстрое читательское понимание и, тем более, приятие.

И для самых что ни на есть разных по своим убеждениям и симпатиям людей многое, даже слишком многое, в сочинении Дмитрия Галковского окажется (это, полагаю, несомненно) неприемлемым или даже просто возмущающим душу.

Что сказать по этому поводу? Во-первых, не скрою, что и сам я не могу принять очень многих суждений, да и целых смысловых пластов в сочинении Дмитрия Галковского. Более того, я питаю надежду, что через какое-то время он пересмотрит, вернее, преодолеет те или иные представления, выразившиеся в этом сочинении, которое создавалось им в возрасте от 25 до 28 лет.

Далее, его мировосприятие складывалось в то время, когда полную свободу или, точнее, высшую в о л ь н о с т ь мысли еще необходимо было завоевывать в предельном, отчаянном сопротивлении всей идеологической и даже бытовой атмосфере, и поэтому острый меч мысли автора нередко с размаха крушит то, что сегодня, сейчас уже в принципе рухнуло и требует от писателя не гневного разоблачения, а спокойного и трезвого осмысления.

Но те или иные написанные с резким сарказмом или даже откровенной яростью страницы запечатлели в себе, если не бояться высоких слов, героический порыв к воскрешению чудовищно подавлявшейся и уничтожавшейся в течение жизни трех поколений отечественной мысли — воскрешению во всей ее силе и остроте. Уместно в связи с этим обратить внимание на одну многозначительнейшую примету. Во множестве публикуемых сегодня статей и книг постоянно цитируются крупнейшие русские мыслители от Чаадаева и Киреевского до Розанова и Бахтина. И при чтении этих статей и книг совершенно ясно, без всякого раздумья видно, где цитата из «наследия», а где текст нынешнего автора. Дмитрий Галковский тоже в изобилии приводит высказывания своих предшественников, однако эти высказывания не имеют явного, очевидного отличия от его собственного текста, ибо в этом тексте именно воскрешены основы смысла и стиля отечественного философствования.

И я надеюсь, что каждый способный к беспристрастному суждению читатель (несмотря на вероятное,— и пусть даже самое решительное,— несогласие с теми или иными идеями Дмитрия Галковского) по достоинству оценит и его истинный писательский дар, и силу и утонченность его разумения, и превосходное — крайне, увы, редкое ныне! — знание истории,— знание самое широкое и в то же время детальное, можно сказать, интимное.

Но, конечно, даже самая высокая оценка творческой личности автора не спасет его от нападок. При этом одни читатели,— что нетрудно предвидеть,— найдут в его сочинении (и, конечно, с негодованием) черты крайнего «антипатриотизма», не щадящего даже бесценную нашу классическую литературу, другие же, скажем, гневно возмутятся многими его суждениями, посвященными пресловутому «еврейскому вопросу».

Без особого риска совершить ошибку предскажу, что кто-нибудь будет клеймить Дмитрия Галковского как заведомого «русофоба», а кто-то — как идеолога «Памяти»...

Правда, способные к самостоятельному мышлению читатели не могут не задуматься уже над самим по себе фактом столь неожиданного с о е д и н е н и я абсолютно, казалось бы, несовместимых «тенденций» в одном сочинении,— заду-

маться, чтобы в конце концов осознать: это не то, к чему мы привыкли, и надо подняться на иной уровень понимания, дабы действительно воспринять смысл сочинения, называющегося «Бесконечный тупик» («тупик»... ведь тут что-то не только безнадежное, но и обидное, оскорбительное; однако если тупик «б е с к о н е ч н ы й»,— какой же это тупик?!)

Да, в этом сочинении чуть ли не все стороны русского бытия и сознания подвергаются самому нелицеприятному, а нередко и совершенно беспощадному суду, и, как ни крути, в глазах многих читателей автор окажется представителем той идеологии, которая так глубоко и основательно исследована в уже ставшем знаменитым труде И. Р. Шафаревича «Русофобия».

Но если внимательнее и спокойнее вглядеться в сочинение Дмитрия Галковского, выяснится, во-первых, что в «Бесконечном тупике» воплотилась, говоря попросту, не «критика» России, а «самокритика», «самоосуждение»,— в конце концов то, что называется п о к а я н и е м. Те, кого с полным правом следует определить как «русофобов», нападают на все русское с некой «стороны» — главным образом с позиции беззастенчиво идеализируемого ими «цивилизованного общества» Запада; они судят «русскость» как «объект», от которого они решительно отделились (или же вообще никогда к нему не принадлежали).

Между тем автор «Бесконечного тупика» судит не кого-то другого, но прежде всего с а м о г о с е б я,— что достаточно открыто выступает на многих страницах его сочинения. Он ничем и ни в чем не отделяет себя от своего народа. А «народ наш,— как говорил еще Достоевский,— пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе,— во имя негодующей любви к правде, истине... Сила осуждения прежде всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы».

Далее, русофобские нападения на все — или хотя бы что-то — русское выглядят серьезно только, так сказать, по своей форме; достаточно углубиться в их содержание, чтобы осознать всю их несостоятельность и их происхождение из чисто субъективной ненависти, а не из реально обоснованного понимания русских «язв». Ибо, о чем уже говорилось, эти самые русофобы, как правило, атакуют Россию с точки зрения «норм» Запада. А между тем, если, допустим, примерить эти нормы не к России, а к основным странам Азии, последние вообще как бы потеряют право на существование...

К самостоятельным национально-историческим реальностям попросту бессмысленно подходить с о д н о й мерой, тем более если эта мера, сложившаяся на основе бытия и сознания совершенно иной такой реальности (Запада).

В «Бесконечном тупике» Россия меряется в сущности своей собственной мерой, и потому «критика» ее истории и основательна, и глубока — не в пример «русофобской», которая по своей сути нередко сводится к примитивной ругани.

Наконец, национальная самокритика, воплотившаяся в «Бесконечном тупике», обладает тем безоглядным «русским размахом», который и не снился никаким действительным русофобам; для этого у них, как говорится, кишка тонка. Самоосуждение перехлестывает все барьеры, переходит все границы и потому то и дело оборачивается самоутверждением,— но глубоко выстраданным, лишенным даже тени самодовольства.

Самоосуждающая мысль в «Бесконечном тупике» нередко подобна птице, которая падает все более ускоряющимся камнем из-под облаков, но в последний момент, уже ощутив смертельную твердость земли, вдруг легко и естественно взмывает вверх. При этом тяжесть падения только подчеркивает легкость нового взлета.

Конечно, это отчетливо выражено лишь в целостности сочинения; в публикуемых отдельных его звеньях увидеть движение смысла через падения к взлетам гораздо труднее.

Но вот характерное движение мысли-переживания Галковского:

«Октябрь — что это? Полный крах, или есть в последующих событиях какой-то смысл, пусть темный, но смысл? Может быть, есть. Может быть, хотели из России сделать процветающую Францию с отличным пищеварением и давно выжранным червями мозгом. Потеряли и мозг, и тело разрушили язвы, но остался человек, пускай кости и череп человека, но человека, а не полусущества-полумеханизма...

И кто-то, я знаю, плачет, любит... А во Франции не могут даже задаться подобным вопросом. Некому. И, может быть, это страшнее. Самый страшный недуг — дебил со счастливой улыбкой и прозрачными глазами. Франция развитое общество. И оно живет своей сложной жизнью — там есть идея. Чужая. И живут французы для чужого. Мудрого, может, даже гуманного и рачительного хозяина, но... чужого. А русские не захотели. С кровью, с мясом выдрали, потеряли все, почти все, разрушили и уничтожили национальные святыни, но сохранили большее. Россия еще поднимется... Как бы то ни было, сейчас ясно одно: Россия единственная страна мира, где господство над историей не удалось, по крайней мере — «не завершилось»...»

В этом, полагаю, единственно верное понимание судьбы России, которая (я подробно обосновываю это в книге именно с таким названием — «Судьба России», вышедшей в 1990 году) насквозь трагедийна и переходит в иное состояние

лишь,— если воспользоваться словом Иоанна Дамаскина,— «смертию смерть поправ»...

Не только вероятно, но даже неизбежно найдутся читатели, которые отвергнут «диагноз», поставленный Дмитрием Галковским «французам» и, конечно, вообще людям Запада, как безосновательный (к тому же ведь автор никогда не был за пределами России). Но вот «диагноз», поставленный совсем другим человеком, известным под писательским именем «Саша Соколов». Он в 1976 году, то есть пятнадцать лет назад, эмигрировал и прожил большую часть этого времени в США, где стал одним из немногих наиболее признанных эмигрантских писателей.

Он говорит о людях США, включая (он это подчеркивает) и наиболее образованных из них: «В Америке интеллигенции нет... Нет серьезного разговора о судьбе человека, нет попытки как-то осознать жизнь... Виртуозность бессмыслия... Отсутствует всякое любопытство к миру, и это страшная черта... Ты можешь возразить, что я говорю, будто какой-нибудь пропагандист... Но это мой собственный опыт!... Они совершенно изолированы и удивительно ограничены. Но в этом своем ограничении безумно счастливы, живут в какой-то аквариумной эйфории. Это счастье дикарей»[1]. Последнее прямо перекликается с характеристикой Галковского, и, опровергая его «приговор», придется опровергать и этого известного «американского русского».

Кто-нибудь может возразить, что США и Франция — это существенно различные страны. Однако не секрет, что Франция (и, конечно, не только она!) в значительной степени «американизирована»,— о чем постоянно пишут и о чем пытаются (хоть и без особого успеха) бороться деятели и культуры, и государства Франции, начиная с великого Шарля де Голля.

Для полной ясности следует, правда, сказать, что «американизация» — очень неточный термин. В США есть немало людей, которые считают явление, называемое «американизацией», глубоко чуждым истинной культуре своей страны.

И в самом деле: то, о чем так резко говорят и Дмитрий Галковский, и Саша Соколов,— тенденция всеобщая, тотальная... Видный писатель современной Англии Джон Фаулз (см. его роман «Дэниэл Мартин» — «Иностранная литература» за 1989 г., № 10—12) усматривает в ней «всепроникающий принцип организации буржуазного общества — систему навязанных верований. ...Это и есть настоящий тоталитаризм. Идеологическая гегемония пронизывает все общество, поддерживает установленную систему через подсознание отдельного индивидуума. Она действует посредством подмены смысла, ломает механизмы власти (например, власти того же де Голля.— *В. К.*), искажает действительность, затуманивает восприятие событий, мешает их правильной оценке». И этот тоталитаризм в конечном счете мощнее и опаснее чисто политического, ибо разрушает самые глубины человеческого духа и души; люди порабощаются им, как говорится, не за страх, а за совесть... (Эта статья уже была набрана, когда в «ЛГ» от 27 ноября 1991 г. появилась своего рода исповедь имевшего когда-то широкую популярность советского беллетриста Василия Аксенова. Одиннадцать лет назад он эмигрировал на Запад и долго старался убедить других и, очевидно, самого себя, что обрел там прекрасный новый мир. Но трудно лгать себе более десяти лет, и теперь В. Аксенов без обиняков заявляет, что на Западе мыслящий человек «почти полностью потерял возможность и способность выразить свою личность», что там царит «обескураживающее состояние ожирения и застоя», что в тамошнем «суперцивилизованном, компьютеризированном, почти полностью уже классифицированном и калькулированном мире возникает новый плебс, одержимый самоудовлетворением и дешевым гедонизмом» и т. д., и т. п.).

Но вернемся к «Бесконечному тупику».

Не сомневаюсь, что найдутся критики, которые объявят сочинение Дмитрия Галковского «антисемитским» — слишком много уже было подобных примеров. При этом никто, конечно, не примет во внимание, что та или иная критика евреев и еврейства в «Бесконечном тупике» сочетается, даже подчас сливается с крайне резким самоосуждением всего русского. Едва ли можно оспорить, что писатель, беспощадно судящий свой народ, тем самым доказывает свою беспристрастность и обретает нравственное право судить других.

Но дело не только в этом. В «Бесконечном тупике» евреи предстают не в качестве некоего «объекта», который можно как угодно топтать (чем и занимаются по отношению к русским «русофобы»); автор исходит из понимания исторической связи русских и евреев, взаимосвязи, обусловленной, так сказать, и качественно (то есть внутренней природой этих этносов), и количественно (к 1917 году в России жило около половины всех евреев — 6 с лишним миллионов,— как ни в какой другой стране). И, как говорит Дмитрий Галковский: «евреи, запутавшись в русскую историю, вплевшись в нее, уже от русских не отделяются (не отделяются, оказавшись и за морем, и даже за океаном)».

Дмитрий Галковский не раз говорит о том, что главный его учитель — Василий Васильевич Розанов. И, конечно, розановское наследие (которое ныне в

---

[1] Журнал «Родина», 1991, № 4, с. 12—13.

значительной своей части издано, слава Богу, массовыми тиражами) во многом определило и дух, и стиль «Бесконечного тупика», хотя Дмитрий Галковский создал и некий свой собственный жанр: его «примечания» — это не отдельные «опавшие листья». Они растут на одном ветвистом «древе»,— может быть, слишком ветвистом; в «Бесконечном тупике» — пятьдесят четыре «ветви» с большим или малым количеством «листьев». Но здесь публикуются только две сравнительно многолистные «ветви», и читатели яснее смогут увидеть, как «листья» соединены друг с другом.

Наконец, надо обратить внимание читателей на тот факт, что сочинение написано от имени не Галковского, но Одинокова (см. текст). Могут возразить, что это только «маскировка». Но необходимо уважать замысел автора и не отождествлять его с его героем — пусть он даже и предельно близок автору...

О сочинении Дмитрия Галковского нелегко говорить, в частности, и потому, что на многих его страницах начисто отрицается самая возможность мысленного определения — осмысления — и бытия, и сознания, а значит, и осмысления самого этого «Бесконечного тупика». Если выразиться кратко, плодотворна, с точки зрения автора, только способность *жить в слове* и тем самым владеть словом.

Что же, с этим трудно спорить: слово, или, вернее, Слово (во всем его гигантском объеме), так или иначе вобрало в себя весь мир, освоенный человеком, а может быть, даже и не освоенные людьми ипостаси Мира. (Глубокий ученик Бахтина, филолог В. В. Федоров доказывает, что сверхъестественное возникновение Слова выглядит гораздо более правдоподобным, нежели естественное,— ибо абсолютно невозможно представить себе, каким образом комплексы безразличных звуков-фонем вместили все неслыханное богатство Мира?)

Поэтому способность полнокровно, без каких-либо ограничений жить в слове и владеть им открывает безмерные возможности. Автор «Бесконечного тупика» полноценно живет не только в своих собственных словах, но и во всех — крайне разнообразных — цитируемых им (и подчас даже не комментируемых) словах. Да, он не «анализирует», не «исследует» сказанное до него, но воистину живет в нем. И читатели, которые сумеют увидеть, услышать эту жизнь в Слове, согласятся с моим убеждением, что в отечественную культуру вошло новое весомое имя (хотя, разумеется, чтобы оценить по достоинству «Бесконечный тупик», необходимо познакомиться с книгой в целом)*.

*Июнь 1990 г.***

---

* Фрагменты из «Бесконечного тупика» публиковались с 1990 года во многих изданиях. Но это были специально «отобранные» фрагменты — то есть, в сущности, «подцензурные». В этой публикации никакого отбора нет, ибо две «ветви» даны целиком и полностью; перед читателем — Дмитрий Галковский каков он есть.

** В сокращенном виде эта статья была впервые опубликована в газете «Русское товарищество» (№ 2, ноябрь 1990 г.).

ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ

БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК

ЧАСТЬ III

Примечания

7. Примечание к с. 6 «Бесконечного тупика»

Из Руси молчаливой возникла великая русская литература

В русской культуре есть дар молчения, но нет дара умолчания. Русский человек не может вовремя остановиться и начинает выговариваться. Этот процесс выговаривания блестяще изображен в «Записках из подполья». М. Бахтин так говорит об их герое (рассматривая, впрочем, его не как расовый, а как литературный тип):

«„Человек из подполья" ведет такой же безысходный диалог с самим собой, какой он ведет и с другим. Он не может до конца слиться с самим собою в единый монологический голос, всецело оставив чужой голос вне себя, каков бы он ни был, без лазейки, ибо... его голос должен также нести функцию замещения другого. Договориться с собой он не может, но и кончить говорить с собою тоже не может. Стиль его слова о себе органически чужд точке, чужд завершению как в отдельных моментах, так и в целом. Это стиль внутренне бесконечной речи, которая может быть, правда, механически оборвана, но не может быть органически закончена».

Не в силах оборвать свою речь, русский, раз начав говорить, говорит до конца — это поток слов, доходящий в конце концов до истощающего саморазрушения. Если с этой точки зрения посмотреть на «Бесконечный тупик» (основной текст)*, то его можно представить как своеобразную филологическую катастрофу. Вначале изложение ведется сухо и отстраненно, но постепенно оно начинает прерываться все более учащающимися вставками, имеющими чисто субъективное значение и поэтому совершенно стилистически неоправданными. В результате происходит разрушение ткани повествования и даже некоторая деструкция основной идеи.

Все это является конкретным проявлением чувства вины. Чувство вины, направленное на себя, то есть не просто оправдывание, а самооправдывание,— это и есть причина «внутренне бесконечной речи», проговаривающейся речи, того, что можно назвать «редукцией» — передачей разрушительной энергии оправдания самому себе, замозамыкание на оправдании и, может быть, погашение личности, по крайней мере для чужого сознания (вид идеологической мимикрии).

Отсюда понятен несчастный характер русского «я». Оправдываясь, русский всегда хватается за наиболее слабые и болезненные части своего мира и говорит не что думает, а то, что о нем думают (якобы) другие, чтобы эти «другие» о нем так не думали. Это кривое самосознание приводит к потере ориентации в объективном мире, так что русский как мотылек летит на горящую свечу, и Порфирию Петровичу остается только смеяться в лицо своей жертве:

«Видели бабочку перед свечкой? Ну, так вот он все будет, все будет около меня, как около свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!.. И всё будет, всё будет около меня же круги давать, всё суживая да суживая радиус, и — хлоп! Прямо мне в рот и влетит, а его и проглочу-с, а это уж очень приятно-с, хе-хе-хе! Вы не верите?»

Русского человека всегда засасывала вращающаяся воронка своего «я», пустота своего самооправдания. Вот и князя Мышкина перед роковым балом Аглая специально «инструктировала», чтобы он не срезался, и шутливо заметила:

«Разбейте по крайней мере китайскую вазу в гостиной! Она дорого стóит: пожалуйста, разбейте; она дареная, мамаша с ума сойдет и при всех заплачет — так она ей дорога. Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете, ударьте и разбейте. Сядьте нарочно подле».

Бедный князь так и схватился за голову — «свеча зажжена!»:

«Вы сделали так, что я теперь непременно „заговорю" и даже... может быть... и вазу разобью. Давеча я ничего не боялся, а теперь всего боюсь. Я непременно срежусь.

— Так молчите. Сидите и молчите.

— Нельзя будет; я уверен, что я от страха заговорю и от страха разобью вазу. Может быть, я упаду на гладком полу... мне это будет сниться всю ночь сегодня; зачем вы заговорили!»

Итак, дело сделано. Мышкин попал в замкнутое пространство выговаривания. И пространство это прогибалось вокруг вазы. Напрасно он садился от нее как можно дальше. Начав говорить (а молчание было прорвано искрой внешнего определения), бедный князь по спирали полетел к смысловому центру и...

«При последних словах своих он вдруг встал с места, неосторожно махнул рукой, как-то двинул плечом, и... раздался всеобщий крик! Ваза покачнулась, сначала как бы в нерешимости... но вдруг склонилась в противоположную сторону... и рухнула на пол. Гром, крик, драгоценные осколки, рассыпавшиеся по ковру, испуг, изумление...»

Структура моей книги триедина: 1. Вводная часть («Закругленный мир»); 2. Центр, давший название и всему произведению («Бесконечный тупик»); 3. Примечания. Подразумеваемый вариант 4-й части — это сам Розанов, так что одна из целей книги — своеобразные пролегомены к Розанову, плавный переход от «полного текста» к его полной разрушенности, от целого тома к рассыпанному вороху страничек, от «Закругленного мира» к «Опавшим листьям». После «опавших ветвей» начинается сам Розанов.

Первая часть книги — единство. Вторая — дешифровка первой и начало распада. Но единство страшным усилием воли еще сохраняется. Третья часть — это распад, деструкция, «осколки, рассыпавшиеся по ковру». Это не что иное, как последовательная попытка русского мышления, попытка передачи его динамики — динамики рассыпания. Чем глубже анализ, тем рассыпаннее форма отечественного мышления.

10. Примечание к № 7

Русский человек не может вовремя остановиться

Тема «разбитой вазы» получит сейчас свое продолжение на примере личного опыта. Дело в том, что я, видимо, являюсь гениальной личностью. Кто же говорит о таких «вазах»? — Я. Я-то и скажу. Не могу не сказать. И вот — роняю эту вазу: «Я — гений».

12. Примечание к № 10

Я — гений

Дело в том, что о «гениальности» нельзя не написать. Это в противном случае будет обломанной клеточкой шахматной доски. В конце концов я забудусь и поставлю в образовавшуюся пустоту очень

---

* То есть II часть.

важную ладью. Вообще весь процесс письма фатален. Я почти ничего не могу изменить. И часто пишу даже против своего желания. Более того, оговариваю для себя, что это, например, трогать не надо. Но прошло несколько страниц — и проклятая ваза тут как тут. Если в этот конкретный момент и проскочишь мимо, то на следующем витке обязательно схватишься. И будет еще хуже, грубее.

Вообще интересно отношение русского сознания к собственной гениальности. Пушкин сознавал свою роль в судьбе России. Но не то, что не мог до конца в нее поверить, а просто сознательно не хотел принять навязываемой ему реальностью роли.

Фантастичность Гоголя в том, что он поверил и принял собственную гениальность. Привело это к последствиям страшным. Невозможность, несоразмерность этой идеи русскому человеку свела в конце концов Гоголя с ума. Душа взбунтовалась, вырвалась из-под гнета непосильной задачи и объявила самоё себя абсолютной ничтожностью. На примере судьбы Гоголя еще и еще раз удивляешься гармоничности Пушкина. То, что в нем кажется грубостью, хлестаковщиной, ренегатством, на самом деле оборачивается глубокой продуманностью и закономерностью. «Русский через 200 лет», как сказал Гоголь. Двести лет надо нации, чтобы выработать тип такой гармоничной личности.

Пушкин единственный хотя бы отчасти выдержал неслыханный уровень свободы, данный ему его гением. Других гнет гениальности или уничтожил, или сами они отказались от осмысления этой проблемы (Чехов). Для писателя, в отличие от философа, это еще возможно.

15. Примечание к № 7
бедный князь по спирали полетел к смысловому центру

Мышкин разбил вазу из-за детского смещения мыслительного и реального планов бытия. Он представил себе, как будет она разбиваться, и это представление стало для него реальностью. И, естественно, просочилось в реальность. Спутанность слова и бытия. Русские постоянно обманываются в слове, теряются в нем. То придают ему слишком много значения, а то и слишком мало. То проговариваются, то про-малчивают.

23. Примечание к № 12
Дело в том, что о «гениальности» нельзя не написать.

Многие страницы произведений Бердяева очень наивны. Чрезвычайно наивны. Но эта-то наивность и даже глупость позволяет ему выбалтывать сокровенное. Именно в «Самопознании» я увидел «русскую идею». Ее не увидел сам Бердяев. И не мог. Он писал, что чувствовал. И всё. Бердяев думал: вот, «душа России». А он — сторонний наблюдатель, космополит, космонавт. Но он-то и был конкретным воплощением этой идеи, причем единственно актуализированным для себя, единственно познаваемым.

Бердяев дал определение характера русского народа. Да страна крайностей... Потом подумал-подумал и дописал: русские крайние и в своей срединности. Таким образом, Бердяев ничего не сказал. И это очень по-русски. Он «заоправдывался», «заоправдался».

Бердяев не понял, что сам факт постановки вопроса о «русской идее» и является ее осуществлением. Тут гигантская заглушка. Мы подлецы, ничтожества, но святые. Мы не ничтожества и не святые, а посредственности. Мы посредственности, но посредственности исключительные, в которых максимально проявлена подлость и святость. Но, собственно, эти крайности встречаются в реальности в виде крайности посредственности. Но крайняя посредственность есть и крайняя экстраординарность. Но и т. д. и т. п.— Это адаптация. Осаждение умонеохватной идеи в филологической среде за счет ее примирения с собственным реализмом и даже цинизмом. И это у всех воспроизводится, воспроизводится... Та же «ваза», то есть насильственное и произвольное внесение внутрь своего мира какой-то нелепости и ее постепенное сглаживание, адаптация, погружение. И в результате — филологическая и логическая катастрофа. Русский будет вешаться, и уже прыгнет со стула, и тут — в последний миг — схватится за вазу. И она выпадет из его коченеющих рук.

«Русская идея», совершенно искусственная, насильственно прививаемая, наконец просто нелепая, никак (содержательно) не соотносится ни с подлинной историей России, ни с субъективным миром славянофилов и соловьевцев. И тем не менее все они ее воспроизводят, и все субъективные различия этих мыслителей осуществляются как различия в индивидуальной адаптации этой темы. Как кто ее проворачивает. И в по-гоголевски бессмысленном сопоставлении раскрывается личность. В самом же факте адаптации — русская идея. Взята в башку башкирская идея, и начинается ее просветление. В конечном счете неудачное, исходно неудачное (конечное). Неудача неизбежна, и ее можно лишь отделить.

И у меня. Ну зачем, зачем об этом говорить? «Я гений» и т. д. Пусть даже думается где-то там. Иногда. Бессонным утром, когда вдруг все получается... Что делать, слаб человек. Но это так ведь, «мимолетное впечатление», «облачко». Зачем же вази забивать. Но притягивает, притягивает благородный, прохладный и хрупкий фарфоровый бои. Само собой. И потом мучительное, все более сужающееся кружение вокруг, и далее... Балансирование с огромной вазой в руках. Земля кренится, голова кружится, а вот уже и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали?

24. Примечание к № 7
Третья часть — это распад, деструкция

Ирония здесь переходит в комизм. Я чувствую себя клоуном. Потеря достоинства и в общении с людьми у меня. Нарушение смыслового и интонационного единства. Достоинство — это и есть единство, цельность.

Итак, я гений. Перед началом «обыгрывания» тему следует несколько прорисовать, утрировать для будущих вольтфасов. Например, так:

Настолько уж мне наплевать на чье-либо «вообще-мнение» (то есть мнение отчужденное, не знакомое со мной как личностью, мнение читательское), что я открыто и со смехом заявляю об этом. По широте ума, многоуровненности и неожиданности мышления не встречал я в жизни людей, равных себе. Так что уже давно привык самые серьезные разговоры вести вполсилы, спустя рукава. Мне это так надоело, что я специально нарываюсь на интеллектуальный скандал, на позор. Я хочу, чтобы меня осадили, показали, что я зарвался, и ткнули носом в мое собственное невежество, поверхностность, просто в мою глупость. Моя мечта — сесть в лужу. Но уже странная судьба — никак не могу. Дошло вот до смешного; сам аккуратно сажусь в нее. Однако уже гложет мысль, что это, хе-хе, последний штрих в законченной духовной трагедии.

28. Примечание к № 24
Я чувствую себя клоуном

Можно сохранить достоинство и чинно сидеть в душной, полутемной прихожей-канцелярии. Но можно потерять достоинство и пройти в широкие светлые комнаты, потом в залы, анфилады залов. Чем больше теряется достоинство и чем больше расползается мое «я», тем ближе к истине, тем ощутимей ее притяжение, ее истекающий в реальность центр. Истина выше всего. Истина по-русски — это потеря достоинства. При объективизме все будет хорошо, но истина будет элементарная, дубоватая, и, во-вторых, не будет меня.

Я мог бы не писать про «гениальность», мог бы и мыслить стройно и рационально. Но в результате получилась бы примитивная «федоровщина». Полезла бы такая чертовщина, что все бы за голову схватились — оживление мертвых и тому подобная ахинея.

33. Примечание к № 28
Но можно потерять достоинство

Можно потерять лицо. Обычно больше всего потерять лицо боятся те люди, которые его не имеют. А зря. Потеря лица — первая ступень к его обретению.

35. Примечание к № 28
пройти в широкие светлые комнаты, потом в залы, анфилады залов

В мечте моей гигантские пролеты. Я это пространственно воспринимаю, как большие залы. При полной близорукой запутанности в быту — в фантазии, в ее миллионноэтажном лабиринте я всегда сворачиваю в нужное ответвление, избегаю тупика, конца. Мысль не оканчивается, а все тянется и тянется, раскрывает все новые и новые горизонты русского метрешечного пространства. Сужение, темнота, но вот внезапный поворот в сторону, в темный и невзрачный проем — и снова впереди километровые своды, свет, музыка. Никакого расчета. Чисто интуитивное «шарахание». Можно даже шарахнуться от шарахания и написать, что жил-был на свете одинокий несчастный человек, который сочинял ночами странное и никому не нужное «вычурное по форме и фантастическое по содержанию произведение, основная тема которого — описание собственных страданий».

Но мы пока лишь посетим в этот тусклый участок лабиринта и полетим дальше, в более длинную и светлую ветвь.

40. Примечание к № 35
При полной близорукой запутанности в быту

Вот схема моих отношений с реальностью:

Однажды товарищ сказал, что может купить мне недостающие до 82-томного комплекта тома Брокгауза. Он купил один, но именно этот том у меня был. Тогда он заявил, что его можно обменять в букинистическом магазине в Столешниковом переулке. Но обменять его было нельзя, так как купленный том был с библиотечным штампом. Зато мой том был без штампа и я пошел его сдавать. Но отдел обмена работал в магазине до пяти часов. Я пришел раньше на следующий день. Но этот день недели именно для этого отдела был выходным (маленькие радости социализма). Я уже не помню, как и когда я ходил с этим несчастным, безобразно разросшимся Брокгаузом — а происходило это в магическое время сочинения книги... помню только, что была зима, гололед и я упал на спину. А шапка слетела и покатилась, покатилась... Я потом шёл домой и на ходу сочинял следующее «примечание»:

Меня всегда пугала пространственная сложность материального мира. На полу в моей комнате всегда лежит что-то важное: доски, пылесос, книги, газеты, ящики — что надо всегда обходить и обо что надо спотыкаться. Я что-то всегда строю: стол, тумбочку, шкаф, полки. Строю и не достраиваю. Все лежит месяцами на одном месте. Я неосознанно усложняю план реальности, так как для меня существует ее сложность, но не сама реальность. Усложняя ее, я ее складываю, уничтожаю. Складки придают ей мнимость, сценичность. В сплошном сыре мира я прогрызаю дырки. Червивый сыр — это деликатес. Но все-таки я не только червяк, и возникает ощущение спутанности бытия, бессилия перед миром. Всё чего-то понаставлено, как пройти на кухню? Да и где она, уже забыл. Мне страшно. Вещей много, а я — один. Падаю на спину, как черепаха на песчаной косе. Меня должен кто-то перевернуть, «спасти», а сам я замираю, берегу силы. Кажется, что этот мир перевернут. Я перебираю лапками, а он все там же, на том же месте. И никаких Брокгаузов. В дырчатом истончении мира я обретаю уют, свободу, ценностность. Но Брокгауза-то все равно нет. 39-й полутом; «Московскій университетъ.— Наказанія исправительныя».

45. Примечание к № 28
Но в результате получилась бы примитивная «федоровщина»

В интеллектуальном плане я не то чтобы неумный, а — грубый. В голове у меня ко-

пошится федоровская чепуха. Я не могу рационально мыслить о метафизических проблемах. Точнее, очень даже могу, но когда думаю, то где-то в глубине мне стыдно. «Дурачок, что я делаю, какая это все глупость». А почему конкретно это глупость — не знаю, не могу сказать. Поэтому я вполне сознательно отстраняюсь от решения на рациональном уровне философских проблем. Хотя мне это часто так хочется.

46. Примечание к № 12
интересно отношение русского сознания к собственной гениальности

В чем же заключается моя гениальность? Создал ли я гениальное произведение: гениальную симфонию, гениальную картину, гениальный роман? Где они? Где ваши документы! Их нет. И быть не может. И все же я гений.

Лев Шестов писал:

> «Что-нибудь вроде проломленного черепа или прыжка из четвертого этажа — и не только метафорически, а нередко и в буквальном смысле этих слов — таково обыкновенно начало деятельности гения, иногда видимое, большей же частью скрытое».

Человек крысой трусит по лабиринту общенародного государства за 60-рублевой приманкой и испытывает при этом чувство законной гордости и глубокой благодарности. И вот вдруг крысу начинают загонять в окровавленный угол. Загоняют криками, палкой, электрическим током, специальными пружинами. И вот она уже забилась в тупике и ее сейчас размозжат, размежут по стене. И вдруг она (крыса) полетела. Сначала испуганно, как фатальный предсмертный прыжок — истерический, смешной,— а потом, уже в воздухе, все более и более радостно, даже с элементом игры и наконец доводки, языка в сторону мучителей, которые как-то вдруг стали ей видны, и, сверху, жалки даже. И вот, плавно покачиваясь, она подлетает к форточке лаборатории и, непоследок, этак негло, с вывертом крутанув хвостом, взмывает вверх, в небо, и исчезает в голубом, так сказать, просторе.

Это одна такая крыса на миллион. Вызывающих крыс, крыс, которые «выступают», — довольно много. И конечно тот факт, что именно к этой вот крысе привязались, именно ее начали загонять — это уже свидетельствует о ее избранности, непохожести. Ей что-то мешает, она чему-то мешает. Но обычно загоняемые крысы понятно и примитивно кусаются, или заваливаются в предсмертном обмороке, или просто испуганно пищат. Но какая-то одна — летит. И она — гений.

Гениальная крыса неталантлива. Крыса-талант, по сравнению с обычной, дольше бы сопротивлялась, глубже кусалась и, может быть, в конце концов даже где-то по пути к стенке вывернулась, шмыгнула в боковой ход, но никогда не полетела бы, не изменила бы сам план своего мира.

В отличие от талантливой, гениальная крыса непредсказуема. Она находит творческое, сверхреальное решение проблем, поставленных перед ней жизнью. Гениальная крыса — свободна.

В чем же заключается моя гениальность? В признании своей гениальности. В признании гениальности как высшего типа смирения, ибо это есть для меня выражение максимальной степени собственной ничтожности.

Гениален мой отказ от гениальности. Трагедия без грани трагического — это трагедия абсолютная. Так же — любовь. Ведь полное отсутствие любви — это высший тип любви. Так же — вера в Боге. Даже высокая вера в стенах монастыря — это уже гордыня. Нужно жить как все, не выделяя себя в стенах святости. Верить в Боге — это уже в него не верить. Нужно молчать и не думать об этом. Вас вынесет на берег смерти и так.

50. Примечание к № 40
я хожу с этим несчастным, безобразно разросшимся Брокгаузом

Моя тяга к словарям и энциклопедиям — с раннего детства. Взрослые спорили о боксере Кассиусе Клее — правильной транскрипции его фамилии: «Клей», «Клэй», «Кллей». Я тихо встал с дивана, пошел в другую комнату, взял словарь Ожегова и попросил найти мне слово «клей» (читать я еще не умел). Потом, уткнувшись в страницу пальцем, чтобы не потерять, вернулся и «срезал» споривших. Все рыдали от хохота. А я был так доволен, что помог.

51. Примечание к № 23
Многие страницы произведений Бердяева очень наивны

Конечно, внутри бердяевской мифологемы доказать что-либо невозможно. (Ильин даже плюнул в сердцах: «белибердяевщина».) Бердяев сидит в раковине и чувствует свое превосходство: есть лазейки и т. д. Всегда есть возможность все вывернуть наизнанку. Задача, следовательно, в выменивании. Впрочем, Бердяев сам такую ошибку сделал, начал делать в «Самопознании». Ему бы сидеть в узорной ракушке-дуршлаге бесчисленных хамелеонских «афоризмов», но он на старости лет вылез на солнышко:

> «Я имел более глубокий и обширный опыт жизни, чем многие, восклицающие о любви к жизни... Но мне гораздо легче говорить об общении с моим любимым котом Мури и с моими собаками, которых нет уже. Мне не только легче говорить об этом, но, как я говорил уже, мне самое общение с миром животных легче и тут легче может выразиться мой лиризм, всегда во мне сдавленный».

Интересен стиль повествования, приближающийся к максимальному уровню заклинненности: в последнем предложении «мне — мне — мой — мне»; «легче — легче — легче» и «говорить — говорил». Однако вернемся к милому Мури:

> «В июне 1940 мы покинули Париж и уехали в Пила под Аргеншоном (фр. курорт). С нами ехал и Мури, который чуть не погиб в мучительном кошмарном пути, но проявил большой ум».

Вообще вторая мировая война, гибель на фронтах Мирового Еврейства, которое освободило человечество от кошмара Коричневой Чумы, осмыслялась великим мыслителем как трагедия Мури:

> «Уже в самом начале освобождения Парижа произошло в нашей жизни событие, которое было мною пережито очень мучительно, более мучительно, чем это можно себе представить. После мучительной болезни умер наш дорогой Мури. Страдания Мури перед смертью я пережил, как страдания всей твари. Через него я чувствовал себя соединенным со всей тварью, ждущей избавления. Было необыкновенно трогательно, как накануне смерти умирающий Мури пробрался с трудом в комнату Лидии, которая сама уже была тяжело больна, и вскочил к ней на кровать: он пришел прощаться. Я очень редко и с трудом плачу, но когда умер Мури, я горько плакал... Я требовал для Мури вечной жизни, требовал для себя вечной жизни с Мури... В связи со смертью Мури я пережил необыкновенно конкретно проблему бессмертия».

Конечно, эгоизм — профессиональное заболевание философа. Да тут и проще даже — у старика детей не было. Плюс эмигрантское одичание: «Мури был настоящим шармером». Этот «шармер» — так и видишь, произносится с идиотической улыбкой («куда его»). Это все ясно. Но ведь Бердяев философ. Пишет «Самопознание». И вдруг «кот». Ну ладно, кот. Так обыграй, раскрути его за хвост, выведи на орбиту. А так...

55. Примечание к № 40
Меня всегда пугала пространственная сложность материального мира

А также его опасная непродуманность, легкомыслие. Вот я купил какие-нибудь бусы дешевенькие, и вдруг из всего этого раз — и маленький Одиноков. «Здравствуй, папа!» Из барахла стеклярусного.

59. Примечание к № 23
Пусть даже думается где-то там

Достоевский писал в «Дневнике писателя»:

> «Чтоб жениться, нужно иметь чрезвычайно много в запасе самой глупейшей надменности, знаете, этакой самой глупенькой, пошленькой гордости,— и все это при самом смешном тоне, к которому деликатный человек не может быть ни за что способен... когда я лег в отчаянии и бессилии на мой диван (надо вам сказать, сквернейший диван во всем мире, с толкучего рынка и с сломанной пружиной), то меня, между прочим, посетила одна ничтожненькая мысль: «Вот женюсь и будут наконец теперь постоянно уж тряпочки,— ну, от выкроек, что ли, вытирать перья»... И что же? Я горько упрекнул себя за эту мысль в ту же минуту: ввиду такой огромности события и предмета мечтать о тряпочках для перьев, находить время и место для такой низкой обыкновенной идеи,— «ну чего ж ты после этого стóишь?»

И Достоевский не женился. А она, уже замужем, выслушав эту историю, сказала:

> «А я-то думала, что вы такой гордый и ученый и что вы меня ужасно будете презирать».

А зачем я этот отрывок выписал, не знаю. Вот в начале помнил, а сейчас забыл.

Возможно так: русские гении не совсем гении, их самочувствие в этой роли неорганично, они постоянно думают о «тряпочках» и вообще как-то не совсем понимают, что в таком положении прилично, а что нет. Я же саму мысль о гениальности превратил в «тряпочку»... А это уже издевательство второго порядка.

61. Примечание к № 23
Дом ли то мой синеет вдали! (Н. Гоголь)

Матушка! спаси твоего бедного сына!

Матушка, материя Гоголя — это язык. Набоков иллюстрирует удивительную трансформационную способность гоголевского языка следующей цитатой из «Мертвых душ»:

> «Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдавские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные русские балалайки, красу и. потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного теньканья».

Язык уносит Гоголя как осенний лист. Набоков с удивлением разбирает безумный характер гоголевского ассоциативного полета:

> «Сложный маневр, который выполняет эта фраза для того, чтобы из крепкой головы Собакевича вышел деревенский музыкант, имеет три стадии: сравнение головы с особой разновидностью тыквы, превращение этой тыквы в особый вид балалайки, и, наконец, вручение этой балалайки деревенскому молодцу, который, сидя на бревне и скрестив ноги (в новеньких сапогах), принимается тихонечко на ней наигрывать, облепленный предвечерней мошкарой и деревенскими девушками».

(Характерно, что сам Набоков сознательно не удержался и присочинил сценку).

63. Примечание к № 51
Ну ладно, кот

Чехов любил животных. Все время возился со своими таксами. Одно время у него жил ручной журавль. Но Антон Павлович всю жизнь питал непреодолимое отвращение к котам и кошкам. Еще бы, кот животное ночное, неправильное, с «достоевщинкой». К одному из героев Набокова ночью в комнату вошел черный кот, что было вполне естественно, так как

кот и жил в его доме, но на коте был бант из белого шелка, взявшийся неизвестно откуда. На Чехова такие вещи действовали разрушительно. Достоевского он терпеть не мог, говорил уклончиво:

> «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий...»

Чехов, смирный, дисциплинированный, вышколенный — испуганный на всю жизнь — всегда боялся хаоса, безмерности, непонятности. От всего необычного, экстравагантного открещивался Чехов обеими руками.

Один из его знакомых вспоминал:

> «В Ницце, в пансионе, была русская кухарка... В Ниццу она попала случайно: в качестве горничной при купеческой семье, но семья уехала, а она осталась. Вышла замуж за негра, плававшего на каком-то пароходе, и у нее была дочь-мулатка... Это странное сплетение обстоятельств почему-то сильно овладело вниманием Антона Павловича. Впрочем, это было понятно. «В жизни все просто»,— обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпанованное, эффектное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя. А тут вдруг перед ним жизнь, дающая готовый сюжет для забористого бульварного романа... Иногда за обедом, когда подавали русское блюдо, он сопоставлял, по обыкновению, отрывисто и без всяких объяснений: «русский борщ и мулатка».

Для него это было непереносимо, выглядело как издевательство. И действительно, жизнь над Чеховым надругалась.

Чехов целиком принадлежал XIX веку. Жил в мифе своего столетия, мифе старом, дряхлом, все чаще дающем опасные сбои. Мир стал расползаться, превращаться в нечто невообразимое и необъяснимое. В 1899 году Чехов послал письмо к брату с просьбой купить пенсне, и нарисовал на листке его контуры. Приписал ниже:

> «Это дужка моего пенсне. Извини, что я нарисовал так скверно, точно гриб».

Рисунок как две капли воды похож на гриб атомного взрыва. Сегменты, обломки чеховского мира, кружась в будущем, разрастаются, превращаются в страшные символы. Резьба меры сорвана, механизм ассоциаций дает сбои и современный человек не в состоянии естественно воспринимать чужую эпоху, может быть максимально чужую из-за своей близости. Невинные вещи разрастаются ядовитыми грибами. Чехов в письме к другу в шутку нарисовал себя повешенного на крючке. Получилась карикатура с есенинским профилем. А вот конец рассказа «На пути» (написанного в 1886 году и посвященного, кстати, покаянию нигилиста):

> «Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно ревела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:
>
> Гей, ты, хлопчик маненький,
> Бери ножик тоненький,
> Убьем, убьем жида,
> Прискорбного сына...»

Чехов и умер удивительно вовремя. Только-только стал задувать фантастический сквознячок из XX-го. Когда началась война с Японией, Чехов сказал:

> «Наши побьют японцев. Дядя Саша вернется полковником, а дядя Карл (дядя жены. — О.) — с новым орденом».

И все. Никаких сказок Порт-Артура и Цусимы, не говоря о 9 января. Но вот скоро в бреду предсмертной агонии (июль 1904) Чехов что-то невнятно бормочет о японских матросах. Похороны его, как известно, вылились уже в полную декадентщину: труп привезли в вагоне из-под устриц, о которых на заре своей литературной деятельности Чехов написал рассказ, исполненный ужаса и омерзения (рассказ так и назывался — «Устрицы»). Начинало задувать.

65. Примечание к № 61

«...молдавские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки» (Н. Гоголь).

Отец играл на мандолине; немного говорил по-испански и по-итальянски. Любил петь арию «господина Икс»:

> Да, я шут, я циркач,
> Так что же...

Однажды он с «ребятами» ел на кухне уху под водку. Одну тарелку кто-то не доел, и туда кости бросали и бычки. Потом ребята ушли, а отец на кухне остался и стал есть из этой тарелки. Долго, смачно обсасывая кости, вылавливая ложкой и тщательно пережёвывая разбухшие окурки. Я в ужасе тянул его от стола, а отец спутанно сопротивлялся, невнятно шипел: «Пошёл отсюда, ни-чтож-жес-ство».

72. Примечание к № 40

Но все-таки я не только червяк

Что есть истина? Истина есть ничто. Что такое обоняние по сравнению с чистым логосом? — Ничто. Зрение? — Ничто. Слух? — Ничто. Все чувства — ничто. Я всегда мыслил свое подлинное существование как уютную темноту посреди пространства, на меня замкнутого, то есть и бесконечного, как окружающий мир, и интимно тесного, как свод черепа, где внутри, в полной тишине, оплетенной невидимой сетью сосудов, с пульсацией невидимой же крови... Свою же телесную субстанцию я всегда расценивал как хамство какое-то. Стометровый брус ЭВМ в глубокой чистой шахте — это солидно, основательно, благородно. Но этот вот хамски сопящий хомо сапиенс — это я? Наглая ложь! Я существую, но в виде лжи. Ложь это все. Ложь существует. Истина изрекается в реальность и становится ложью. А я, мое «я» — оно неизреченно, неизречимо. В чистом мышлении оно должно совпадать со своим миром, мыслить словами не изрекаемыми, а просто ощущаемыми реальностью; мыслить реальностью, истекать в чистой самоуничтожающей игре — в свободе. Истина это свобода. Ложь — необходимость, реальность. Своим телом я повешен в реальности, привешан к ней. «Мне стыдно, что у меня есть тело», за которое можно зацепить вешалкой. И зацепили. Боже мой, куда я попал! Жить! Мне!! Здесь!!! Обидно. Если б вы знали, как это обидно!

Я знаю, что я человек. Никогда не считал себя ни животным, ни божеством. Но я так же знаю, что мое человеческое существование — это какая-то ошибка, несправедливость. Получается, что я, мое мышление — это функция какого-то там человека, тогда как по большому счету человек должен быть функцией такого сильного мышления, как мое. А мой разум силен. Не в том смысле, что я умнее окружающих и т. д., а потому, что он пугающе независим от того, что окружающие и называют Одиноковым. Все свои силы я отдавал разуму. Холил его, кормил, выращивал, как какой-то заморский фрукт в сложной оранжерее. И вот раскормил со слона. А он лезет мне своим хоботом в душу: я это и есть ты, а ты это часть моего «я». Я как-то перетек весь в разум и хочу в нем совсем раствориться. Еще Платон понял, что это форма изощренного самоубийства, причем норовящего принять коллективные формы, захватить с собой в последний путь весь мир.

77. Примечание к № 46

Где ваши документы! Их нет. И быть не может.

Достоевский: романы — гениальны, статьи — талантливы, письма — посредственны. Исходя из писем (только) непонятна его высокая самооценка (а ругань на Тургенева вообще выглядит мелко и пошло). Но это еще легкий случай. А если мои произведения — не центр моего «я», и я чувствую, что это не главное, что по ним нельзя судить обо мне. Если это проза Блока, музыка Грибоедова, письма Чайковского? Может быть, гениальна у меня сама моя жизнь, ритм жизни. Как же это со стороны почувствовать? Если только долго, годами, всматриваться в меня (и всматриваться благожелательно, любовно), знать мою жизнь, то иногда, может быть на какой-то пожелтевшей фотографии, случайно попавшейся на глаза, промелькнет ускользающая тень этой гениальной гармонии. Промелькнет трагическое величие моей жизни. Но как же это «доказать»? Как вообще чудовищна идея доказательства, оценки. Наибольшей ценностью обладает лишь тот, кто может себя максимально высоко оценить, предстать носителем или создателем неких ценностей. Но ценна моя жизнь, сама по себе. Более того, красива и величественна моя неосуществленная жизнь. То есть, собственно говоря, мой центр, суть моего «я» находится почти в ничто.

Юноша 17-летний,— удивительно красивый. В этом центр его бытия. Вот другой юноша, некрасивый, но трогательно влюбленный и любящий. А вот третий — гениальный в своем желании любви, гениальный своим состоянием предлюбовного опьянения. Как это видно в последнем случае? Он может рисовать, писать стихи, петь. А если этих прорывов в реальность нет? А он мучается, чувствует, что что-то тут не то, что он чем-то удивительно хорошим отличается от окружающих. А чем — и сам толком не знает. И начинает что-то бормотать. Ему говорят: «Каша это, которая сама себя хвалит. Где документы? Вы докажите!»

Зачем же мне еще доказывать? Бог знает обо мне, видит. А на земле мне говорят: «Ну, этому красная цена полтинник. Куда его? Мусор собирать разве». Что я могу возразить?

— Я... это... сны вижу. Если бы вы знали, какие сны, какое это чувство гармонии, меры.

— Че-его? Да он издевается над нами.

Или еще лучше:

— Во-во, а мы тоже сны видим такие.

— Нет, не видите.

— Ха-ха, ну, это ты уже совсем по-детски стал, позорно.

Может ли такая жизнь проявиться, сбыться? Конечно. В любви. Любимый и любящий человек поймет, угадает. Но для любви нужна актуализация. Можно продолжать любить вдруг потерявшего красоту. Но полюбить такого человека невозможно. Буквально «не за что». А любят всегда за что-то. Отсюда обреченность на одиночество. Ведь собственное мое «что-то» почти ничто...

А может быть как раз самые гениальные гении остаются незамеченными и навсегда непризнанными? А?

78. Примечание к № 63

К одному из героев Набокова ночью в комнату вошел черный кот

Набоков очень близок Чехову. И прежде всего своей конечностью, конченностью. Это последние русские классики. Но Набоков жил в великой и страшной России, России, отказавшейся умирать «по Чехову», истекать в чеховской позитивной тоске. Как это ни страшно и странно, но революция окончательно обессмертила Россию, взвинтила уровень художественного постижения мира. Был поставлен грандиозный спектакль, давший пищу на столетия вперед самому унылому позитивисту.

Чехов писал из Ялты:

> «Я каменею от скуки — и кончится тем, что брошусь с мола в море или женюсь».

Набоков же вспоминает в «Других берегах»:

> «На ялтинском молу, где Дама с Собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их; год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих на вытяжку мертвецов».

79. Примечание к № 46

И вот, плавно покачнувшись, она подлета-

ет к форточке лаборатории и, напоследок, этак нагло, с вывертом крутнув хвостом, взмывает вверх, в небо

А тут, насчет грызунов «Записки из подполья» есть:

> «Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить... Доходит, наконец, до самого дела, до самого акта мщения. Несчастная мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет кряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей, свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навыдумывает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется».

И находить в этом «сознательном погребении самого себя заживо с горя в подполье на 40 лет» странное, обреченное удовлетворение.

84. Примечание к № 72
Свою же телесную субстанцию я всегда расценивал как хамство какое-то

Ну, ладно, я согласен на тело. Но выдайте Александра Македонского, Наполеона! А то что это? Я так не играю!

85. Примечание к № 77
Зачем же мне еще доказывать!

Наивная обида Бердяева на логику, очень русская, милая. Он писал по поводу немецко-еврейской «научной» философии Когена и Гуссерля:

> «Научная общеобязательность современного сознания есть общеобязательность суженного, обедненного духа; это — разрыв духовного общения и сведение его к крайнему минимуму, столь же внешнему, как общение в праве. В научной общеобязательности есть аналогия с юридической общеобязательностью. Это — формализм человечества, внутренне разорванного, духовно разобщенного. Все свелось к научному и юридическому общению — так духовно отчуждены люди друг от друга. Научная общеобязательность, как и юридическая, есть взаимное обязывание врагов к принятию минимальной истины, поддерживающей единство рода человеческого. Общаться на почве истины не научно-общеобязательной, не отчужденной от глубин личности, уже не могут... Научная философия — юридическая философия, возникшая от утери свободы в общении, от общения лишь на почве горькой необходимости».

И далее:

> «Уже моральная общеобязательность предполагает большую степень общения, чем общеобязательность юридическая, а религиозная общеобязательность еще большую. Вот почему философия как искусство соборнее, чем философия как наука... Для разобщенных обязательны истины математики и физики и необязательны истины о свободе и смысле мира. Чужие должны доказывать друг другу всякую истину».

И все-таки философия должна быть доказательной. Пускай как стиль, как форма. Тут мера, категория, русскому логосу, увы, недоступная.

88. Примечание к № 72
Обидно.

Если бы я был абсолютным нулем. Все-таки нечто циклопическое. А то ведь ни Богу свечка... Я это себе представляю даже графически. Знаете, такая бумажка в косую линеечку, вырванная из ученической тетрадки. И там с наклоном, полудетским почерком дебила начертано: «Одиноков — 0». И все. Только «тире — ноль». И вот где-нибудь в архивах, через тысячу лет будут исследовать нашу эпоху. А кто же будет исследовать нашу вот эпоху? Какой-нибудь «золотушный, из неудавшихся, с насморком». И вот он прыг-прыг на копытцах к стеллажам на букву «О». И лапкой хвать мою папочку. Открывает, а там, в моем-то «Деле», одна только эта страничка и вшита: «Одиноков — 0». «Обидно-съ».

89. Примечание к № 84
я согласен на тело. Но выдайте Александра Македонского

Было и это. «Бесы»:

> «— Сударыня, ...я может быть желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната,— почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя,— почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани, почему, почему? Сударыня! По-моему, Россия есть игра природы, не более!»

92. Примечание к «Бесконечному тупику»
Василий Васильевич где-то сказал, что свечка ему милее Бога. Бог это где-то там, вообще, а свечечка вот она, зажег ее и она ожила, это «видно», в это можно верить.

Свеча это символ теплого времени. Русская история бесконечна, но прерывиста, разомкнута, и может быть именно поэтому она тепла. Как тепла и уютна все же Россия XIX века. Холод XX и делает ее теплой, очеловечивает, округляет, превращает из сумрачной пустоты нигилизма в быт, бытие. Свеча — символ надежды и символ жалости. Жалость возникает из сознания одинокой конечности, надежда — от светлой сопричастности мировому времени.

Перед смертью Розанов сказал:

> «Как все произошло. Россию подменили. Вставили на ее место другую свечку. И она горит чужим пламенем, чужим огнем: светится не русским светом и по-русски не согревает комнаты.
>
> Русское сало растеклось по шанделу. Когда эта чудная свечка выгорит, мы соберем остатки русского сальца. И сделаем еще последнюю русскую свечечку. Постараемся накопить еще больше русского сала и зажечь ее от той маленькой. Не успеем — русский свет погаснет в мире».

О чем хотел сказать Розанов своим пророчеством? Может быть он тогда, в 18-ом, предвидел трагедию русской эмиграции? Или его мысль следует отнести к еще более позднему времени? К нашему времени?

94. Примечание к № 92
«Как все произошло. Россию подменили» (В. Розанов)

Октябрь — что это? Полный крах, или есть в последующих событиях какой-то смысл, пусть темный, но смысл? Может быть, есть. Может быть, хотели из России сделать процветающую Францию с отличным пищеварением и давно выжранным червями мозгом. Но не получилось. Потеряли и мозг, и тело разрушили язвы, но остался человек, пускай кости и череп человека, а не полусущества-полумеханизма.

Розанов еще до революции писал:

> «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе,— мы и не должны отходить от нее... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет, и, обглоданная евреями, будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного, и всеми плюнутого. Так да будет...»

И кто-то, я знаю, плачет, любит... А во Франции не могут даже задаться подобным вопросом. Некому. И может быть это страшнее. Самый страшный недуг — дебил со счастливой улыбкой и прозрачными глазами. Франция — развитое общество. И оно живет своей сложной жизнью — там есть идея. Чужая. И живут французы для чужого. Мудрого, может быть даже гуманного и рачительного хозяина, но... чужого. А русские не захотели. С кровью, с мясом выдрали, потеряли все, почти все, разрушили и уничтожили национальные святыни, но сохранили большее. Россия еще поднимется. Через 50, через 100, 200 лет. Может, мир похолодеет от ужаса фатальной борьбы. Как бы то ни было, сейчас ясно одно: Россия единственная страна мира, где господство над историей не удалось, по крайней мере — «не завершилось».

96. Примечание к № 94
хотели из России сделать процветающую Францию с отличным пищеварением и давно выжранным червями мозгом

Позорное «дело Дрейфуса» показало, что Франция постепенно перестает быть самостоятельной страной, превращается в лишенный мозга социальный труп, подобно марионетке дергаемый за нити неведомым сверхгосударством.

Что сказал Розанов о евреях самое глубокое, самое верное и самое злое? Наверно это:

> «В «еврее» пришла новая «категория» человека — и именно пришел «отец диакон», который есть новая и неслыханная «категория» среди греков и римлян, между Ликургом и Катоном. В еврее никакой «крупицы» нет нашего, нет французского, нет немецкого, нет английского. Ничего европейского нет и не будет. Сказано — масло. Сказано — олива. Сказано — лампадка. И длинные волосы и бархатный голос. С евреями ведя дела, чувствуешь, что все «идет по маслу», все стало «на масле» и идет «ходко» и «легко», в высшей степени «приятно». Это и есть «о семени твоем благословятся все народы» и «всем будет хорошо с тобою» (около тебя). Едва вы начали «тереться около еврея», как замечаете, что у вас все «выходит». И вы «маслитесь» около него, и он «маслится» около вас. И все было бы хорошо, если бы вы не замечали (если успели вовремя), что все «по маслу» течет к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда, наконец, вы хотите остаться «в себе» и «один», остаться «без масла» — вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обеспложенное, ничего не имущее вещество. Вы чувствуете себя бесталантным, обездушенным,

одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с «маслом» и «евреем» — и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас — пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирен и повторяется везде — в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей сам не только бесталанен, но — ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный; сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой — он пересасывает из себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства природы, без космогонии в себе, в сущности — безъязычный, он присасывается «пустым мешком себя» к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосердечно восхищен «удивительными сокровищами в вас», которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому «имитировать», все это «подделывать», всему этому «подражать» — все воплощает «пустым мешком в себе», своею космогоническою безъязычностью, и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию — поддельной поэзией, вашу философию — философической риторикой и пошлостью. Сон фараона о 7 тучных коровах, пожранных 7 тощими коровами, который пророческим образом приснился египетскому царю в миг, как пожаловал в его страну Иосиф «с 11-ю братцами и папашей» — конечно был использован Иосифом фальшиво. Это не «7 урожайных годов» и «7 голодных годов», это судьба Египта «в сожительстве» с евреями, судьба благодатной и полновесной египетской культуры возле тощего еврея, с дяденьками и тетеньками, с большими удами, без мифологии и без истории, без искусства и философии. «Зажгут они лампадочки» и «начнут сосать». Плодиться и сосать, молиться и сосать. Тощий подведенный живот начнет отвисать, наливаться египетским соком, египетским талантом, египетским «всем». Уд всегда был велик, от Харрана, от Халдеи, от стран еще Содомских и Гоморровских. Понимания — никакого. Сочувствия — ничему. Один копеечный вкус к золотым вещицам египтян. И так везде. И так навсегда».

Боже мой, какая глубина, какая масляная ласковость, какое издевательство.

Множество моих друзей и знакомых — евреи. Тут дело не в желтом дворянстве, новой элите России, не только в этом. Один из них как-то спросил меня: «Одиноков, ведь ты антисемит? антисемит? Почему же мы дружим?» И мне стало так грустно, даже в глазах защипело. Как же тут объяснить? Ведь этому человеку «надо бы имени моего ужаснуться», бежать от меня куда глаза глядят. Ибо не только он абсолютно понятен, прочитываем в своем мегацыганстве — наивном, восточном, совершенно не сознаваемом, — это-то ладно, но дело в том, что он вне зависимости от своей воли и желания уже включен моим разумом в страшную игру и стоит какой-то мельчайшей пешкой на громадном шарообразном поле. Он уже задуман мною. Помещен в двойную заглушку. И я сам гибну.

Вообще современные евреи видели русских в их развитии, настоящих, разве что издалека, знают понаслышке. Они все каких-то маленьких, трехсантиметровых кальмариков-осьминожиков видели и думают, что они такие и есть. А они не такие. Они ведь в благоприятных условиях, знаете ли, и растут. А еще Цицерон говорил, что «природа сказывается не в зачатке, а в совершенстве».

Евреи погибнут из-за мнимости, которой они по привычке так опрометчиво «насосались». Отравляя своим нихилем, русские ставят еврея в положение «дружащего с евреем», положение для него совсем неожиданное, неслыханное, просто издевательское. (Хотя, разумеется, для русского тоже губительно такое соседство).

97. Примечание к № 94

«когда она (Россия) наконец умрет, и, обглоданная евреями, будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова» (В. Розанов)

«Закругленный мир» (I часть этой книги) — что это? По форме — любовь к Розанову. По содержанию — глумление над ним. Все верно, все правильно. Пришел развязный хам в узконосых ботинках и стал расшаркиваться аккуратно и «умно»: «во-первых», «во-вторых», «в-третьих». Но разве так говорят по-настоящему? Разве признаются в любви словами «я вас люблю так искренно, так нежно...»? Нет, это во сне выговаривается избранниками Божьими так чисто. А в реальном мире самое сокровенное говорится слабо, прерывающимся шепотом. От ужаса и любви язык заплетается: «Тут такое дело... гм... Видишь ли... Я не знаю... Я не могу без тебя жить». А сам смотрит в окно. А за окном строится панельная пятиэтажка. В «Закругленном мире» я по паркету разлетелся. Разве так было?

Я купил «Второй короб» за огромную, бессмысленную сумму и прочел за две октябрьские ночи. И это было как предсмертный укус пчелы Сократа. Больно и сладко. Целебное жало спасло от ревматизма одиночества. И никому не сказать. Я хочу поделиться, но никто не понимает, что я бормочу. Я написал гладко. Тогда «поняли». Но это же не так. Там нет меня. Смутно, в «подподтексте», при сопоставлении с II и III частью что-то видно. А так, «само по себе» — нет. Так каждый может написать. Вот Георгий Федотов написал:

> «За видимым хаосом, разорванностью, противоречивостью приоткрывается тихая глубина».
>
> «Ищешь по привычке, к чему можно было бы прицепить ярлык цинизма, и не находишь... как поднимется рука судить того, кто сам так беспощадно казнит себя».
>
> «Категория меры, столь ему несродная, торжествует, как найденное равновесие сердца: как возможный предел благословения жизни».
>
> «Его любовь раздваивается, как эрос и жалость, оставаясь единой. И это единство — самое важное в завещании Розанова».

(В 1931 году, в предисловии к эмигрантскому изданию «Опавших листьев».) Хорошо. И, в сущности, так. А в конце своего предисловия Георгий Петрович привел целиком цитату, «лист», фрагмент из которого здесь, в примечании к № 97, комментируется. И вот в этом комментируемом предложении Федотов выскреб бритовкой слова «обглоданная евреями». Выскреб подленько, без отточия. Не хорошо.

Писать гаденькие гладенькие статейки и книжицы по философии это еще не значит быть философом. Федотов — нечестный человек. А за руку в объективированном тексте его схватить нельзя. В последнем предложении статьи одна ошибка. Да и то в цитате. Ошибка конечно имеющая символический характер. Такие проговаривания всегда бывают. Но замечают-то их далеко не всегда. И что это за «философия», восприятие которой зависит от справки филолога?

Поэтому «Закругленный мир» это пародия. Вторая часть именно за счет пародийности из пародии выпадает. А эта, нелепая, уже я сам. Не текст, а ощущение от текста «Примечаний» это и есть ощущение мое от Розанова.

Я писал первую часть «так», как «пустяк», не вполне серьезно. Я уже сознавал, что это все не то. Почему я это писал? Почему это не мог написать кто-нибудь другой? Вот Федотов написал. Но если это просто «сделано», то зачем писать? Ну, да, Розанов гений? — Гений. Чуткий? — Чуткий. Добрый? — Добрый. А зачем тогда писать? О чем? Это не нужно. Это глумление. Вот отец умер. А мне приносят о нем статью, где мне доказывают, что он хороший. Зачем это? Куда вы! Розанов писал, что мир погибнет от равнодушного сострадания.

Нет. Или уж сострадать, но искренно, всей душой, до потери «приличия», до размазывания слез по онемевшему от страдания лицу... или лучше отойти в сторону.

Пригладил Розанова. Он как бы простил его. За что? Разве Розанов ему что-нибудь сделал? И вся жизнь Федотова... экскурсовод в российском палеонтологическом музее. И этот человек всерьез считал себя философом. Быть умным человеком и уметь в талантливой форме излагать свои мысли это значит быть философом? А я скажу: да, Федотов умный. Он прочел Розанова. Понял. Написал о нем умную, интересную статью, помогающую понять мыслителя и лучше разобраться в собственных впечатлениях от его книг. Но когда Федотов писал, он явно не задавал себе один маленький вопрос: «А зачем?» Зачем все это? И кому это нужно — «мои впечатления от Розанова». Даже самому Розанову в очень незначительной степени. Ведь он прямо говорил, что ему плевать на то, что о нем пишут. Тут проблема воплощения, жизни и смерти. Надо оживить себя, ввернуть в эти проклятые испачканные строчками страницы. А возможно ли это? И не есть ли подобного рода существование фикция?

От объективности Розанов исчезает. В третьей части Розанов — это боковая тема. Но эта постыдная и до смешного жалкая неудача и есть действительно книга о Розанове. Книга, где жизнь меня смахивает смехом как крошки после ужина — «не нужен».

99. Примечание к № 96

Позорное «дело Дрейфуса» показало, что Франция постепенно перестает быть самостоятельной страной

Леонтьев сказал:

> «Более 1200 лет ни одна государственная система, как видно из истории, не жила: многие государства прожили гораздо меньше».

Сейчас идет смена, создание новых наций. Современная Франция или Англия уже есть Франция и Англия лишь в смысле географическом. Мозг — евреи, тело — постепенно мулатизируется (смешанные браки, массовая иммиграция негров и арабов). В результате постепенно формируются новые этносы, с новой историей, новой религией. Франция уже сейчас похожа на Францию XVIII века так же, как «Священная Римская империя германской нации» на настоящую Римскую империю.

И очень наивно негодовать по этому поводу. Леонтьев опять верно заметил:

> «Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает... Правда и они организмы, но другого порядка; они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно сознанные законы природы и истории».

Безумие негодовать по поводу смертности людей. Люди смертны. И это ужасно. Но это закон, идея. Можно ощущать ее жестокость и аморальность. Но «обличать» Смерть... Она и не будет с вами спорить. Вы можете десятилетиями проклинать ее, но ответа не дождетесь. Просто постепенно начнут слабеть зрение и слух, выпадут зубы, волосы, кожа станет морщинистой и дряблой... Потом резанет стеклом по сердцу, и все...

Вот почему антисемитизм так груб, так неумен. Еврейство есть прежде всего определенная идея, а идею уничтожить нельзя. Сами евреи следуют ей невольно, само собой. Думать, что то или иное государство гибнет «от евреев», так же нелепо, как считать, что человек умирает от инфаркта. Отчего умирают люди? — От болезни. Нет, люди умирают от Смерти.

100. Примечание к № 97

Разве так было!

Я читал философов и думал: «Какой же я философ?»

Иногда «расходился». Иду по улице, философствую, а мне кто-то спокойно говорит на ухо: «А у тебя отец умер».

Смотрю в том Гегеля, а думаю про отца. Хочется крикнуть что-нибудь умное, а голос тут как тут: «А отец-то твой где?» Как это, куда это ввернуть, вставить? «Что ни делает дурак, все он делает не так». Сидят люди, разговаривают, и вдруг им ни с того ни с сего: «А у меня вот отец..»

Читают лекцию по философии. Я вопросик лектору, «записку из зала»: «Такого-то числа такого-то месяца и года у меня умер Отец». И подпись: «Одиноков».— Ну и что? При чем здесь это-то? О чем вы, милейший?! Ну конечно, очень жалко, мы сочувствуем и т. д. И я получаюсь каким-то «и т. д.». «Идите отсюдова».

Говорить мне с философами — профанация. Что-то тянется и получается глупотягуче: «Гегель в своей философской системе показал, что... Мы же считаем, однако... Тем не менее, при сравнительном анализе...» И голос срывается, я задыхаюсь. В одном предложении три «это» и четыре «который». А в голове: «Да, жил, понимаешь, существовал, а тут, хе-хе, «собирайте вещи». Папенька-то „тю-тю"». Какая-то мучительная, постыдная незавершенность. Вышел на сцену, а штаны сзади рваные. «Зал грохнул». «Не все дома».

И вот я прочел «Опавшие листья», в центре которых, в одном из центров,— болезнь и умирание близкого человека... Что же такое «Бесконечный тупик» (в целом). Тот же ритм, те же темы. Я лежал где-то там, внутри, и думал: «А надо ли расти? Может быть так и остаться, в себе?» А Розанов сказал: «Расти, миленький. Закрой глаза и расти. Это фатум и так можно».

Что такое пощечина? Пощечина ли марксизм? — Набор слов. Не дотягивается. Пощечина ли Гегель? — Совсем другое... Гегель другой и его тяжелая рука проходит сквозь туман моего лица.

И вот статья Федотова о Розанове. Хорошо, интересно. О Розанове все пишут интересно. Я говорил уже, что он облагораживает мышление. (Гегель не облагораживает, а опошляет. Сам-то он не пошл, куда, и выговорить-то смешно такое. А вот почему-то опошляет все вокруг, сыпет в мозг наждаком.)

Да, значит, Федотов. С ластичком. Кто для него Розанов? — Разрушитель:

> «Вся изумительная вспышка розановского гения питается горючими газами, выделяющимися в разложении старой России. Думая о Розанове, невольно вспоминаешь распад атома, освобождающий огромное количество энергии... не случайно, что вершины своего гения Розанов достигает в максимальной разорванности, распаде «умного» сознания. Розанов одновременно и рождается сам в смерти старой России и могущественно ускоряет ее гибель. Иной раз кажется, что одного «Уединенного» было бы достаточно, чтобы взорвать Россию... Розанов, убийца идей, выполнял провиденциальную функцию разрушителя империи».

Нет, Розанов это созидатель. А разрушитель, г-н Федотов, кто-то другой. С подлым ластичком.

И я чувствую, вижу, как меня окружают со всех сторон федотовы и начинают стирать ластиками.

101. Примечание к № 100

Смотрю в том Гегеля, а думаю про отца

Читаешь Канта или Гегеля, а в голове туманом клубятся русские мысли. Совершенно непроизвольно. Мысль работает четко, аккуратно следует за написанным, но что-то параллельно летит, недоумевает. Связано ли это с собственно «думанием»? Да, и очень тесно. Но на ассоциативном конце этой связи совсем не то, что на конце логическом. То ли карикатура, размазанная клякса от пролившихся чернил, воздушный шарик, вырвавшийся из рук и беспомощно повисший яркой тряпочкой на колючей ветке,— морозном узоре на стекле рассудка. И вот книга эта вся и есть русское восприятие Канта. Я его читал и писал на полях эту книгу. Вдуматься, в этом есть определенная логика, и, мысленно отдаляясь, читатель (так задумано) должен сложить отдельные смысловые штрихи, «примечания».

Розанов писал:

> «Только оканчивая жизнь, видишь, что вся твоя жизнь была поучением, в котором ты был невнимательным учеником. Так я стою перед своим невыученным уроком. Учитель вышел. «Собирай книги и уходи». И рад был бы, чтобы кто-нибудь «наказал», «оставил без обеда». Но никто не накажет. Ты — вообще никому не нужен. Завтра будет «урок». Но для другого. И многие будут заниматься. Тобой никогда более не займутся».

И мной больше не займутся. Книга эта — урок. В чем он? Я и сам только догадываюсь. Но знаю, что что-то произошло. Что?

109. Примечание к № 78

Набоков очень близок Чехову

Первое произведение Набокова, «Машенька», своим сюжетом очень напоминает рассказ Чехова «Верочка» (несостоявшаяся любовь). Хотя сам Чехов свою близость Набокову конечно осознавать не мог. В письме к Ф. Д. Батюшкову от 23 мая 1903 г. он писал:

> «Что же касается г. Чердынцева, то о нем я не знаю, никогда его не видел и ничего о нем не слышал...»

110. Примечание к № 96

еврей... взамен всех талантов имеет один большой хобот

Типичная еврейская молитва:

«Боже всемогущий, ныне близко и скоро храм Твой создай, скоро, в дни наши как можно ближе, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне близко храм Твой создай. Милосердный Боже, великий Боже, кроткий Боже, всевышний Боже, благой Боже, сладчайший Боже, безмерный Боже, Боже израилев, в близкое время храм Твой создай, скоро, скоро, в дни наши, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне скоро храм Твой создай! Могущественный Боже, живой Боже, крепкий Боже, славный Боже, милостивый Боже, вечный Боже, страшный Боже, превосходный Боже, царствующий Боже, богатый Боже, великолепный Боже, верный Боже, ныне немедля храм Твой возставь, скоро, скоро, в дни наши, немедля скоро, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне скоро храм Твой создай!»

Какой у этой молитвы (о пришествии Мессии) выманивающий и высасывающий ритм! Торопливо, безнадежно, и не дадут. И от сознания этого уже нагло, смешно и по-детски трогательно: «Дай! дай!» А с другой стороны, и не смешно: какая настойчивая выпрашивающая сила, какая выпрашивающая мощь!

113. Примечание к № 94

мир похолодеет от ужаса фатальной борьбы

Глупость и абсолютная бессмысленность русского человека приводит к очень сильной воспроизводимости ситуации. Поэтому евреи, запутавшись в русскую историю, вплетшись в нее, уже от русских не отделаются. Из переплета этого не выйдут. Абсолютная целесообразность, сплетенная с абсолютной бесцельностью, приведет к доминированию в мире. XXII век — это борьба русских и еврейских наднациональных кланов, приобретшая космические масштабы. Советско-американское противостояние будет размываться. Оно и сейчас на самом деле весьма смутное, расползающееся.

115. Примечание к № 113

евреи, запутавшись в русскую историю, вплетшись в нее, уже от русских не отделаются

Уже само по себе существование еврея для русского есть издевательство: «Как еврей? Почему? Зачем? Как вы живете! Как же так можно!!!»

Но существование русского для еврея это уже нечто неслыханное. Это какая-то мировая несправедливость. И мировая несправедливость, с которой непосредственно столкнулось его личное существование. У немцев к русским ненависть вообще, абстрактная, а у евреев глубоко личная, интимная. Как к Христу. Они даже теряют всю свою осторожность и прямо, в лицо, сами не замечая, проговариваются.

Вот что пишет например автор «Истории еврейского народа» С. М. Дубнов о хасидистских оргиях:

> «То не было бессмысленное пьянство русского крестьянина, превращающее человека в животное; хасид пил — в более умеренных дозах — «для души», чтобы «прогнать печаль, отупляющую сердце», усилить религиозную восторженность, оживить общение с единомышленниками».

А русский, значит, чисто машинально самогонку из корыта лакает. Из «Дневника писателя» Достоевского:

> «Если уж зашла речь о предрассудиах, то как вы думаете: еврей менее питает предрассудков к русскому, чем русский к еврею? Не побольше ли?.. у меня перед глазами письма евреев, да не из простолюдья, а образованных евреев, и — сколько ненависти в этих письмах к «коренному населению»! А главное,— пишут, да и не примечают этого сами».

Это злоба семита-охотника. Он загоняет кабана в ловушку, а тот, необъяснимо почему, не идет. Ариец бы огорчился, но и отождествил себя со зверем: «Ай хорошо, ай молодец! Ловко!» Это чувство хорошо подметил Мережковский, говоря о персонаже толстовских «Казаков»:

> «Да, он не только «знает», но и «жалеет», «любит?» зверя. Потому и знает, что любит. Он любит и того кабана, за которым охотится в камышах и которого убьет. Вот чисто арийское противоречие; вот живой, животный изгиб переплетенных веток арийской заросли, чуждый и непонятный простому, правильному, как черта горизонта, беспощадно-прямолинейному и пустынному духу Семита».

Для семите ускользнувший зверь — тупое ничтожество, шут, дурак. Будь он проклят во веки веков, чтоб у него клыки в мозг вросли, чтоб его язык покрылся язвами, чтоб его глазки выдрало колючками, а шкура потрескалась гноящимися ранами. Кто виноват? — виноват не охотник, он все рассчитал. Виновата грязная скотина. И ведь не специально, не то чтобы разгадал ловушку — тут еще не так обидно, здесь утешительная объяснимая объективность. А он просто «в дурь попер». Сделали засаду в дубовой роще у источника, а он взял и проспал весь день. Русский, делая «злые вещи», сам превращается в «злое животное», непредсказуемое. Русские как будто и выдуманы для издевательства над евреями.

117. Примечание к № 115

[евреи] из переплета этого не выйдут

Идея русской истории это такое теплое живое облако, в морозном, пронзительно синем русском небе. И оттуда выбрасываются, как-то создаются русские. И я тоже выброшен. И именно такой, тут уж ничего не поделаешь. По себе только, только по себе могу догадываться, что же это такое вообще. И то, само это догадывание уже задумано там, в облаке. Так что «похлопал рукавицами на Камчатке и пошел рубить избу». И все. Евреи этим будут размозжены. Без всякой личной со стороны моей ненависти и даже неприязни. Я не виноват. Так получается.

Конечно, в уроднении национальному року есть и что-то приятное. Чувство: а, вот я какой, вот почему это все у меня. Когда подросток не подготовлен к любви, он не знает, что с ним начинает происходить, и мучается, может даже умереть, покончить жизнь самоубийством. А когда жизнь его пряма, то возникает совсем иной настрой — чувство начинающейся весны, радости, жизни. Догадывание о заложенной кем-то сверхпрограмме может превратиться в спокойное, радостное следование, принятие, и в конце концов, вто-

ричное облагораживание все равно предначертанного судьбой пути.

118. Примечание к № 101
Книга эта — урок. В чем он! Я и сам только догадываюсь.

Достоевский писал:

«Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные; пробудясь, вы припоминаете их ясно и удивляетесь странному факту: вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас во все продолжение вашего сновидения; вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это долгое, долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали свое намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие и они лишь ждали какого-то знака; вы вспоминаете, как хитро вы их, наконец, обманули, спрятались от них; потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались; но вы схитрили и обманули их опять, все это вы припоминаете ясно. Но почему же в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был сплошь наполнен ваш сон? Один из ваших убийц в ваших глазах обратился в женщину, а из женщины в маленького, хитрого, злого карлика,— и вы все это допустили тотчас же, как совершившийся факт, почти без малейшего недоумения, и именно в то самое время, когда, с другой стороны, ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику? Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенною силой впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце; вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами; впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что было сказано вам — всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить».

119. Примечание к № 78
«год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих на вытяжку мертвецов» (В. Набоков)

Серафимович, «Железный поток»:

«У нашей станицы, як прийшлы с фронта козаки, зараз похваталы своих охвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывели на пристань, привязалы каменюки до шеи тай сталы спихивать с пристани в море. От булькнуть у воду, тай все ниже, ниже, все дочиста видать — вода сы-ыня та чиста, як слеза,— ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом... А як до дна дойдуть, аж в судорогах ущемляются друг с дружкой тай замруть клубком. Все дочиста видать,— вот чудно».

В своем эссе о Гоголе Набоков писал:

«Русский, который думает, что Тургенев был великим писателем, а свое представление о Пушкине основывает на мерзком либретто Чайковского, беззаботно пустится в лодочную прогулку по нежнейшей зыби таинственного гоголевского моря и испытает невинное удовольствие от того, что покажется ему причудливым юмором и красочными колкостями. Но ныряльщик, искатель черных жемчужин, тот, кто предпочитает общество глубоководных чудищ пляжным навесам, найдет в «Шинели» тени, отбрасываемые на наше существование теми другими состояниями бытия, которые мы смутно постигаем в редкие мгновения восприимчивости к иррациональному».

В начале XIX века Гоголя душили и не додушили — следовательно выбрали бездну русского языка, с плаванием в оной всякого рода «глубоководных чудищ», вместо плоского, но прочного и уютного солнечного пляжа.

Левые восприняли произведения Гоголя буквально, сочли зеркальным отражением реального мира. Но если «Ревизор» или «Мертвые души» это обобщенное выражение реальности, то такую реальность следует разрушить. А следовательно, уничтожить и самого Гоголя, как ее порождение. Разрушение старого мира они и начали с Гоголя. Что им вполне удалось. Гоголь сжег второй том своего романа и умер, точнее, погиб. Это первая, одна из первых, жертв социализма, его принципиальной антикультурности (письмо мракобеса Белинского).

Правые же считали гоголевские произведения злобной карикатурой. Писали, что «Ревизор» это неправдоподобный фарс, анекдот с бродячим международным сюжетом (Булгарин), что Гоголь развлекает публику низкопробными шутками и как малоросс и полонофил клевещет на русских. В последнем случае не принималось во внимание, что еще «Вечера на хуторе близ Диканьки» вызвали упреки в незнании народных украинских обычаев и украинского быта. Это и неудивительно, ведь Гоголь был принципиально антисоциален, никогда не умел нормально общаться с людьми и жил во сне, как лунатик. Его разбудили, и он сорвался с крыши. Тут рука об руку с Белинским положили свой камешек и Булгарин, да и славянофилы, объявившие Гоголя русским Гомером и пытавшиеся его заставить видеть другие (хорошие) сны.

В конечном счете наиболее здоровым (понятия истины и лжи, как я уже говорил, в мифотворчестве не существуют) отношением к Гоголю было отношение Булгарина, этой добродетельной посредственности. Лет через 20—30 бутылочные осколки колкостей были бы обкатаны на пляже волнами времени и Гоголь превратился бы в русского Марка Твена. Но булгаринский подход был обречен на неудачу. Гоголь свел с ума своих читателей, дал им полную свободу фантазий, заворожил их осуществимостью. Давно подмечена избыточность его прозы, мощность изобразительных средств, которые тысячекратно превосходят потребности изложения, делая его даже ненужным, отступающим на задний план. Не важно **что**, важно **как**. Первое — статика, второе — динамика. Гоголь дал русской литературе время, положил начало литературному процессу, несущемуся неизвестно куда «птицей-тройкой». Вся русская литература вышла из Пушкина, но вывел ее Гоголь. Мир Пушкина совершенен, он вне времени, он замкнут, самодостаточен. Вообще Пушкин стоит несколько особняком и его в принципе можно было локализовать, «закрыть» и заморозить, не покалечив. А Гоголя можно было только сломать, вырвать с корнем. Русские и толпились около него, вольно или невольно затаптывая. Но сорвалось.

Пушкин — русское сознание. Гоголь — сон этого сознания. В Гоголе русская литература начала видеть сны. (В допушкинскую эпоху между сном и явью не было ясной границы, не возникло русской личности, способа существования русского «я»). И весь XIX век, его литература, это гигантский сон. Сон с неизбежным кровавым пробуждением, кровавым похмельем, когда все персонажи, столь агрессивно навязываемые реальности, наконец, по закону сбываемости, ожили и начали свою сатанинскую свистопляску. И вот уже мичман Раскольников топит в Черном море российский флот. Нет, не случайно вырвалось у Розанова:

«Ни один политик и ни один политический писатель в мире не произвел в «политике» так много, как Гоголь».

Правые считали, что следует уничтожить Гоголя и, следовательно, будущий мир. Правые и левые — воля. Сам Гоголь — фатум. «Вот к чему могут привести русские сны».

И еще одна сила — само государство уцепилось за Гоголя. Ему дали социальную свободу (губительную для русского). Николай I лично соизволил аплодировать «Ревизору». «Ревизор» стал расти, со временем развернулся в черный вакуум. И это тоже привело к окончательному несчастью личной жизни Гоголя. Психологический надлом произошел у него именно после высочайшего одобрения. Из Нежина на петербургский Олимп. Сбывшаяся мечта Поприщина.

Николай I насильственно социализировал пьесу и, следовательно, пошел по пути западников, по пути Белинского. Набоков хорошо подметил, что высшая похвала Николая I по отношению к художественному произведению — «дельно» — удивительно совпадала с лексикой радикальной критики. В сущности, и та и другая сторона понимала ненужность литературы, хотела ее использовать для утилитарных целей. Но русской литературе хватило и этой щелочки в реальность, чтобы в конце концов эту реальность изменить. Возможно даже, что как раз утилитаризм способствовал усилению агрессивности литературы, кислотой выгрызающей реальность, разрушающей реальность.

120. Примечание к № 96
«[еврей] заменяет... вашу философию — философической риторикой» (В. Розанов)

Гениальный русский философ Соловьев разработал, открыл, дал; светлые силы; прогресс; боролся; тяжкие испытания; пророк; спасибо, гигантский вклад, новая ступень; отповедь клеветникам; скромный-тихий-добрый; целая школа, титан, целая плеяда; беззащитный; цепляются за фалды; нет, не отдадим; сократовский лоб; есть традиции русской интеллигенции и мы никому не позволим; речь 1881 года; душная атмосфера; благородный защитник; ужасы еврейских погромов; предвидение; да; наша Россия... И т. д. и т. п.

Долб, долб, долб... Читайте, запоминайте.

123. Примечание к № 96
он ...уже включен моим разумом в страшную игру

О русском и еврейском мышлении. Еврейское мышление аксиоматическое. Еврею обязательно нужна точка опоры. В ее интерпретации, толковании он совершенно свободен и волюнтаристичен, но без нее теряется, беспомощно шатается из стороны в сторону.

Русское мышление свободно в самих исходных постулатах. Точнее, их просто не существует и русский выбирает оные по собственному произволу. Зато, раз выбрав, удивительно неспособен к какому-нибудь соотнесению с реальностью, и с головой увязает в болоте тягуче-абстрактных размышлений. Русское мышление сильно в чисто интуитивной сфере. По своей сути оно построено на провокации и для отечественного сознания еврейская герменевтика всегда будет смешной и наивной азиатчиной. Евреи очень наивный народ, инфантильный. Они считают себя очень умными и хитрыми, но по словам Розанова «ум их вообще сильно преувеличен». Еврей строит себе интеллектуальный мирок, ограничивает его со всех сторон ширмами постулатов... и оказывается в положении страуса, так как для русского всех этих еврейских постулатов просто не существует. Еврей хочет его обмануть, но русский ни во что не верит. Ему подсовывают фальшивый вексель, но русский не верит и векселям настоящим. «Москва слезам не верит», как подчеркнул Розанов в своем «Апокалипсисе».

В 1917 году они «сосчитали», «высчитали», но русский сапог раздавил все эти ширмы и лабиринты, даже не заметив,

Ведь до сего дня русские так и не заметили, не поняли, что произошло. События 1917-го для русского сознания очень сложны, головоломны и вообще «верится с трудом». Но 17-ый со временем забыли, «потеряли». Потеряли фальшивый вексель, билет в ад.

Евреи гениальные провокаторы-практики, но в теории, в мире идей удивительно неспособны к какой-либо нечестности, неправде, юродству. Им это просто не приходит в голову. Внутри плоских шахмат они боги, но русские разбивают шахматные доски об их «жалобные лобные кости». Когда с евреем ведешь какое-либо дело и зависим от него, или взаимозависим, он силен, но если свободен от него, он вдруг становится глуп, узок, азиатски прямолинеен. Он сам не понимает, что над ним издеваются. Он слепнет и глохнет, вообще замирает, как перевернутая черепаха. Русскому же человеку стоит только связать себя чем-нибудь определенным, как он моментально превращается в идиота. Русский писатель часто гений, русский литературовед почти всегда идиот.

124. Примечание к № 117

в уродненин нацнональному року есть и что-то приятное. Чувство: в, вот я какой, вот почему это все у меня

Эпизод из набоковского «Дара»:

> «Накинув на шею серо-полосатый шарфик, он по-русски задержал его подбородком, по-русски же влезая толчками спины в пальто».

Оказывается, это по-русски. А я, одеваясь так всегда, и не знал. И я вспомнил милого отца, молодого. В плаще «болонье» и берете, прижимающего подбородком пестрое кашне.

125. Примечание к № 72

Боже мой, куда я попал!

Набоков писал:

> «Ужасы, которые прошлые поколения мысленно отстраняли, как анахронизмы или как нечто, случавшееся только очень далеко, в получеловеческих ханствах и мандаринствах, на самом деле происходили вокруг нас».

Для вас «вокруг». А для нас — «с нами». Я сам в ханстве-мандаринстве получеловеческом живу. Ладно, что это страшно и больно. Но это... пошло. Умру и меня спросят: «Где жил?» Я шмыгну носом: «Мы в Ресефесевре».— «Ну и дурак».

Положить жизнь за то, чтобы мандаринство стало человеческим. Что ж, благородно, мило. Но ведь все это уже было, было. А жизнь человеку дается один раз. А меня вынуждают убить жизнь на то, чтобы отучить великовозрастных идиотов хлопать об затылки первоклашек пакеты из-под жареного картофеля. Поистине великая задача для философа! А ведь иного пути нет.

126. Примечание к № 119 с. 131

выбрали бездну русского языка .. вместо плоского, но прочного и уютного солнечного пляжа

«Пляж» это мечта Чехова. Загорать, кататься на лодке. За два с половиной месяца до смерти он пишет жене:

> «Один страстный рыболов преподал мне особый способ рыбной ловли, без насадки; способ английский, великолепный... Быть может, ты подберешь легонькую, красивенькую и недорогую лодку. Или узнай там, где у них магазин и побывай в магазине. Чем легче лодка, тем лучше. Спроси цену, запиши название и № лодки, чтобы потом можно было выписать, и спроси, можно ли отправить лодку как простой товар. Дело в том, что железная дорога отдает под лодку целую платформу и потому проезд лодки обходится в 100 рублей».

Пишет сестре за неделю до смерти:

> «Надо чтобы ты в свободную минуту в ватерпруфе (шутливое название ватерклозета. — О.), что с изразцами, велела в окне сделать форточку, которую можно было бы открывать. Только надо сделать очень хорошо... Марки не бросай, оставляй для меня».

За три дня до смерти Чехов упросил Книппер купить белый фланелевый костюм... В нем его и повезли вместе лодки, в вагоне для устриц.

Чехов все пытался выкарабкаться из гоголевского бреда, выправить русскую литературу, придать ей безопасную плоскость и твердость, но сама судьба тянула его назад. Даже физиология у Чехова нехорошая, декадентская. В молодости еще — воспаление брюшины, геморрой, импотенция, потом чахотка и сопутствующая этой болезни эротомания. В последних годах Чехова, в этом предсмертном упивании жизнью человека с гнилыми легкими есть нечто страшное и одновременно пошлое. Полная фантастика и полная обыденность. Гоголевщина.

И как и у Гоголя, не реализм, а иллюзионизм. Реалист Бунин, повторяя булгаринские упреки Гоголю, саркастически писал по поводу чеховских пьес:

> «Помещики там очень плохи. Героиня «Вишневого сада», будто бы рожденная в помещичьей среде, ни единой чертой не связана с этой средой, она актриса, написана только для того, чтобы была роль для Книппер. Фирс — верх банальности, а его слова: «человека забыли» — под занавес! Да и где это были помещичьи сады, сплошь состоявшие из вишен? «Вишневый садок» был только при хохлацких хатах. И зачем понадобилось Лопахину рубить этот «вишневый сад»? Чтобы фабрику, что ли, на месте вишневого сада строить?»

Тут глубже. Это, в общем, придирки. А Бунина взбесила ирреальная атмосфера его пьес, издевательски реалистичная.

127. Примечание к № 119

Пушкин — русское сознание. Гоголь — сон этого сознания

Пушкин и Гоголь это как солнце и луна. Отношение к эросу. Любвеобильный Пушкин и девственник Гоголь. Отношение к религии. Масонство и атеизм Пушкина и христианство Гоголя. Удивительно, почему не наоборот. Провиденциально. Русское христианство ночное, дословесное. А в слове чертовщина. И она гуманнее. Пушкин может быть спас Россию, если бы осуществился. Но осуществился Гоголь. Гоголь умер слишком поздно, а Пушкин слишком рано. Леонтьев мечтал о том, чтобы Александр Сергеевич дожил до Крымской войны и написал «Войну и мир». Такое же желание у Розанова, Набокова, Мережковского, чуть ли не всех русских писателей. О Гоголе, умершем в 42 года, никто так не жалел.

128. Примечание к № 115

«Он любит и того кабана, за которым охотится в камышах и которого убьет. Вот чисто арийское противоречие» (Д. Мережковский)

Достоевский писал:

> «У Лермонтова сказка о Калашникове. Белинский, под конец жизни совсем лишившийся русского чутья, думал в словах Грозного: я топор велю наточить-навострить — видеть лишь издевку, лютую насмешку тигра над своей жертвой, тогда как в словах Грозного именно эти слова означают милость. Ты казнь заслужил — иди, но ты мне нравишься тоже, и вот я и тебе честь сделаю, какую только могу теперь, но уж не ропщи — казню. Это лев говорил сам со львом и знал это. Вы не верите? Хотите, удивлю вас еще дальше? Итак, знайте, что и Калашников остался доволен этой милостью, а уж приговор о казни само собой считал справедливым. Этого нет у Лермонтова, но это так».

129. Примечание к № 96

Они все каких-то маленьких, трехсантиметровых кальмариков-осьминожиков видели

Головоногие это мои любимцы. Они такие необычные. Вот улитка какая-нибудь виноградная. Ее все обижают, едят. А тут кальмар. У него длина 18 метров. «Вы тут улитку просили? Ну, я улитка». А у улитки этой одна присоска с тарелку. Интересно, что у кальмаров и раковина есть. Только она недоразвита и внутри тела находится — как маленькая косточка, случайно попавшая в колоссальный студень. Зачем им раковина? При таких размерах они и так китов в страхе держат.

Во-вторых, у кальмаров и осьминогов есть глаза. Червяк с глазами — смешно и жутко. Глаза эти развились у моллюсков совсем из других органов, чем у позвоночных, но удивительно похожи на «настоящие». Вообще между позвоночным и моллюском почти такая же разница, как между позвоночным и растением. Даже иглокожие (морские ежи, звезды) неизмеримо ближе к человеку, чем головоногие. Это совершенно иная ветвь эволюции — не иглокожие и хордовые (а у хордовых одна из ветвей рыбы — земноводные — рептилии — млекопитающие), а моллюски, черви, паукообразные, насекомые. У этой ветви живых организмов (первичноротых) видимо вообще нет психики, нет ничего субъективного, как нет его у растений и механизмов. И вдруг глаза. Смотрят на человека через стекло океанариума. Более того, кроме глаз, головоногие отрастили себе довольно большой мозг, не имеющий опять-таки ничего общего с мозгом рыб и млекопитающих. И неясно, что это — некий псевдомозг-калькулятор (как у робота) или он живой, и у осьминога есть все-таки какие-то чувства.

Осьминог это высший слизняк, высший червяк, не гомологичный, а аналогичный европейской цивилизации. Это параллель европейцу, не вполне удавшаяся и совсем другая — иной тип разумных существ. Восток — абсолютная неудача, иглокожесть, стагнация. Так называемая «духовность» Востока это просто отсутствие разума. Если представить первое слагаемое как уровень интеллекта, второе — как уровень духовности, а формулу западной цивилизации как 100 + 100, то соответствующая формула Востока 1 + 9. Конечно, в первом случае уровень духовности равен 50%, а во втором 90%, но ведь это совсем несопоставимые вещи. А русские это 70 + 100. Уровень почти западный, а соотношение иное.

132. Примечание к № 72

Ложь — необходимость, реальность

Что такое необходимость? Это то, что нельзя обойти. Его обходишь, обходишь, а оно все не кончается. И вот уже не я его обхожу, а оно меня обходит, обволакивает, и я запутываюсь в бесконечном тупике необходимости. Я попробовал обойтись без национального. Какой же я русский? — Не хочу. Я человек вообще. И даже не человек, а логос, разум, который свободно мыслит самого себя. Вот и помыслил, «обошелся». Двигал фигуры по клетчатой доске туда-сюда. Игра становилась все интересней. Пешки и короли становились все тяжелей, наливались свинцом. Вот и двумя руками я их еле передвигаю. Оглянулся, а вокруг пятиметровые башни ферзей и слонов. Я хочу выбраться и не могу. Стою посреди уходящего за горизонт белого поля и вдруг чувствую, что чья-то теплая невидимая щупальца хватает меня за шкирку и белая земля становится черной. Я так не играю, «верните деньги!». Но — куда, механизм включен, теперь рукопись пойдет по рукам, по столам. По кабинетам. «Пошутил, значит. Ну-ну...»

134. Примечание к № 72

Все свои силы я отдавал разуму

Мой разум слабый, женственный, слишком легко перескакивает нахальным галчонком с одного на другое. А в эмоциональном отношении я очень впечатлителен, склонен к мнительности и вообще легко вводим в то или иное психическое состояние. И тем не менее я очень рационален. Почему? — Мой разум всегда находится в положении третьего радующегося. Он ловко сталкивал лбами химер бессозна-

тельного и пока, скажем, стремление к смерти боролось с волей к власти, разум, оставленный в покое, бродил по осеннему саду, дышал морозным октябрьским воздухом. Во мне силен дух противоречия, поэтому я совсем непротиворечивый человек.

Я вспоминаю о своей юности. Жажда любви компенсировалась ощущением собственной ничтожности и стремлением к власти. Поэтому я не сделал ни одной глупости... Что является глупостью абсолютной. Ошибка в том, что никогда не совершал серьезных ошибок. То есть вся моя жизнь — сплошная ошибка. Я жил «внутрь». Говорят: «Сам не живет и другим не дает». Одна часть моего «я» не давала жить другой. Они дрались и мучали друг друга, мои страсти. А кто жил? Разум? Но разум сам по себе жить не может. Он может — быть. Разумной можно сделать и машину. Но от этого она не станет существом. Трагедия человека в том, что он разумен и, тем не менее, существует как существо. А в какой степени я существовал как существо? — В очень незначительной. Ел, спал... Вот, пожалуй и все. Зато необыкновенно много думал. Но ведь это как раз не центр моего «я». Я гораздо более одарен в эмоциональной, а не интеллектуальной сфере. Поэтому отрыв от реальной жизни является для меня трагедией. Я потерял слишком много. Почти все.

135. Примечание к № 63

«...нескромно. Много претензий» (Чехов о Достоевском)

А надо, чтоб все было скромно, тихо, без претензий. Например, у матери сына убили, а она кричит — нетипично. Надо чтобы у нее на глазах ему глаза выдавливали, а она бы чай пила. Никаких «фантастик».

Незадолго до смерти Чехов написал Книппер:

«Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это все равно, что спросить: что такое морковка? Морковка это морковка, и больше ничего не известно».

Неизвестно и хорошо, неизвестно и ладно. Сиди и ешь морковку — в ней витамины. Несчастная Книппер писала:

«Ночью долго не засыпала, плакала, все мрачные мысли лезли в голову. Так, в сутолоке, живешь, и как будто все как следует, и вдруг все с необыкновенной ясностью вырисовывается, вся нелепица жизни. Мне вдруг стало стыдно, что я зовусь твоей женой. Какая я тебе жена? Ты один, тоскуешь, скучаешь... Ну, ты не любишь, когда я говорю на эту тему. А как много мне нужно говорить с тобой! Я не могу жить и все в себе носить. Мне нужно высказаться иногда и глупостей наболтать, чепуху сказать, и все-таки легче. Ты это понимаешь или нет? Ты ведь совсем другой. Ты никогда не скажешь, не намекнешь, что у тебя на душе, а мне иногда так хочется, чтобы ты близко, близко поговорил со мной, как ни с одним человеком не говорил. Я тогда почувствую себя близкой к тебе совсем. Я вот пишу, и мне кажется, ты не понимаешь, о чем я говорю. Правда? То есть находишь ненужным».

Чехов такие письма вполне понимал и как врач посоветовал жене поставить клистир. (Я не шучу.) Аналогичный ответ Антон Павлович написал и сестре:

«Не понимаю, отчего, как ты пишешь, на душе у тебя тоскливо и мрачные мысли. Здоровье у тебя хорошее... дело есть, будущее как у всех порядочных людей — что же волнует тебя? Нужно бы тебе купаться и ложиться попозже, вина совсем не пить или пить только раз в неделю и за ужином не есть мяса. Жаль, что в Ялте такое скверное молоко и тебя нельзя посадить на молочную пищу...»

Подобное издевательство конечно можно объяснить глубоким, проходящим через всю жизнь, пренебрежением к женщине. Но суть гораздо глубже. Разве не такой же глумливый оттенок носит поэтика чеховских произведений? Ведь конец «Чайки» это какое-то жуткое паясничанье:

«Дорн: Ничего. Это, должно быть, в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. *(Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.)* Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. *(Напевает.)* «Я вновь пред тобою стою очарован...» *(перелистывая журнал, Тригорину).* Тут месяца два назад была напечатана одна статья... *(берет Тригорина за талию и отводит к рампе)* ...так как я очень интересуюсь этим вопросом... *(Тоном ниже, вполголоса.)* Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...»

Чехов назвал «Чайку» комедией. Лишь через три поколения протерли глаза: да это не просто комедия, это фарс.

Дело в том, что Чехов несомненно считал себя реалистом. Но так же несомненно он саму реальность считал фарсом. Как таковую. Более того. Сам факт называния «Чайки» комедией тоже был фарсом, издевательством. Глумлением над всем этим реальным миром, над собеседниками, зрителями и, наконец, над самим собой. Реализм, но реализм критический. Реализм как ненависть к реальности. Даже бунт против реальности именно за счет ее утрированной, ненормальной прорисовки на манер Толстого, делавшего это совсем серьезно и так и думавшего. Чехов же не думал, не мог думать. Все на заглушках.

Станиславский:

«Чехов был уверен, что он написал веселую комедию, а на чтении все приняли пьесу как драму и плакали, слушая ее. Это заставило Чехова думать, что пьеса непонятна и провалилась».

Немирович-Данченко:

«Чехов боролся со смущением и несколько раз повторял: я же водевиль писал.» В конце концов мы так и не поняли, почему он называет пьесу водевилем, когда «Три сестры» и в рукописи называлась драмой».

А это и невозможно понять. Чехов и сам себя не понимал, не знал, чего хотел. Ушел с читки пьесы расстроенный и обозленный. Но он очень хорошо чувствовал ситуацию, реальность. Так чувствовал, как это разным станиславским и немировичам и не снилось. Боже мой, как он глумился над этими идиотами, как отводил душу на репетициях.

Артист Леонидов очень огрубленно и очень наивно, совершенно не понимая сути происходящего, доносит до нас перлы чеховского хэппенинга, настоящего, великорусского, от которого малоросс Гоголь на том свете плакал от зависти:

«Чехов любил режиссировать в своих пьесах. Но все его замечания были очень краткие и больше касались мелочей... Когда я допытывался у Чехова, как надо играть Лопахина, он мне ответил: «В желтых ботинках» ...Муратова, игравшая Шарлотту, спрашивает Антона Павловича, можно ли ей надеть зеленый галстук.

— Можно, но не нужно,— отвечает автор. Кто-то спрашивает, как надо сыграть такую-то роль. «Хорошо», — последовал ответ.

Мне сказал...

— Послушайте, Лопахин не кричит. Он богатый, а богатые никогда не кричат».

Станиславский с такой же трогательной непосредственностью вспоминает:

«Если бы кто-нибудь увидел на репетиции Антона Павловича, скромно сидевшего где-то в задних рядах, он бы не поверил, что это был автор пьесы. Как мы ни старались пересадить его к режиссерскому столу, ничего не выходило. А если и усадишь, то он начинал смеяться. Не поймешь, что его смешило: то ли, что он стал режиссером и сидел за важным столом; то ли, что он находил лишним самый режиссерский стол; то ли, что он соображал, как нас обмануть и спрятаться в своей засаде. «Я же все написал,— говорил он тогда,— я же не режиссер, я — доктор».

(Станиславского тут даже жалко. Хотя, что же такое его «система», как не то же издевательство. Михаил Булгаков это очень хорошо показал в «Театральном романе».)

Чехов это русский. Горький, тоже из народа, и даже в косоворотке — так себе, типаж. А Чехов — тип. Это дистиллированный русский, которого надо в расовой палате мер и весов как эталон хранить.

136. Примечание к № 129

[головоногие] это совершенно иная ветвь эволюции

Насколько красота и гармония являются фундаментальным законом природы: из хордовых путем многоступенчатой эволюции получился человек — самое сложное в эволюционном смысле существо. А из червей, тоже путем многоступенчатой эволюции, за сотни миллионов лет получилась бабочка, самое сложнополучившееся существо этой ветви развития жизни. На бабочку природа примерно столько же сил потратила, сколько и на человеке. Столько же было ходов, столько же проб и ошибок. И тоже такая немыслимая концентрация усилий природы дала нечто удивительно гармоничное, легкое. Красивое.

137. Примечание к № 127

Пушкин и Гоголь это как солнце и луна

Все же луна самостоятельное небесное тело, хотя и светит отраженным светом. Величие Гоголя в том, что он (единственный) краешком выходил за мир Пушкина. Из этого «чуть-чуть» и возникло все, использовав Пушкина как материал, инструмент.

Конечно, влияние Пушкина на Гоголя огромно. Ведь известно, что на сюжеты «Мертвых душ» и «Ревизора» обратил внимание Гоголя именно Александр Сергеевич. И следовательно, в самом Пушкине содержалось гоголевское начало. Начало это — в ироничности пушкинской мысли. В «Евгении Онегине» легкая порхающая ирония, постоянное игривое отстранение от сюжета. Сложная форма заимствована у Байрона. Но ведь для русских «Евгений Онегин» это начало литературы. И русская литература началась с иронии, полупародии. Сколько иронии в как будто простой и наивной «Капитанской дочке». Сейчас это уже и не заметно, все забило Гоголем, вкус огрубился или, скажем так, ужесточился. Но затравка Гоголя — в Пушкине. Ирония на пустом месте, ирония как реминисценция западной, чужой, по мере развития все более чужой, все более чуждой (начинало хватать своего) культуры. Современники не видели трещины, не могли видеть. Время было эпическое. Такая тоска, такая тяга к эпосу, что и «Мертвые души» сочли «Илиадой». Свято место пусто не бывает. И пародийную веточку ДНК, вплетенную в русскую идею Пушкиным, Гоголь реализовал с лихвой.

Пушкин — ироничен, насмешлив. Но при отсутствии самоанализа, то есть это — стилизация. Уже ироничный материал взял Гоголь и возвел своим гением в квадрат. Легкая, ненавязчивая ироничность Пушкина перешла в серьезно сосредоточенную, упрямохохляцкую пародию Гоголя. В результате русская литература началась со зверского, бессмысленного хохота.

Пушкин — здоров, соразмерен. Но именно в этом здоровье и соразмерности нарушение меры. Он слишком ясен и завершен. Вполне овладев европейской культурой, будучи ею искушенным, он начал с конца, дал отечественной культуре слишком законченный и высокий образец. Развитие могло идти только за счет недопонимания и разрушения. Гоголь и выполнил функции нейтрализатора, расколол монолит на удобоваримые блоки. Именно с Гоголя начинается возникновение и развитие идеи порождения мира, идеи «строительства». Автор уподобляется Богу, творчество — творению, порождению мира, творение-произведение — миро-

данию. Пушкин избежал этого, так как гений его был гением спокойным, подражательным. Менее всего Пушкин был романтииом. В определенный период он импровизировал романтизм, старался попасть в его уже созданный на Западе ритм. Проблемы порождения просто не возникало. В жизни Пушкина вообще не было и не могло быть «проблем», так как в нем и во всей его эпохе еще отсутствовало самосознание. То, что можно принять за самосознание — это свободный и радостный стиль, подражание Западу при его непонимании. Это как гениальный актер, играющий Сократа, и сам Сократ. Такое соотношение.

Гоголь — уже порождение. Не самосознание, а сон сознания, тот сон разума, который порождвет чудовищ. Объем мира Гоголя в некоторых измерениях намного шире пушкинского. Пушкин дал сюжет для «Ревизора», но Гоголь не просто использовал его, но и изобразил в Хлестакове самого Пушкина. Ведь Хлестаков это карикатура на Пушкина, попавшего в сходную ситуацию и подарившего сюжет Тряпичкину-Гоголю. Не даром Хлестаков говорит, что он с Пушкиным на короткой ноге.

Пушкин превращается в персонаж гоголевского кошмарного сна. Полубессознательно Гоголь это сделал, а сделав — охватил Пушкина, поместил его в иной мир.

Без Пушкина и Лермонтов, и Тургенев, и Достоевский, и Толстой не осуществились бы, выразились бы совсем иначе. А Гоголь и без Пушкина все же остался бы Гоголем, может быть, в ослабленном виде, без Хлестакова, но Гоголем.

143. Примечание к № 63

Чехов и умер удивительно вовремя

С каждым годом он чувствовал, что живет все более и более «невовремя». Один из героев его пьес кричит:

> «Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел... Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский... Я зарапортовался! Я с ума схожу... Матушка, я в отчаянии! Матушка!»

Конечно, Войницкий имеет мало общего с Чвховым. Но вот Тригорин, персонаж явно автобиографический:

> «Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? «Что пописываете? Чем нас подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это енимание знакомых, похвалы, восхищение — все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и поведут, как Поприщина, в сумасшедший дом... я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, зтравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, квк мужик, опаздывающий на поезд».

Чехов — это ключ к 1905—1917 гг., к 12-летию, так же далекому от нас, как и от доперворεволюционной России. Это замкнутые 12 лет. Так же, как 12 лет III Рейха. Особая культура. Чехов ей был совершенно не нужен. Так же ненужен, как и последующему 70-летию. Собственно Чехов, а не «Чехов». Представить его живущим в 1907-м так же невозможно, как и в 1927-м.

146. Примечание к № 129

(Восток) это просто отсутствие разума

Русские обгоняют на поворотах и их ум по крайней мере сопоставим с европейским и еврейским (100+70). Остальное — это, как говорится, и смех и грех. Даже японцы, наиболее передовая нация Востока... Почему, например, у них такая культура сосредоточения, такое внимание концентрации рассудка? Не является ли это следствием постоянной рассыпанной рассеянности, неспособности к логически упорядоченному мышлению? (Рассеянность японцев превратилась в легенду). Или преклонение перед электроникой (украденной с Запада). По-моему, это тяга к компенсации мучительного недостатиа, стремление переложить на механизмы непосильный труд рассудочной деятельности.

Если посмотреть на лоб японца, то да, это воин, шпион, артист, наконец, торговец, купец, но ни в коем случае не мыслитель. Эта скошенная назвд хищная линия черепа, сжатость с боков.. И все обучение в Японии построено на мести и упорстве. Все наизусть. Томами, томами. Учение — тяжелейший труд. Для европейца учеба, особенно ее верхний уровень — университет — самое веселое и легкое время жизни. Учиться просто нравится. Даже в эпоху средневековья, при неимоверном понижении науки и философии, чем занимались в монастырях потомки диких германцев? — Да самым легким и понятным для себя делом, для которого особенных усилий не требуется — строгим мышлением о мышлении, то есть логикой. Уже в XIII—XIV веках лингвистический, семантический и логический анализ настолько разработан, что и сейчас требует от читателя специальной подготовки. Оккам разработал теорию интенциональности, проблему различия между грамматической и логической формой или, например, вопрос о соотношении между «событием» и «атомарным предложением». То есть Оккам предвосхитил достижения неопозитивизма Рассела и Витгенштейна. Но неопозитивизм это вторичное абстрагирование от содержания, неизбежный признак старой, перенасыщенной культуры. У схоластов же ничего не было. Все книги были просто сожжены. А думать-то хотелось. Но было нечего думать. И думали о думании. Бессодержательно, но формально усложнено до неимоверной степени. И не просто «понаверчено-понакручено» там. Нет, всё лобастыми варварами блестяще продумано и согласовано. Просто красивое, стройное тело — и хочется танцевать. Конечно, кривоногому горбуну этого не понять. Зачем? Так же европейцу не понятны огромные индийские храмы, выбитые вручную внутри прочнейших скал, Занем, сотни лет тратить на этот тупой, непроизводительный труд — можно же легче в 1000 раз сделать! А вот восточному человеку интересно. Ему и на конвейере интересно работать.

Западные студенты не учатся, а просто «выгуливаются на лужке». А японцы слишком уж тянутся, слишком уж стараются быть похожими. Но так все им неудобно, тяжело. Азия это весеннее безумие. Лень, пустота. Тревожная злоба на душе — но почему, почему ни черта не получается? Мысли тупеют, путаются. Летом начинается медленное развитие, кульминация приходится на осень, зимой мышление идет по инерции, и в черновой работе это может быть наиболее продуктивная часть года. Самое начало весны это часто зарождение новых замыслов — последняя вспышка перегорающей лампочки, «излет». А потом, от конца марта до конца мая — провал. (Почему еще Пушкин умен — как он русскую осень любил!) А японец это постоянное апрельское состояние при неимоверной трудолюбивой злобе. Я именно так себе эту напряженную, ненормальную культуру представляю.

148. Примечание к № 135

Подобное издевательство конечно можно объяснить глубоким, проходящим через всю жизнь пренебрежением к женщине.

Постоянные шутки Чехова:

> «Познакомился я с женщиной-врачом Тарнавской, женой известного профессора. Это толстый, ожиревший комок мяса. Если ее раздеть голой и выкрасить в зеленую ираску, то получится болотная лягушка». (1888 г.)

> «Мадам приняла меня очень любезно, поиграла мне лицом. У нее на лице не хватает кожи, и поэтому чтобы открыть глаза, нужно закрыть рот, и чтобы открыть рот, надо закрыть глаза». (1899 г.)

> «Мадам Гнедич дама жадная, глотающая, как акула, похожая на содержательницу веселого дома, но у нее есть и хорошие качества; так, она прекрасно переносит морскую качку». (1904 г.)

А вот из дневниковых записей:

> «Барышня, похожая на рыбу хвостом вверх; рот, как дупло, хочется положить туда копейку».

Вот из художественного произведения. Ядовитейший оборот. По поводу персонажа «Дамы с собачкой»:

> «Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая».

Какой «тихий ход»!

А. И. Сумбатов-Южин вспоминал:

> «Чехов вообще был очень кроткий, мягкий человек, боялся обидеть и нежно-нежно относился к чужой душе...»

151. Примечание к № 135

«Твк и есть. Лопнулв склянкв с эфиром». (А. Чехов).

Еще раз повторяю, в смерти Чехова какая-то бравурная пошлость:

> «Спасибо немцам, они научили меня, как надо есть и что есть. Ведь у меня ежедневно с 20 лет расстройство кишечника! Ах немцы! Как они пунктуальны! Нигде нет такого хорошего хлеба, как у немцев; и кормят они необыкновенно. Я, больной, в Москве питался сухими сухариками из домашнего хлеба, так как во всей Москве нет порядочного, здорового хлеба».

Или:

> «Мой совет: лечитесь у немцев! В России вздор, а не медицина, одно только вздорное словотолчение... Меня мучили 20 лет!!»

Книппер писала в дневнике уже после смерти Чехова:

> «Как тебе нравились благоустроенные, чистые деревеньки, садики с обязательной грядкой белых лилий, кустами роз, огородиком! С какой болью ты говорил: «Дуся, когда же наши мужики будут жить в таких домиках!»

Сам Чехов писал:

> «Баденвейлер очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе».

В том, что там умер Чехов.

Чехову стало плохо. Он сказал: «Ихь штербе». Потом по-русски: «Давно я не пил шампанского». Выпил бокал, отвернулсв к стенке и умер. Книппер сидела в комнате одна и молчала. Мохнатая набоковская бабочка залетела в окно из XX века. Вдруг в потолок выстрелила пробка из недопитой бутылки.

Дорн беспокоился: «Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну». Роль Ирины Николаевны играла Книппер.

Чехов или ничего не понимал в жизни, или понимал все. Возможно эта проблема не имеет смысла — просто Чехов русский и соответствовал своему русскому миру. Был ему микрокосмичен.

157. Примечание к № 146

неопозитивизм это вторичное вбстрагирование от содержания, неизбежный признак старой, перенвсыщенной культуры

Позитивизм это маленькая игрушечная философия. Ширпотреб. Философский конструктор. «Сделай сам». И дешево и, вроде бы, делом занимаешься. Неопозитивистский миф груб, но из-за своей замаскированности под науку имеет интереснейшее свойство — он развивается. В основе, ироме обычных постулатов (земля плоская и на трех китах, земля круглая и вращается вокруг солнца и т. д.), есть дополнительный постулат-бесенок: мы ничего не знаем и ничего не принимаем на веру. С одной стороны, это замкнутая мифологическая система, причем мифологизм ее максимально примитивен, так что она не способна выскочить из трех измерений и проникнуть в мир иных мифов. С другой стороны, это «наука», то есть открытая (потенциально) система, способная к расширению и развитию. В результате подобного расширения происходит крах, то есть позитивист доходит до азов отрицаемой им религии и философии. Очарование в трудоемкости этого процесса. На Западе

научились выпускать сложнейшие и головоломнейшие игрушки. И какому-нибудь высоколобому мальчишке, вроде Витгенштейна, надо потратить 50 лет, чтобы разобраться во всех ошибках и заблуждениях сборного лабиринта. В результате «жизнь прожита не зря». Общество потребления, максимально изощрившись в создании разнообразнейших игрушек, спродуцировало и интеллектуальную игру «Неопозитивизм». Целый класс игр. С началом, развитием, кульминацией и развязкой. И может быть эти игры спасли жизнь тысячам людей.

159. Примечание к № 123
Евреи гениальные провокаторы-практики, но в теории, в мире идей удивительно неспособны к какой-либо нечестности, неправде, юродству.

Русское предательство — теоретично. Отсюда интересное следствие. В предательстве по-еврейски есть определенная логика. В русском же варианте сама логика является предательством. Если русский логичен, он предает.

Биография крупного политического деятеля Василия Витальевича Шульгина: помещик из глубинки, внезапно ставший одним из лидеров Государственной Думы; националист, защищающий Бейлиса; монархист, принимающий отречение от престола у своего монарха. После отречения Шульгин сплюнул: «Отрекся от царства как роту сдал». Но Николай II через год мученически погиб за Родину, а Шульгин прожил еще 60 лет. И каких 60 лет! В 20-х этот ярый противник советской власти поехал нелегально в Советский Союз и после этой поездки, благосклонно выпущенный ГПУ обратно за границу, написал книгу об «успехах коммунистического режима» (которые ГПУ ему и были показаны). Характерно, что в СССР этот «обличитель еврейского засилья» жил по фальшивому паспорту, выписанному на имя еврея, а по улицам ходил в гриме «старого раввина». Впоследствии Шульгин был арестован советскими войсками в Югославии, сидел в тюрьме, но благополучно вышел и успел еще воспеть при Хрущеве кукурузу.

Если окинуть мысленным взором всю эту столетнюю жизнь, она поразит нас полным отсутствием логики. Это театр абсурда. Беда в том, что Шульгин был слишком логичен. Я читал его книги. Это крайний рационализм. Более того. Русскому рационалисту биография Шульгина кажется романтичной, возвышенной. Для определенной части современных русских Шульгин это кумир, почти объект поклонения.

В интеллектуальном отношении русские слабанькие. Слабачки. Все уступают. Им «доказывают». Вот, борода у тебя. Сбрей. Так. А волосы надо щипцами завить. Нет, что-то не то... Одень юбку. Вот, уже лучше. Теперь сережки, бусы. Накрась губы, подведи глаза. И чего ты руками размахиваешь? Иди медленно, плавно, как лебедь белая. Бедрами покачивая.

Петр I брил бороды, а это по русским обычаям признак противоестественного порока. Это было так же стыдно и глупо, как если бы сейчас всем приказали носить на шотландский манер юбки. Но все разумно. «Докажут».

Зато когда русский набычился, опомнился от рационального беспамятства, то все — ему хоть кол на голове теши.

Не так уж и много я прожил, но прожил уже три жизни совсем разных. Совсем. Но внутри одно. Из-за полного отсутствия логики. Исключительное уважение к себе при полном неуважении и издевательстве над логикой, над реальностью. А мне плевать. Я сейчас оглядываюсь назад, вниз, и голова кружится. Дурачок, куда я лез? Вверх по вертикальной стене, ломая ногти. Совершенно безнадежно. Все уже было закуплено, решено и подписано. А я лез, лез. Если бы знал, никогда бы ничего подобного не произошло. Мне бы «доказали», «поставили на место». А я плевал. И что такое сам факт написания этой книги? Куда это? Зачем? Какой заряд воли, потраченный на совершенно бессмысленное и противоестественное изменение пространства. Ну, взял, построил садовый домик из миллиарда вишневых косточек. Бред. У меня в голове сидит какое-то Политбюро: «Вы даете нереальные планы».

Чехов писал о пробитом сквозь сахалинские скалы туннеле:

«Рыли его, не посоветовавшись с инженером, без затей, и в результате вышло темно, криво и грязно. Сооружение это стоило очень дорого, но оно оказалось ненужным... На этом туннеле превосходно сказалась склонность русского человека тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности».

Но сам Чехов, умирающий, так же, «по-сахалински», написал на наркотике (героин) «Вишневый сад». Зачем?

160. Примечание к № 134
Ошибка в том, что я никогда не совершал серьезных ошибок.

Я оказался слишком прав. Я такой умный, хитрый — всех перехитрил. «И от бабушки ушел и от дедушки ушел». А молодость прошла. И оказался колобок одиноким. Колобок — ноль. В чем я никак не могу понять Розанова, так это в том, что он никогда не был эгоистом. Это при его-то уме! И всю жизнь совершал смешные ошибки. Брак с Сусловой и т. д. И в результате жизнь его удалась. Почти. Мне же жизнь явно не удается.

161. Примечание к № 123
русский литературовед почти всегда идиот

Любопытен генезис этого слова вообще, и в русском языке, в частности. Буквально «идиот» по-гречески означает «одиночка», «обособленный». Но греки называли идиотами грубых, невоспитанных людей (хамов). Постепенно смысл несколько изменился и идиотами стали называть дураков (идиотия — максимальная степень слабоумия).

Не знаю, как в других языках, но в русском слово «идиот» очень уроднилось, стало неотъемлемой принадлежностью бытовой лексики. «Кретин» или «дебил» тоже нравятся, но все же являются чуточку иностранными, чужеродными. А «идиот» это уже родное. И тут интересен дрейф смысла. Во-первых, появилось производное «идиотик», то есть простодушный дурачок, вызывающий не симпатию, а пренебрежение. «Идиот» Достоевского — фиксация и возвышение этого оттенка: с одной стороны, простак, симплициссимус, и тут же — действительно больной. И — очень естественный переход для русских — святой. А святой — значит учитель, немой урок-укор миру. Однако слово вошло в корневую систему языка другим концом: «идиот» в смысле «тот, кто идиотничает». А идиотничать по-русски это значит издеваться. Издеваться не вообще — это лишь некоторая разновидность издевательства, а именно издевательство за счет нарочитой и наглой глупости.

Пожалуй, в русских условиях идиотическое существование в первичном смысле этого слова только и возможно в виде идиотизма в смысле последнем. Чем дальше я разматываю нить своей жизни, тем больше и больше убеждаюсь в этом.

Или быть святым. Но это ведь для совсем избранных.

167. Примечание к № 134
спал... Вот, пожалуй, и все.

Правда, Кьеркегор писал: «Юность — сон. Любовь — сновидение». Однако дело в том, что я спал слишком крепко. И не видел снов.

174. Примечание к № 119
весь XIX век... сон с неизбежным кровавым пробуждением

После кровавой развязки, поскольку Россия сохранилась, она стоит перед той же дилеммой: снова развитие духовной культуры и срыв, или развитие культуры чисто прикладной, наподобие современной Японии с ее технической цивилизацией и крайне слабым развитием духовной жизни.

Интересно, что непосредственно после 17-го года развитие шло одновременно по двум путям. Сверхматериальное развитие России сопровождалось чисто идеальным развитием России № 2 — эмиграции. Это разъезжание продолжается и указывает на некоторые черты будущего русского народа и русской культуры. Несомненно, в ближайшее время (до конца XX века) за рубежом будет создана новая русская эмиграция, концентрирующая в себе культуру дореволюционной России и эмиграции 20—30-х годов. Возникнет альтернативная Россия. Новая эмиграция может развиваться по двум направлениям. Либо окончательный разрыв с метрополией и достижение особой формы негосударственного существования, использующего опыт еврейской диаспоры и возможности современного индустриального общества. Либо второй путь — ориентация на Россию и выполнение функции «носителя», замкнутой и статичной среды для последующего впрыскивания русского логоса в чисто материальную Россию (то есть в грубом приближении «путь Тайваня»).

Соответственно развитие русской метрополии в XXI веке может идти в двух направлениях. Либо чисто «японский» путь, путь индустриального роста и повышения материального благосостояния, включая сопутствующую духовную культуру (носящую вспомогательный, обслуживающий характер). Либо второй вариант — создание утонченной кастовой культуры, принципиально не имеющей творческого характера. Культуры, способной создавать некие вторичные произведения, вроде «ковров» цитат, характерных для эпохи эллинизма. Тогда считалось особо утонченным брать строфы, например, из «Илиады» и создавать из них другие произведения. Цитирование достигло колоссальных размеров и речь образованного человека состояла, собственно говоря, из изощренного монтажа отдельных цитат. По сути, последнее — это развитие мифа Пушкина и развитие чеховского миропонимания, его бессмысленной стилизации.

В любом случае важно приложить все усилия, чтобы снова не включилась «гоголевская программа». Новая свобода творчестве, не сдерживаемая определенной целью, приведет к новым катастрофам.

176. Примечание к № 137
Сложная форма поэмы заимствована у Байрона.

Эта форма необычайно подходила Пушкину. Байроновское сатирическое отстранение помогало Пушкину овладеть чужой темой, адаптироваться к ней, органично включить в свое «я» чужеродное начало. Отсюда уже несерьезность русской литературы, ее «недобротность». И ведь все наследие Пушкина, все сюжеты его заимствованы. Таким образом, персонажность, опереточность уже была заложена в русской литературе.

Ошибка Гоголя и в том, что он воспринял все слишком серьезно, превратил русскую литературу в нечто исключительно серьезное. Был упущен «игровой момент». Гоголь не столько научил, сколько разучил русских смеяться. Необычайно сузил спектр смешного. «И так бывает» превратилось в «бывает только так». Пушкинское «русский может обернуться и Байроном», превратилось в «русский это Байрон». Но почему же, откуда? Каковы причины? Одинокий страдалец-то отчего? Не из-за того же, что в Англии XIX века развитие личностного начала дошло до степени анархического индивидуализма. И тут пошли в ход «поколения», «судьбы России». Лермонтов воспринял Пушкина через призму только-только зарождающейся «гоголевской школы»:

Нет, и не Байрон, и другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Какой же Пушкин был «гонимый миром странник»? — Это форма. У Лермонтова — содержание. Почему «гонение», из-за чего? Уже дается «базис»:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно...
Меж тем под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно.

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный
путь без цели,
Как пир на празднике чужом.

Действительно, англичанин того времени, наследник богатейшей западноевропейской культуры и истории, истории, в которой «Октябрьская революция» была почитай лет 200 назад (Кромвель), такой наследник мог считать себя богатым ошибками и поздним умом старших поколений. Но русские-то чем богаты тогда были? Чужими ошибками и чужим умом? Но этим, как известно, не разбогатеешь. История полна примерами, в том числе и история отечественная. В том числе и история XIX века. Но стиль надо оправдать. Поэтому уже «люблю отчизну я, но странною любовью» «под говор пьяных мужичков». Вот и весь мир плох. Произошло заигрывание. Счетчик уже включен и рано или поздно конец лермонтовской «Думы» сбудется:

И прах наш, с строгостью судьи
и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным
стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Это очень важный момент. Принципиальный. Что же было упущено в Пушкине? — Несерьезность, игра. Отсюда монументальная пошлость последующего развития пушкинской темы в русской культуре.

177. Примечание к № 174
развитие чеховского миропонимания, его бессмысленной стилизации

В рассказе Чехова «Гусев» умирает на парохода солдат. Смерть его бессмысленна, нелепа. Жил, жил человек. Потом умер. Его в тряпку завернули и в воду выбросили. И все же Чехов зачем-то продолжает говорить. Взгляд испуганно шарит по реальности, пытается найти смысл, слово произошедшему. И находит его в самой инерции взгляда, филологической инерции повествования, начинающей эстетизировать увиденное. Эстетизировать совершенно бессмысленно, невольно. Это безумная, животная стилизация:

> «Вахтенный поднимает конец доски, Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом перевертывается в воздухе и — бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение — и он исчезает в волнах».

В волнах русского языка. Теперь его образ будет обрастать бахромой ассоциаций, растворяться, распадаться в безумном эстетизме:

> «Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь-десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уже несется в сторону быстрее, чем вниз.
> Но вот встречает он на пути стаю рыбок...»

(Далее абзац обыгрывания «рыбок».)

> «После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигрывая телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну».

Все, Гусева нет. Его образ распался на разрывающуюся парусину, тонущий колосник, ленивую акулу и испуганных лоцманов. Канул в языке без следа.

> «А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы...»

Это безумная заглушечность русского языка, от которой, в сущности, и погиб Чехов.

178. Примечание к № 177
«Пройдя сажен восемь-десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уже несется в сторону быстрее, чем вниз» (А. Чехов)

Эта сцена развита Набоковым в «Лолите», в сцене филологического убийства и убийства филологией, в сцене пародийной и отвратительной, типично русской «литературной дуэли» между Гумбертом и Куильти. Гумберт настиг похитителя Лолиты, но никак не может его убить из-за зарослей языка, в которых его «я» путается и растворяется. Мысли начинают разбегаться, а выстреленная пуля мгновенно обрастает плесенью ассоциаций и бессильно падает на пол.

Лишь иностранцу может показаться, что декадентская ирреальность убийства является следствием ненормальности жертвы, напичканной наркотиками, и ненормальности убийцы — пьяного маньяка. На самом деле с русской точки зрения все обстоит вполне естественно, так как Гумберт начинает убийство с зачитывания собственных стихов и приговора (письма), то есть вступает со своей жертвой в диалог. Он говорит:

> «Куильти, попробуйте сосредоточиться. Через минуту вы умрете. Загробная жизнь может оказаться, как знать, вечным состоянием мучительнейшего безумия. Вы выкурили вашу последнюю папиросу вчера. Сосредоточьтесь. Постарайтесь понять, что с вами происходит».

(Кстати, тема «постарайтесь понять» присутствует также в «Приглашении на казнь», где палач Пьер расписывает перед своей жертвой прелести земного существования, дабы она смогла убедиться в огромности предстоящей ей потери и следовательно в важности и значительности стоящего перед ней лица.)

Но Гумберт нарывается на европейца. А для европейца диалог с собственным убийцей абсурден. Так что «начинает» Гумберт, а Куильти лишь подхватывает. В ответ на реплику Гумберта он начинает жевать папиросы, а потом выступает с пьяными бессмысленно-хитрыми предложениями. Трезвый мир начинает переворачиваться, трезвый миф оказывается неверным:

> «Я сделал новое ужасное усилие, и с нелепо слабым и каким-то детским звуком, пистолет выстрелил. Пуля вошла в толстый розоватый ковер: я обомлел, вообразив почему-то, что она только скатилась туда и может выскочить обратно... Пора, пора было уничтожать его, но я хотел, чтобы он предварительно понял, почему подвергается уничтожению».

Русская идея. Но безоружный Куильти не так глуп и делает страшное для русского предложение:

> «Вам бы следовало быть осторожнее. Дайте-ка мне эту вещь (пистолет. — О.)».

Сильнейшее искушение. Эта дикая для европейца просьба для русского вполне естественна, так как убиваемый это собеседник. Хотя Гумберт и отпихнул Куильти, но...

> «Я заразился его состоянием. Оружие в моей руке казалось вялым и неуклюжим».

Куильти перехватывает инициативу и бросается на убийцу. Револьвер летит под комод. Европеец предлагает еще более хитрую и коварную ловушку:

> «Дорогой сэр, перестаньте жонглировать жизнью и смертью. Я драматург... Дайте мне взяться за это. В другой комнате есть, кажется, кочерга, позвольте мне ее принести, и с ее помощью мы добудем ваше имущество».

Усилием воли Гумберт отбрасывает заманчивое предложение, и поединок продолжается. Потом убийца зачитывает жертве стихи и приговор, а жертва их филологически комментирует в тоне «ну-ну, неплохо». Вообще там много разных выходов еще, но постепенно Гумберт овладевает положением, европеизируется (отметая наивное предложение жертвы «сходить принести очки»), а определенный художественно оформленным приговором Куильти сморщивается и под конец прибегает к позорной русской заглушке. В него стреляют, и он, тяжело раненный, бросается к роялю:

> «Он взял несколько уродливо-сильных, в сущности истерических, громовых аккордов (я думаю, что-то вроде «Апассионаты».— О.): его брыла вздрагивали, его растопыренные руки напряженно ухали... Следующая моя пуля угодила ему в бок, и он стал подниматься с табурета все выше и выше...»

Куильти побежал в спальню и, изрешеченный пулями, полез в постель. Тема: «Уже поздно, ничего не знаю, я хочу спать». А Гумберт в него стрелял сквозь одеяла, «определял».

И все-таки окровавленный Куильти под конец выполз в коридор «на героине»: де никаких туберкулезов не знаю.

Окончание следует



СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ И НАРОДЕ

РАЗРУШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ — НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Преобразование общества, которое нам предлагается, действительно носит революционный характер. Переход к экономике, основанной на рынке рабочей силы, никак не является эволюционным изменением, «совершенствованием» производственных отношений. И это вовсе не то же самое, что рынок товаров, который вполне допустим в социалистическом обществе. Преобладание в производственных отношениях продажи рабочей силы как товара означает качественное преобразование всего общества, принципиальный отказ от идеала «от каждого по способностям, каждому по труду». Это, кстати, означает и принципиальный отказ от более ранней, религиозной догмы: «каждый да ест хлеб свой в поте лица своего».

Рынок рабочей силы отрицает и ту, и другую догму. Далеко не каждому удастся продать на этом рынке свой «товар» — ни на одном рынке на это не может претендовать никакой продавец. Количество отвергнутой рынком рабочей силы бывает разным в разных странах и в разное время, но всегда оно внушительно. В Испании без работы остается 17 — 20 процентов трудоспособного населения, в КНР при переходе к рыночной экономике на улице оказалось около 150 млн. человек (в некоторых провинциях — до 40 процентов рабочей силы), в Югославии «планируется» безработица в размере 20 процентов. В Венгрии уже на первом этапе перехода к рыночной экономике на улице оказалось 10 процентов рабочей силы. У нас эти планы гласности не подлежат (а может, и планов-то нет, авось обойдется).

Предлагаемое изменение является по своей природе гораздо более глубоким, чем Октябрьская революция, хотя оно и сопровождается успокаивающими лозунгами. Пряча голову в песок, не желая отдать себе отчет в глубине преобразований, мы служим плохую службу и себе, и нашим потомкам. Во-первых, мы рискуем сделать безответственный выбор, не сопоставив того, что мы теряем, с тем, что, быть может, приобретем. Во-вторых, мы лишаем себя возможности заранее создать механизмы, которые сделали бы преобразования менее разрушительными. Такие механизмы, если уж мы решимся на преобразования, создать можно. Но сначала надо сделать все возможное, чтобы выбор делался нами сознательно, а не под влиянием волшебной дудочки, которой нас заманивают в пучину. Если мы согласны туда войти, давайте подготовим хоть какие-нибудь плавсредства.

Что означает сейчас переход к рынку труда и почему это более глубокое изменение, чем наша революция 1917 г.? Та революция не изменила тип нашего общества с точки зрения места человека в человечестве. Революция произошла в обществе, где господствовало мышление и культура, свойственные аграрной цивилизации. Быстрое развитие капитализма в России в начале века еще не изменило этих структур. Это было так называемое традиционное общество, в котором человек чувствовал себя включенным в более или менее крупные коллективы, действующие по принципу «один за всех и все за одного». Большая семья, деревенская община, хозяйский двор, церковный приход, подпольная организация или шайка разбойников — везде человек ощущал себя частицей группы, объединенной отношениями солидарности и взаимной ответственности. Быть может, этим коллективизмом объясняется и сила революционного движения русских рабочих, которые не были еще проникнуты индустриальным мироощущением. Лев Толстой в гораздо большей степени, чем Маркс, был «зеркалом русской революции». Но вся идеология Толстого утверждала солидарность как альтернативу рынка.[1]

После революции и последующего периода ломки и разрушения многих отживших структур и отношений и многих ценностей восстановился, хотя и с существенными модификациями, основной тип традиционного общества. Многие культурные ценности и традиции приобрели социалистическую окраску или хотя бы фразеологию, такую же окраску приобрел и сильно иерархизированный, почти монархический режим. Как и в любом традиционном обществе, власть снова стала получать свое обоснование сверху, а не снизу. Но самое главное для нашей темы то, что индустриализация в СССР происходила «ненормально» — в рамках традиционного общества и не через свободное предпринимательство, а по плану, спускаемому «сверху». И такая индустриализация долго сосуществовала с мироощущением и мировоззрением, свойственным традиционному обществу, в котором человек видел себя включенным в соединенные тем или иным видом солидарности коллективы.

Совершенно иной характер носила промышленная революция в странах Запада. Здесь она с самого начала сопровождалась разрушением традиционного общества и ломкой лежащей в его основе культуры, включая философские основания. Кардинально изменились даже такие основные понятия, как понятие пространства и времени (в аграрной цивилизации время циклично, «стрела времени» и понятие прогресса возникает лишь в индустриальном обществе). Ядро культуры нового общества составила наука, в которой в то время господствовала механистическая картина мира, управляемого ньютоновскими законами и хорошо описываемого математическими уравнениями. Человек был вырван из этого мира и противостоял ему, видя в природе лишь объект изучения и эксплуатации. Но самое важное для нас здесь то, что представления о материи, построенной из атомов, было развито философами и приложено к человечеству (все идеологии базируются на том или ином видении природного мира). Человечество предстало составленным из индивидуумов — атомов. Это и стало основой представлений об обществе и человеке в индустриальной цивилизации, послужило культурным оружием для разрушения традиций, которые в аграрном обществе защищали старые структуры. Система свободного предпринимательства базировалась на «атомах», которые свободно передвигались и свободно вступали в коммерческие отношения друг с другом. Чтобы сделать людей такими атомами, их надо было вырвать из коллективных структур и снабдить их психологией, отрицающей эти структуры. Стала невыносимой патриархальная семья, смешными и дикими показались церковные ритуалы, крестьянский быт с его суевериями и привычками. Взамен этого на вершину шкалы ценностей был поднят принцип индивидуальной свободы, на базе которого затем была развита целая система прав человека и современное понятие демократии. В его основе опять-таки лежит представление о человеке как атоме, что выражается в принципе «один человек — один голос».

Категории свободы, прав человека и демократии в их современном понимании — продукт промышленной революции, продукт сравнительно недавнего этапа культурного развития ряда европейских стран. Утверждения о том, что это якобы извечные ценности европейца, что будто бы есть народы, чуть ли не биологически предрасположенные к «рабской психологии» (как, например, русский народ) — плод утопического, внеисторического мышления. Европеец Средневековья не мыслил этими категориями, для него важнее были понятия вера, честь, справедливость, верность. Так же бессмысленно, по-моему, спорить с этими утверждениями, доказывая, что русские всегда были свободолюбивы. Речь идет о разных вещах. Свободолюбие Спартака или Степана Разина — это филогенетическое, биологически предписанное свойство человека. Совсем иную природу имеет свобода, провозглашенная буржуазной революцией. Это свобода частного предпринимательства, для обеспечения которой нужен целый ряд вторичных свобод. Эта свобода, кстати, во многом даже противоречила «свободе Разина», о чем говорит история рабства в США и колониальная политика XIX в.

Легко ли пережили европейцы эту культурную ломку? Нет, это был исключительно тяжелый процесс, и вызванный им душевный надлом во многом определяет современный кризис промышленной цивилизации. Склонность этой цивилизации к саморазрушанию (самоубийству человечества как вида) вызвана во многом тем, что человек в новой культуре оказался вырванным из картины мира и противопоставленным природе.

Это разрушение традиционных, естественных связей между людьми сопровождало «атомизацию» человечества, ставшую второй важной причиной кризиса. И об этом пишет К. Лоренц: «Стремление быть частью группы столь сильно, что юноши, не нашедшие для себя коллекти-

---

[1] Недавно был сделан любопытный анализ. Известно, что свои идеалы человеческих отношений писатели переносят на изображение животных. У Толстого животные — лошади, собаки — бескорыстно преданы человеку как другу и другим животным-друзьям, готовы на самопожертвование и тяжело переживают измену. В это же время о животных много писал Сетон-Томпсон. Но у него животное — типичный образ энергичного американца, self-made man, который вступает во взаимовыгодные отношения с человеком не из солидарности, а как компаньон.

КАРА-МУРЗА Сергей Георгиевич родился в 1939 году. Окончил химический факультет МГУ в 1961 году. Доктор химических наук, профессор. Автор книг «Проблемы организации научных исследований» (1981), «Проблемы интенсификации науки: технология научных исследований» (1989). Живет в Москве.

ва, ищут его суррогат. Так возникают сообщества, удовлетворяющие определенные инстинктивные потребности. Эти сообщества должны быть отличными от культуры отцовского поколения, даже предпочтительно быть противоположными этой культуре и такими, чтобы за них нужно было бороться... Аристид Эссер, молодежный психолог, изучавший молодежную преступность и токсикоманию в Восточных штатах США, сделал ужасный вывод, что юноши из хороших семей становятся наркоманами не из-за скуки и не из стремления испытать новые ощущения, как думают многие, а из потребности принадлежать к особой группе, имеющей общие интересы. Потрясающим доказательством группового инстинкта является тот факт, что эти несчастные юноши предпочитают скорее присоединиться к самым отверженным, чем оставаться одним».

Современные исследования тех последствий, которые вызывает стресс, сопровождающий индустриализацию и урбанизацию в развивающихся странах, показывают, что разрушение традиционных связей и образа жизни переносятся тяжело и сейчас. Результатом являются алкоголизм и глубокие физиологические расстройства (приводящие, в частности, к таким болезням, как диабет). В Европе этот процесс был в значительной степени смягчен тем, что был сильно растянут во времени — в Англии вытеснение крестьян в город («огораживание») с экспроприацией земель продолжалось в течение 300 лет.

Верно ли утверждение наших нынешних «либералов» о том, что европейский тип промышленной революции, через атомизацию человеческого общества и разрушение традиций — единственно возможный, как бы Богом данный тип цивилизации, что «иного не дано»? Совершенно неверно. О своем опыте говорить пока не будем, нам отказано в цивилизованности. Посмотрим траекторию весьма развитой страны — Японии. Ее индустриализация кардинально отличалась и отличается от европейской. Здесь не разрушались традиции и человек не вырывался из привычных структур. Самураи и ремесленники были посланы в Европу учиться на инженеров. Самураи научились работать своими руками, и не для того, чтобы стать свободными предпринимателями, а чтобы создать сильную современную Японию. Промышленность развивалась в основном в смешанных, государственно-капиталистических компаниях. Рынка рабочей силы до сих пор в чистом виде не существует в Японии; здесь распространена система пожизненного найма, так что фирма в социальном плане во многом напоминает средневековый клан с солидарной ответственностью. Здесь еще слабо проявилась болезнь западной цивилизации — «неспособность испытывать уважение». Старые инженеры, не успевающие за прогрессом, выполняют в фирмах второстепенную, часто символическую работу, но блестящие молодые специалисты им приносят чашечку кофе. Бессмысленно было бы хвалить один и ругать другой путь. Человечество, как и любая экологическая система, будет устойчиво лишь до тех пор, пока будет сохраняться необходимое разнообразие культур. Я просто хотел сказать, что не согласуется с действительностью утверждение, будто нет иного пути развития кроме как через рынок рабочей силы.

Та жестокая ломка всех духовных и культурных традиций, которая была навязана нашей стране радикальным крылом партийной элиты в 20-е годы, не была, как утверждают сейчас нынешние радикалы, платой за индустриализацию. Это разрушение не было необходимо, в России уже существовал и набрал скорость потенциал развития. Рабочие и инженеры трудились не из-за страха репрессий. И как бы не были велики опустошения, можно утверждать, что все вместе мы их пережили и сохранились как культура. Это показала и война, и Юрий Гагарин, и старики в деревнях. Очень может быть, что наша слабая «атомизация», слабое развитие в нас «свободного индивидуума», доверие к печатному слову как раз и позволили кровавому радикальному режиму оседлать потенциал развития и войти в симбиоз с добрыми идеалами, ради которых трудились и погибали миллионы людей. Тот, кто шел в атаку с криком «За Сталина», имел в виду именно эти идеалы, а не усатого человека, которого он видел на портрете. В этом сила симбиоза и уязвимость человека традиционного общества. А может быть, в этом была и его сила, его способность к выживанию как культурного человека? Лишившись многих ритуалов и норм духовной жизни и человеческих отношений, люди приняли «ритуальную скорлупу» нового режима, повесили на стены портреты Сталина и стали отправлять его культ, «сцепленный» с важными для нашей культуры ценностями. Это была жестокая деформация культуры, но это не было падением в бескультурье, как утверждают нынешние радикалы.

Это падение, похоже, потребуется совершить сейчас, когда под флагом борьбы со сталинизмом идет в действительности разрушение тех ценностей и традиций, которые лишь вынужденно сосуществовали с этой «скорлупой». Эти ценности — идеалы равенства, сострадания и социальной справедливости. Эти традиции — уважение к трудам наших предков и к пролитой крови.

Усиленная, почти лихорадочная разрушительная работа ведется в разных планах и на разных уровнях, по-разному «упаковываются» сообщения, обращенные к интеллигенции и к широкой публике. Появилась целая литература квазинаучных статей, в которых известные ученые и публицисты доказывают абсурдность идеала равенства с помощью, казалось, забытых аргументов социал-дарвинизма. Иногда это почти буквальный пересказ Ницше с его идеей о существовании трех «подвидов» человека (человек биологический, социальный и духовный). В. Шубкин («Новый мир», 1989, № 4) утверждает, что основная масса населения СССР относится к категории «человек биологический» и является генетически неполноценной. В большой статье «Реальности, идеалы и модели» («ЛГ», 5 окт. 1988) Н. Амосов прямо предлагает провести в стране «крупномасштабное психосоциологическое изучение граждан, принадлежащих к разным социальным группам» с целью распределить их на два типа: «сильных» и «слабых». Вот его научное кредо: «Неравенство является сильным стимулом прогресса, но в то же время служит источником недовольства слабых... Лидерство, жадность, немного сопереживания и любопытства при значительной воспитуемости — вот естество человека». Еще более радикально, и уже не с научной, а почти религиозной логикой отвергается идеал равенства И. Клямкиным («Новый мир», № 2, 1989).

Почему такой атаке подвергается важнейший элемент нашей культуры, имеющий свои корни в христианстве, развитый в русской литературе и философии (Вл. Соловьев)? Потому что без его изъятия невозможно побудить людей принять резкий поворот к экономике свободного рынка — в наших реальных условиях, где это неминуемо приведет к огромной безработице и быстрому обнищанию большой массы людей. Мы заранее должны признать их слабыми, неполноценными, генетически предрасположенными к такой доле. Мы должны даже быть готовы к тому, что тот «реформатор», без прихода которого И. Клямкин не мыслит возвращения к рыночной экономике, вынужден будет усмирять недовольных «слабых». Мы должны быть готовы к войне с ними. Здесь опять нельзя не вспомнить К. Лоренца, который говорил о необходимых для войны культурных средствах: «Пропагандисты войны всех времен, к несчастью, показали, что владеют гораздо более верным, практическим знанием инстинктивной природы человека, чем самое лучшее изложение морали философами. Они очень хорошо знают, что можно устранить запрет на убийство врага, объясняя толпе, что враг от нее отличается, что он относится к другому виду... Все националистические движения и вся пропаганда расизма основаны на этом принципе». Человек биологический — не брат человеку духовному.

Радикальные социал-дарвинистские идеи, обращенные к интеллигенции, находят, видимо, положительный отклик. Этому есть причины. Интеллигенция не только сильно пострадала от сталинизма, но и во времена «мягкого бюрократизма» времен застоя находилась в тяжелом социально-экономическом положении, сильно страдала от ограничений в коммуникациях, в свободе передвижения и т. д. Особенно тяжело переживает она и комплекс вины. Как сказал польский историк Анджей Верблан, «общества освобождаются от чувства коллективной вины, концентрируя эту вину на определенных личностях, на организациях и на самой идее, которая могла послужить трамплином или дымовой завесой для преступных действий. Поэтому шок десталинизации потребовал в качестве жертвы не только сталинизм, дьявольскую и вырожденную форму социализма, но и социализм как таковой». И все же с интеллигенцией наши новые идеологи обходятся гораздо более бережно, чем с массой «людей биологических». По сути, в среде интеллигенции шок десталинизации растянулся на тридцать лет, что дало возможность избежать разрушительных травм. В отношении же остальной части населения эти травмы, похоже, как раз и были самоцелью применяемой либералами шоковой терапии.

Сейчас, по истечении пяти лет перестройки, можно утверждать, что радикальная часть публицистов вела критику сталинизма и всего нашего прошлого не просто этически недопустимыми, но преступными методами. По структуре эти действия почти идентичны разрушительным действиям радикалов 20-х годов. Прекрасно зная, что отношение к Сталину и некоторым идеологическим догмам у большой части населения было именно культовым, то есть действующим на уровне подсознания, новые радикалы использовали средства, разрушающие личность тех, кто культ исповедует (осмеяние, публичное разрушение культовых реликвий, позорные «политические процессы» над стариками-«сталинистами» по телевидению). При этом сознательно разжигалась вражда к старшему поколению как якобы носителю ненавистного культа и ненавистной культуры, как неполноценному строителю дома, который годится для чего угодно, но только не для жилья».

Тот напор, с которым это делалось, заставляет предположить, что объектом атак публицистов, хорошо знающих «инстинктивную природу человека», был уже не сталинизм, а культурные устои в целом. Их надо было устранить, чтобы превратить человека в «чистую доску», на которой можно было бы написать новые идеологические алгоритмы.

Когда перед телевизионной камерой девчонка, которая, судя по виду, и картошки начистить не сумеет, говорит: «За семьдесят лет мы (!) не создали ничего ценного», а в ответ наш ведущий экономист ей одобрительно кивает, то перед нами акт разрушения культуры, попытка привить нам «неспособность испытывать уважение». Когда хорошо ухоженный молодой человек вещает с экрана: «В нашей стране до сегодняшнего дня не было милосердия» — это акт разрушения культуры. Достоевский пожалел озлобленного товарища по каторге, который не мог опереться на воспоминание о мужике Марее. Но этот несчастный не пользовался телевидением, чтобы заражать других, а наш либерал и выжил-то благодаря милосердию множества людей, но в своем мужике Марее видел лишь его грязный палец.

Когда вытаскивают на экран замшелого «сталиниста», который отказывается публично обличать Сталина, и при этом придвигают камеру к его лицу в таком ракурсе, чтобы было видно, как противны его старческие губы — это акт разрушения культуры и попытка создать новый

тип круговой поруки зрителей. Такую же функциональную роль играли в сплочении низшего среднего класса в США акты линчевания (даже если линчевали действительного преступника).

Видна и динамика этих действий, показывающая, что не в Сталине дело. В упомянутой статье В. Шубкина к достойным разоблачения фигурам причислен, с очень большой натяжкой, маршал Г. К. Жуков. Единственный смысл этого — выбить важный элемент нашей культуры и образа нашего прошлого. Другой автор заявил, что только народ с деформированным мироощущением мог сделать предметом уважения таких людей как Суворов и Кутузов. А разве только идеологическую, а не культурную уже функцию выполняет кампания против Ленина? Если бы речь шла только об идеологии, совершенно иными должны были бы быть и средства, и выражения.

Происходит то, что давно хорошо изучено и о чем сказал Конрад Лоренц: «Молодой либерал, который освоил научно-критическое мышление, но обычно не имеет представления об органических законах, которые управляют развившимися естественным образом механизмами общего поведения, не может подозревать катастрофических последствий произвольной модификации, даже если она затрагивает кажущуюся второстепенной деталь. Этому юноше никогда не пришло бы в голову удалить какую-то часть технической системы, автомобиля или телевизора, только потому что он не догадывается о ее назначении. Но он выносит безапелляционный приговор традиционным нормам социального поведения как пережиткам — нормам как действительно устаревшим, так и необходимым. Покуда формы социального поведения, возникшие филогенетически, заложены, во благо или во зло, в наш наследственный аппарат, нарушение традиции может привести к тому, что все культурные нормы социального поведения угаснут, как пламя свечи». И в другом месте, уже с тревогой за самого молодого «либерала»: «Радикальное отрицание культуры отцов — даже если оно полностью оправдано — может иметь смертельным следствием превращение отрицающего всякое напутствие юноши в жертву самых бессовестных шарлатанов».

Мы видим и то, и другое. Когда группа молодых людей 9 мая избивает инвалида, который вышел на улицу с медалями (а на одной из них профиль Сталина), то это следствие целенаправленного воздействия на духовные структуры молодежи. И это — лишь симптом, крайнее выражение тех болезненных процессов, которые затронули всю молодежь. Массовые драки, вспышки насилия и немотивированных преступлений, жестокость межнациональных столкновений — все это в большей степени следствие разрушения культурных норм и ритуалов, чем социально-экономических трудностей, следствие насильственной «атомизации» нашего общества с помощью мощных средств массовых коммуникаций.

Нужно ли было это для того, чтобы покончить с преступным прошлым нашего государства, освободиться от накопившихся обид и комплексов, открыть конструктивные дебаты о будущем устройстве нашей жизни? Ответом может быть только «нет». Ничему этому эрозия культуры и системы ценностей не помогла. Напротив, резко усугубила кризис нашего общества. Остается слабая надежда, что за этими действиями не стоит политический и экономический интерес, что к ним наших радикалов побуждают какие-то пусть сомнительные, но идеалы. А тактика определяется этическими деформациями, вполне естественными в порожденной нашим строем элите. Если так, то еще возможен диалог и согласие в установлении пределов «допустимого вреда» в лечении нашего больного общества.

●

«ОТКРЫТЬСЯ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!» — ЧТО ЗА ЛОЗУНГОМ?

В разных обличьях, при «острой политической борьбе» советскому обществу навязывают, по сути, одну и ту же программу радикального перехода к рыночной экономике. Одним из необходимых элементов этой программы является ликвидация всякой защиты отечественной экономики перед иностранным капиталом. Особенно отчетливо необратимый характер этой политической установки проявится в процессе приватизации общенародной собственности СССР.

В советской прессе псевдодискуссии о переходе к рынку и последствиях «открытости» нашей экономики ведутся на умозрительном уровне. А между тем Польша, Чехословакия и Венгрия уже прошли значительную часть этого пути, и мы могли бы многому научиться на их ошибках, но советское общество тщательно охраняется от информации об этом опыте. Дадим же слово ученым этих стран и западным обозревателям.

Видный польский экономист, убежденный сторонник рыночной экономики профессор Рафал Кравчик пишет в своей книге «Распад и возрождение польской экономики»: «Невозможно просто внезапно запустить в ход рыночные механизмы в совершенно неподготовленной

для этого экономической структуре. Надежда на то, что шок такого рода самопроизвольно приведет к гладкому переходу к рыночной экономике, не оправдана. Нет ничего иллюзорнее и опаснее для будущего народного хозяйства, чем терапия такого рода, ибо она ведет к хаосу... Такого рода замыслы всегда возникают из доктринальных или тактических соображений. Примером этого может служить обсуждение в сенате в конце августа 1989 г. концепции «скачка в рынок», разработанной Джеффри Саксом и Дэвидом Липтоном в Нью-Йоркском фонде Сороса. Они предлагали немедленно ликвидировать дотации, прекратить контроль над ценами, перейти к стихийному формированию курса валют, создать полную открытость для иностранного капитала».

Тот факт, что радикальный проект преследует в первую очередь политические, а не экономические цели, признают многие западные обозреватели. Задача — разрушение государственных и хозяйственных структур, на которых держались режимы СССР и стран Восточной Европы. Газета «Файненшнл Таймс» 16 апреля пишет: западные правительства и финансовые институты, такие, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, поощряли восточноевропейские правительства к распродаже государственных активов, что было призвано послужить средством привлечения западных инвестиций, создания рыночной экономики и разрушения оплота в лице государственной бюрократии.

Со своей стороны, правительства рассматривали приватизацию как средство разрушения базы политической и экономической власти коммунистов. Это было лейтмотивом предвыборных кампаний, прокатившихся по всей Восточной Европе в прошлом году. Избиратели не голосовали за радикальную экономическую политику как таковую, они голосовали против коммунистической системы.

Как заявил депутат чехословацкого парламента от «Гражданского форума» Й. Штери, «покончить с тоталитарной системой, которая началась с обобществления достояния, можно только единственным способом, а именно: с помощью обратного процесса — денационализации». Таким образом, опять сотням миллионов человек навязан примат идеологических и политических интересов в ущерб экономическим и социальным.

Давая 6 апреля обзор американской печати о ходе приватизации в Восточной Европе, газета «Тайм» признает: поскольку приватизация считается болезненным, а порой и сомнительным процессом, такие западные финансовые учреждения, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и новый Европейский банк реконструкции и развития, должны оказать помощь, чтобы она прошла успешно. Профессор Сакс говорит: «Нам на Западе придется подкупать и уговаривать эти правительства идти вперед». Но это, разумеется, говорится не о правительстве СССР — оно идет вперед бескорыстно, и его подкупать не приходится.

Радикальные рыночники во всех бывших соцстранах настаивают на распродаже собственности. Она начинается на наших глазах. Кравчик пишет: «Необходимо задать вопрос: что понимается под рыночной распродажей государственного имущества? Идет ли речь о внутреннем рынке, отделенном от остального мира стеной, или имеется в виду именно мировой рынок, то есть допущение свободной иностранной конкуренции на польском рынке капитала, которую наверняка не выдержат польские экономические субъекты? В результате польское государственное имущество по дешевой цене перейдет в собственность иностранного капитала, а солидный отечественный капитал не сможет возникнуть в обозримом будущем» (с. 149).

В уже упомянутом обзоре «Тайм» пишет: «...правительства по всему миру выбрасывают по демпинговым ценам широкий ассортимент государственной собственности на открытый рынок. Это, возможно, самая большая поспешная распродажа в истории, причем имущество выбрасывается «на шарап». Избыток предприятий, выставленных на продажу, в сочетании с глобальной нехваткой кредитов, ограничивающей средства потенциальных покупателей, гарантируют заниженные цены даже на некоторые лучшие предприятия.

Пока бывшие страны восточного блока едва приступили к своим распродажам. Множество инвестиционных банкиров, стремящихся им помочь — и особенно стремящиеся хорошо заработать на заключении сделок — обрушились на Восточную Европу из практически всех финансовых столиц мира. «Это Клондайк на Дунае», — говорит Джордж Лоринчи, партнер американской юридической фирмы, которая открыла отделение в Будапеште в сентябре прошлого года.. «Если прибегнуть к поэтическому сравнению, то можно сказать, что распродается вся страна», — саркастически усмехается Щепи, венгерский министр по делам приватизации.

Уже заключены первые крупные сделки. Так, 70 проц. акций автомобильного завода «Шкода» приобрела компания «Фольксваген», компания «Тунгсрам» в Венгрии куплена «Дженерал электрик». Польский завод по производству турбин «Земек» купил швейцарский концерн АББ («Файненшнл Таймс», 16 апреля 1991). Как пишет бывший помощник премьер-министра, чехословацкий ученый Оскар Крейчи, «национальное богатство провозглашено государственным, а с государственным правящая элита затем обращается как со своим собственным».

Председатель КПЧС П. Канис отмечает: «В Федеральном собрании есть прозарубежное лобби, которое стремится во что бы то ни стало принять законы о внесудебной реабилитации [возвращении собственности] и о «большой» приватизации. Это лобби в сущности защищает интересы иностранных, а не чехословацких граждан. Чтобы убедиться в этом, стоит только понаблюдать за ходом голосования в парламенте».

Сравнение советских программ перехо-

да к рынку с тем, что происходит в бывших соцстранах, и особенно анализ законопроектов о приватизации, не оставляет сомнения в том, что путь иностранному капиталу открывается вполне сознательно. Во всех наших странах отечественный капитал пока что конкурировать не может.

Прислушаемся к тому, что пишет Кравчик: «Выдвигаемая до недавнего времени в качестве единственной концепция приватизации посредством продажи национального достояния иностранному капиталу влечет за собой превращение поляков в современных зулусов, которые будут работать, возможно, даже за оплату в валюте, на иностранных предприятиях. Ни один поляк, даже бывший министр промышленности Вильчек, не будет в состоянии вступить в конкурентную борьбу с ИГ Фарбен, Круппом, Зингером, Дюпоном или ИБМ. Когда «большая распродажа» будет завершена, на месте потенциального польского капитала останется только пустыня. Это будет крупная сделка между государственной бюрократией и иностранным капиталом. И предотвратить ее надо стараться всеми силами, если мы чувствуем ответственность за судьбу будущих поколений» (с. 159).

Во всех странах распродаже национальной промышленности предшествовал период «реформ» — приведение этой промышленности в состояние разрухи и банкротства. Те, кому приходилось еще три-четыре года назад бывать в ГДР или Чехословакии, знают, что эти страны имели вполне благополучную экономику, которую при бережном отношении можно было быстро оздоровить. На сегодняшний же день 70 проц. всех предприятий Чехословакии неплатежеспособны: в их ворота стучится беда банкротства. К 1 февраля 1991 года объем отложенных платежей составил 77,6 млрд. крон, причем финансовое положение не смягчается, напротив, усугубляется: только за январь неплатежеспособность возросла на 50 проц.

Политика центра, заявил на заседании клуба социал-демократов и левой группировки «Конвент» в Брно представитель тракторного завода Р. Киллар, характеризуется не совсем чистыми помыслами. Не исключено, что в жизнь воплощаются намерения положить на лопатки коммерчески преуспевающие предприятия, а потом продать их за бесценок.

Прижатое к стене, министерство финансов ЧСФР дало понять, что оно действует в рамках предписаний, рекомендованных Международным валютным фондом. После диктата Советского Союза, заявил на страницах газеты «Лидове новины» председатель Чехословацкой конфедерации профсоюзов Р. Ковач, нами теперь правит Международный валютный фонд. Братиславская молодежная газета «Смена» поставила перед министром финансов Словакии М. Ковачем такие вопросы: известны ли вам условия, на которых МВФ предоставил недавно Чехословакии кредит в размере 1,7 млрд долл.? И как могут депутаты Федерального собрания, не зная условий, выдвинутых Фондом, утверждать важные экономические законы?

Министр признался, что он не знаком с текстом-оригиналом соглашения. Читал только проект, направленный в федеральное правительство. В нем предусмотрены обязательные меры — девальвация кроны, либерализация цен, повышение цен на газ, отопление. Иначе говоря, меры, принимаемые сейчас правительством, заранее определены и выверены Международным валютным фондом.

Сильно ли отличаются наши народные депутаты от своих чехословацких коллег?

Разумеется, невозможно поверить, что среди советских либеральных рыночников велико число тех, кто сознательно готов за небольшую долларовую взятку способствовать распродаже национального достояния народов СССР. Очень многие интеллигенты искренне уверены в том, что по ту сторону границы царит приоритет «общечеловеческих ценностей» над приземленными интересами рынка. И этим чистым душой интеллигентам бесполезно что-либо доказывать, пока они не познают законы рынка на своей собственной шкуре — и тогда они начнут пополнять ряды левых террористов, метать бомбы в министров и отравлять водопроводы. Мстить обществу, которое сами же обманывали своими утопиями.

Но пока что в общественном сознании господствует убеждение, что «заграница нам поможет». Тем, кто может на минуту стряхнуть с себя религиозный рыночный экстаз и опереться на здравый смысл, полезно рассмотреть наиболее чистый эксперимент, который провела история — раскрытие экономики ГДР.

Этот случай можно взять за эталон максимально благоприятного, фактически братского отношения сильной рыночной экономики к открывшейся ей бывшей соцстране. Ни к полякам, ни к русским, ни к узбекам никто так бережно и чутко не отнесется, как отнеслись западные немцы к своим братьям по крови, воссоединения с которыми они жаждали сорок пять лет. Это очевидно. В Германии действительно имелось общенациональное желание помочь — но была и примесь неизбежного в рыночной экономике желания нажиться. Что же возобладало, каков экономический результат братания?

В бывшей ГДР объем выпуска промышленной продукции в 1990 г. снизился по сравнению с 1989 г. почти на 30 проц. Особенно велик спад производства в металлургической (38 проц.), пищевой (34,6), текстильной (33,5), промышленности стройматериалов (32,2) и химической промышленности (30 проц.). В 1991 году спад продлится и объемы производства по сравнению с 1990 г. уменьшатся в целом еще на 20 проц. (в тяжелой и легкой промышленности на 33 проц., в горнодобывающей и перерабатывающей на 40 проц.).

Распад производства привел к катастрофическим последствиям в социальной сфере. Большинство восточногерманских компаний резко сокращает число работающих, в результате наблюдается быстрый рост безработицы. По свидетельству Федерального ведомства труда, в феврале 1991 г. полностью безработных насчитывалось 800 тыс. человек. Еще около 2 млн. заняты частично — трудятся неполный рабочий день. Таким образом, около 40 проц. рабочей силы бывшей ГДР являются сейчас либо безработными, либо «заняты на кратковременной работе, но, по сути, не проводят на работе ни одного часа».

Ожидается, что положение дел в области занятости будет ухудшаться и безработица достигнет 50 проц. (около 5 млн. человек). «Мы вот-вот столкнемся с развалом рынка труда в бывшей Восточной Германии», — заявил министр труда Норберт Блюм.

Уже первые слушания по жалобе на узаконенную в Договоре об объединении практику перевода рабочих и служащих в разряд так называемых «ожидающих своей очереди», показали, что безработица в новых землях взросла на «искусственных дрожжах», замешанных Попечительским ведомством, которое определяет судьбу бывших государственных предприятий. Оно взяло явный курс на немедленную приватизацию, заботясь лишь о том, как бы повыгоднее продать заводы и фабрики. Даже те из них, которые выпускают находящую спрос и необходимую продукцию, идут «под нож». Возглавлявший Попечительское ведомство западногерманский промышленник Детлев Роведдер сказал о национальном достоянии ГДР: «Вся эта мура стоит около 530 млн. долларов» (он был убит террористами в апреле 1991 г.).

Вот, например, пытается уцелеть лейпцигская пивоваренная компания «Штернбург», основанная в 1278 г. Надеются сохранить уровень производства в 1/3 того, что производили в 1989 г. Для снижения расходов сократили персонал с 495 до 200 человек (сначала уволили всех пожилых). Но расходы растут — сейчас компания вынуждена расходовать на рекламу 533 тыс. долл. вместо 6,7 тыс. долл. в ГДР.

Есть все основания утверждать, что главной причиной (или по крайней мере одной из них) массовой ликвидации промышленных предприятий бывшей ГДР является отнюдь не их отсталость и не отсутствие средств для реконструкции. Прежде чем тратиться на оздоровление восточногерманской экономики, западногерманский капитал намерен выжать из нее все соки. Печать уже не раз обращала внимание, что объединение страны принесло баснословные барыши крупным концернам. Как это ни парадоксально, затянувшаяся агония народного хозяйства бывшей ГДР им даже на руку.

Типична и судьба авиакомпании «Интерфлюг» (аналог нашего «Аэрофлота»). После объединения Германии отмена государственных субсидий поставила ее в сложное положение. Выход, как считают специалисты, найти было можно. Акционерное общество предложило вполне реальную программу оздоровления авиакомпании — произвело сокращение персонала, продало устаревшие самолеты, разработало новые коммерческие услуги, которые могли бы существенно пополнить бюджет. Но Попечительское ведомство, действуя за спиной руководства «Интерфлюга», приняло решение о его ликвидации. Это решение было настолько немотивированным, что вспыхнул скандал, продолжающийся и сейчас. В печать просочились сведения, что судьба авиакомпании бывшей ГДР решалась на более высоком уровне, и руководствовались в первую очередь при этом не экономическими, а политическими соображениями. Интересы 3 тыс. квалифицированных работников при этом в расчет не принимались. Всех их ждет безработица — по словам руководства «Люфтганзы», оно может предложить работу не более чем ста сотрудникам «Интерфлюга».

Сельское хозяйство Восточной Германии оказалось в столь же трагической ситуации, как и индустрия, — производство продукции снизилось за год на 33,6 проц. Торговые фирмы сознательно бойкотируют сельскохозяйственную продукцию, выращенную восточногерманскими крестьянами, и они лишились возможности реализовывать продукцию. Мясо, молочные продукты, яйца, хлеб, овощи, фрукты — все, чем ГДР обеспечивала себя полностью, сейчас поставляется из западных земель. Многие благополучные в недалеком прошлом хозяйства терпят крах и распадаются.

Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства ФРГ Игнац Кихле признал, что в ближайшие годы количество занятых на селе в бывшей ГДР уменьшится примерно вдвое. Шансы на выживание имеют лишь 10 тыс. фермерских хозяйств с площадью в 100 га. У крупных аграрно-промышленных комплексов, получивших широкое распространение при социализме, нет будущего. Фактически обречены и маленькие хозяйства, имеющие 15 га и менее.

Высвобождаемые в результате разорения земли скупают крупные землепромышленники, буйным цветом расцвела спекуляция недвижимостью. Причина все та же — возможность без всяких усилий увеличить прибыли за счет освободившегося восточногерманского рынка.

Такова реальность. Знают ли ее наши нынешние правители? Прекрасно знают, но увлечены идеей устранить с лица земли «эту неправильную страну» и влить ее ресурсы в «мировую цивилизацию». Послушно идет на звуки волшебной дудочки одурманенное новой идеологией население. А среди духовных лидеров — писателей или ученых, не найдется никого, кто смог бы, как Дмитрий Иванович Менделеев в похожей ситуации в прошлом веке, грозно предупредить о необходимости защитить промышленное развитие народов России «против экономического порабощения их теми, которые уже успели развиться в промышленном отношении».

Примечание: данные и материалы зарубежной печати приведены по бюллетеням ТАСС КОМПАС («Комментарии, прогнозы, анализ, события») за апрель—май 1991 г.

КАКУЮ СВОБОДУ ДАЕТ ЭКОНОМИКА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РЫНКА?

Наши средства массовой информации усиленно готовят общественное мнение к тому, чтобы «демократическим путем» одобрить возвращение к «нормальным экономическим отношениям» — экономике капиталистического рынка, включающего рынок рабочей силы. Один из важнейших аргументов: рынок создает и гарантирует свободу, а свобода — главная ценность для человека.

Найдется ли человек, выступающий против свободы? Это было бы так же глупо, как выступать против огня, воды, электричества. Все это — ценности, и проблема не в их признании, а в том, во что они воплощаются и кому достаются. Свобода к тому же — понятие явно не простое и даже противоречивое. Степан Разин — важная часть русской культуры, а казачество — важное и очень особенное явление русской социальной истории, но нам говорят, что категория свободы всегда была чужда России. Врут? Ни в коем случае, просто говорят о совсем другой свободе. И действительно, многие виды свободы в русской культурной традиции подавлялись или не поощрялись. Разве преувеличенное значение, которое придавалось в этой традиции человеческому состраданию, любви и справедливости, не ограничивает свободы личности? Разве особое отношение русского крестьянства к земле, отрицающее ее свободную куплю-продажу («земля — Божья») не ограничивало свободу капитализма в деревне? Каждая культура ограничивает свободу вполне определенными рамками, и применение этого понятия вне времени и пространства — вечная основа демагогии.

Капиталистическая рыночная экономика, которая складывалась в ходе промышленной революции в XVII—XVIII вв., потребовала совершенно определенных типов свободы. Прежде всего, свободы человека от связывающих его структур старого аграрного общества: патриархальной семьи, привязанности к земле и родной деревне, церкви. Буржуазному обществу, индустриальной цивилизации был нужен «человек-атом», свободно передвигающийся и вступающий в свободные отношения купли-продажи на рынке рабочей силы. В идеологических целях были извлечены философами из забытья атомистические представления и приложены к человечеству, раньше чем победили они в естествознании. Быстрее и проще всего проблему освобождения человека решили в Англии, силой согнав крестьян с земли и пустив их по миру (на фабрики).

Вторая свобода, которая нужна была для рыночной экономики — свобода предпринимательства и конкуренции. В честной экономической борьбе, при эквивалентном обмене товаров на рынке должен побеждать более эффективный предприниматель, и ни государство, ни мораль не должны вмешиваться, ограничивая действия предпринимателя или поддерживая более слабого. Философски обосновывая это общество, Гоббс писал: «Природа дала каждому право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди связали друг друга какими-либо договорами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и против кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обрести». Естественный отбор, ликвидирующий слабых — инструмент прогресса (очень быстро в идеологических целях была приспособлена эволюционная теория в виде социал-дарвинизма).

Капиталистическая индустриальная цивилизация должна была освободить человека от целого ряда культурных норм. Даже христианский идеал равенства приобрел новое толкование. Если рыночное общество, по Гоббсу, это «война всех против всех», то ясен и смысл равенства разных «атомов»: «Равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе... Итак, все люди от природы равны друг другу». Новые этические нормы были необходимы, чтобы сделать возможным ограбление большей части человечества и продолжать его все более изощренными средствами доныне. Надо эту горькую правду иметь в виду, тем более что при переходе к рыночной экономике нас к этому пирогу не допустят — пирогом будем мы сами. Но всем будет дан шанс выиграть.

У нас революция произошла в традиционном аграрном обществе, до того как в мышлении укоренились категории, свойственные индустриальной цивилизации, включая «атомизацию» человечества, индивидуальные свободы и свободное предпринимательство. Затем мы испытали форсированную первичную индустриализацию в условиях очень специфического, но тоже традиционного общества «бюрократического социализма» (это отнюдь не единственный случай индустриализации без разрушения традиционных структур — отличным от западной цивилизации путем развивалась Япония). Сейчас, примерно на середине индустриализации, мы ощущаем острую потребность в таких социальных структурах, которые соответствовали бы нашему уже зрелому индустриальному мироощущению. Потребность в новых видах свободы, в гражданских правах и демократии — мы переходим от традиционного общества к современному. И нам говорят, что все это может быть обеспечено лишь в условиях рыночной экономики. Вот это хотелось бы проверить. Тем более что эта экономика уже не та, что была в героический период буржуазной цивилизации.

В идеологических дебатах на Западе первая часть вопроса трактуется очень расплывчато. Консерваторы считают просто аксиомой, что свобода — прямой продукт рынка (один из видных философов Г. Радницки пишет: «Основу свободного образа жизни составляет конституционное государство, капиталистическая рыночная экономика и автономная наука»). Социал-демократы мнутся, но в целом соглашаются. Итальянский социолог Л. Пелликани пишет о споре по этому вопросу между Марксом и Прудоном: «Как видим, исторический опыт подтвердил правоту Прудона и показал ошибку Маркса. Рынок оказался основой свободы и экономической рациональности».

Здесь есть уже крупная натяжка. Применение к истории «квазиэкспериментальных, статистических понятий («исторический опыт показал») неправомерно. Социалистический эксперимент в России уникален, а экономические и политические системы европейских соцстран были силой подогнаны под нашу модель. Чтобы говорить на языке эксперимента, следовало бы каким-то образом «разрешить» России после гражданской войны «открыться» рыночной экономике и посмотреть, что из этого получится. Эту игру нетрудно проиграть, зная, что произошло с другими не успевшими индустриализоваться и ставшими объектом неоколониальной эксплуатации странами. Учитывая степень разрухи и накопленный в стране потенциал ненависти и насилия, ожидать идиллического развития капитализма не приходилось. Что же касается Маркса то он вообще не считал, что можно начать строить социализм в такой стране, как Россия, и ее опыт отношения к его спору с Прудоном не имеет.

Но для нас сейчас лучше отвлечься от академических споров и перевести абстрактные понятия на язык повседневной реальности. Какие свободы дает реальная рыночная экономика сегодня и от каких свобод она заставит нас отказаться?

Прежде всего, чисто личное, субъективное впечатление. Прожив почти год в Испании — одной из наиболее свободных сейчас стран с рыночной экономикой — и прожив не в отеле и не журналистом, а нормальной жизнью в средней университетской среде, я с удивлением констатирую, что никаких дополнительных свобод по сравнению с тем, что мы можем иметь в СССР, сама по себе рыночная экономика не дает. Развитие общества, его общая культура и состояние экономики в несравненно большей степени определяют количество и качество свобод, чем тип экономического базиса. Напротив, рыночная экономика предполагает неизбежное лишение важных видов свободы примерно для трети населения (а косвенным образом, для всего населения).

Имеется иллюзия свободы доступа к любым товарам — тебе их просто навязывают мощными средствами психологического воздействия. И кажется даже, что многие желанные товары недороги: 600 долларов стоит хороший видеомагнитофон, за 1 000 долл. можно купить приличный подержанный автомобиль типа «Жигулей». Но проходит немного времени, и ты видишь, что купить все это не так просто: элементарные вещи, без которых ты не можешь обойтись и которые никто не рекламирует, безумно дороги. В пересчете на тот же подержанный автомобиль, который может служить точкой отсчета, хлеб оказывается в 200 раз дороже, чем у нас, а жилье в 200—300 раз дороже (все равно, покупать квартиру или снимать). Это — естественная для свободного рынка пирамида цен, которая определяется спросом, предложением и ориентацией на прибыль. Молоко дорого, два раза подумаешь, прежде чем выпьешь стакан. Но ведь его выливают на землю, чтобы не снижать цены. Экономическая рациональность. Человеку, не проникнувшемуся рыночной психологией, это кажется абсурдом, все время кажется, что можно это выправить. Потом начинаешь понимать, что это не сбои и не ошибки, а необходимое условие существования рыночной экономики. Она вынуждена создавать неравенство и бедность заметной части населения как внутри страны, так и в мире. Это — та разность потенциалов, которая двигает систему. Для нее необходимо, чтобы в странах третьего мира ежедневно умирало от голода 40 тыс. детей, а в самых бедных странах половина населения получала в день 1700 калорий пищи — столько, сколько в нацистских лагерях 1940 г. Необходимо, чтобы пятая часть населения была выброшена из жизни и дегенерировала, прозябая на пособие по безработице (которое еще надо заслужить хорошим поведением). Наши новые социал-дарвинисты, которые легко перешли с цитат Маркса и Ленина на цитаты Ницше, обещают подкармливать тех «слабых», которые проиграют в рыночной экономике (одновременно укрепив, разумеется, внутренние войска). Но какой облик приобретет при этом свобода?

Чтобы избежать обвинения в коммунистической пропаганде, обращусь к суждениям человека, прекрасно знавшего реальность рыночной экономики, лидера социал-демократии, покойного премьер-министра Швеции Олофа Пальме. Он писал: «Бедность сковывает людей. Сегодня подавляющее большинство людей считают, что свобода от нищеты и голода более желанна, чем многие другие права. Свобода предполагает ощущение надежности. Страх перед будущим, перед неотложными экономическими проблемами, перед болезнями и безработицей превращает свободу в не имеющую смысла абстракцию... Наиболее важным условием надежности является работа. Полная занятость означает огромное расширение свободы людей. Потому что если не считать войны и природных катастроф, нет ничего, что люди боялись бы сильнее, чем безработицы. Работа часто рассматривается как обязанность. Но не имея работы человек чувствует себя лишенным свободы... Нет пропасти более глубокой чем та, которая существует между имеющими работу, и теми, кто ее не имеет».

В нашей выродившейся, потерявшей мобильность и эффективность бюрократизированной экономике значительная часть людей тоже живет бедно. Но я, зная бедность «с обеих сторон» границы, утверждаю, что наша бедность пока что не идет ни в какое сравнение с бедностью в рыночной экономике. И причины две: «перевернутая» у нас пирамида цен, при которой хлеб дешев, а автомобиль дорог, и слабая «атомизация» общества, его урав-

нительная психология. Люди помогают друг другу, даже не устраивая официальной благотворительности. Но из-за этой психологии, которую вряд ли удастся быстро искоренить даже в условиях президентской системы управления, ограничение свободы бедностью для трети населения неизбежно ограничит и свободу всех остальных — к зрелищу настоящей бедности привыкнуть будет очень непросто.

Таким образом, необходимое при рыночной экономике, фактически искусственное выдерживание трети населения в бедности, а многих и в безработице, делает для очень многих людей остальные виды свободы пустой абстракцией. Свобода благополучной части общества тоже сильно ограничена: общим явлением стало то, что можно назвать «синдромом осажденного города». Постоянно ощущается угроза, быть может преувеличенная, со стороны «маргинальных» (вытесненных из общества) — безработных, наркоманов, хулиганов и т. д. Возникло «двойное» общество с большим потенциалом взаимной нетерпимости обеих частей. Испанский социолог М. А. Лопес Хименес пишет: «Если иметь означает также быть кем-то в обществе, то не иметь вызывает подавленность, которая может выразиться в агрессии против окружающих, чтобы вырвать у них то, что они имеют, требуя или прося более или менее жесткими методами. Здесь насилие в уличной преступности и забастовки в рамках законности, или дикие, уличные бунты и демонстрации протеста. Некоторые из этих видов насилия отвергаются обществом, что в свою очередь до известной степени питает это насилие. В обществе растет враждебность, порожденная страхом и непониманием, ибо хотя все знают, что общество разделено на классы, существует распространенное убеждение в равенстве возможностей, которое позволяет считать бедных виновниками своей бедности, не использующими шанс вырваться из своего положения».

Этот потенциал нетерпимости толкает с обеих сторон общество к ограничению свобод, к тоталитаризму. Олоф Пальме сказал: «Думаю, что в конечном счете массовая безработица угрожает тому типу открытой демократии, в который мы верим. Демократия долго не выживет в странах, где поддерживается высокий уровень безработицы».

Еще более страшную угрозу постоянно ощущает средний житель общества потребления со стороны стран третьего мира. В этом нет никакого преувеличения — хрупкая и искусственно созданная структура потребления разлетелась бы моментально в осколки, если бы страны первого мира, где живет 13 процентов населения Земли, на миг приподняли бы железный занавес, который их защищает. Свобода передвижения, если говорить о свободе въезда в страны рыночной экономики — миф, «прописка» в них охраняется такими силами, с которыми трудно тягаться нашей милиции. Испания испытывает особые чувства по отношению к своим братьям по языку и культуре — латиноамериканцам. Но она входит в ЕЭС и следует общим нормам. Будучи вынужденным время от времени продлевать в полиции свою визу, я наблюдал однажды, как дотошно требовали от двух перуанских студенток, законно обучающихся в испанском университете, подтверждения достаточности для жизни получаемых ими из дома денег. Видя краем глаза предъявляемые ими квитанции на переводы, я, грешным делом, думал, что жить на такие деньги можно, и неплохо. Но чиновник полиции так не считал и отправил готовых расплакаться девушек искать дополнительных подтверждений законных источников доходов. А как же свобода? Значит, ты не только не свободен жить скромно, но и не можешь, например, воспользоваться помощью друга. Да это, видимо, кажется уже невероятным.

Сейчас на Западе возникло ощущение новой угрозы — притока бедных европейцев из бывших соцстран, переходящих к рыночной экономике. Социальной проблемой номер один в Гамбурге считают наплыв энергичных, хорошо организованных молодых поляков. Австрия закрыла границу перед пятьюдесятью тысячами румын. На строительство олимпийского стадиона в Барселоне фирма хотела нанять, да еще перед объявленной на май забастовкой строителей, тысячу венгров — «дешевую рабочую силу очень высокой квалификации», что вызвало протесты профсоюзов. Все это определяет тенденцию на рост ощущения несвободы.

А как обстоят дела с другими простыми элементами свободы? Есть ли исторические свидетельства того, что рыночная экономика с гарантией предоставляет их человеку? Нет, вся история говорит как раз о противоположном: эта экономика всегда уживалась с самыми примитивными ограничениями свободы.

Возьмем зависимость человека от государства, от бюрократии. Крайним, обнаженным образом представил эту проблему Кафка в романе «Процесс» — но действие романа происходит в условиях классической рыночной экономики, и никаких ограничений на жестокость и произвол бюрократической машины эта экономическая система не налагает. Вообще все мы уверены, да и во всем мире сложилось убеждение, будто советский бюрократизм — самый непробиваемый и абсурдный. Побывав на Западе, я сомневаюсь, что наши бюрократы по справедливости имеют такую высокую репутацию. Во многих отношениях им еще учиться и учиться.

У нас каким-то хитрым образом новые идеологи связали накопившееся отвращение к бюрократизму с необходимостью перехода к рыночной экономике. На деле это вещи несвязанные. Вот что пишет немецкий социалист Эрнст Мандель: «Недоверие к любым бюрократиям, как бюрократиям крупных капиталистических фирм, так и к бюрократиям так называемого Демократического Государства, в настоящее время как никогда укоренилось в массовом сознании». И добавляет: «Не следует смешивать это отрицание всякой бюрократии с одобрением реприватизации, которая была бы не чем иным, как заменой государственных монополий и бюрократий, которые, несмотря ни на что, легче поддаются контролю частными монополиями и бюрократиями».

Другой привычный вид ограничения свободы — преследования и надзор органов «государственной безопасности», имеющие обычно идеологический характер. Здесь, как мы знаем из истории, рыночная экономика прекрасно сосуществовала с самыми крайними режимами. Фашизм возник и действовал в странах с капитализмом на разных стадиях его развития. В наши дни рынок не мешает уничтожать людей самым жестоким образом (Чили было уделено много внимания. Меньше известно, что в маленькой Гватемале, ставшей, по сути, частью рыночной экономики США, за годы последней диктатуры убито 100 тыс. человек и пропало без вести 40 тыс.). Даже минимального влияния не оказал характер экономики США на деятельность комиссий по расследованию антиамериканской деятельности. Голливуд сильно пострадал от маккартизма, и недавно там сделан прекрасный фильм об этом времени. Конечно, нет сравнения с участью жертв сталинских репрессий, но созданная в обществе обстановка, судя по всему, была очень тяжелой. Если люди кончали с собой добровольно, значит, соотношение сил морального террора и моральной поддержки было очень неблагоприятным. Да и если поднять результаты социально-психологических исследований среднего американца 60-х годов, мы встретим потрясающие свидетельства конформизма и полного психологического подчинения власти. Никакого раскрепощения сознания рыночная экономика не обеспечила. Его дали тяжелые кризисы всей основанной на этой экономике системы.

Но даже и сейчас, при этом раскрепощенном сознании, не заметно якобы нейтрализующего государственную машину влияния рынка. Эрик Лаурент, который исследовал деятельность Национального агентства безопасности США, пишет, что в начале 80-х годов в этой организации с бюджетом 8 млрд. долл. 100 тыс. сотрудников занимались перехватом и расшифровкой передаваемых по телефону или через спутники сообщений, в том числе коммерческих и личных. Уже в те годы ежедневно записывалось 400 тыс. разговоров в США и в других странах. Как пишет автор, «когда видишь все шестерни НАБ, возникает ошеломляющая картина соучастия мира бизнеса, военных штабов и научных кругов».

Это что касается электроники. Сейчас «научные круги» дали и государству, и миру бизнеса новое средство вмешательства и деформации личной жизни людей — дешевую технологию определения «генетического профиля» человека. Страховые компании снимают этот профиль, чтобы повысить цену страхования людей, «предрасположенных к ранней смерти». Сама эта квалификация, в сущности, означает покушение на свободу человека, меняет всю его жизнь. Полиция проявляет большой интерес к этой технологии, чтобы с детского возраста выявлять и брать под контроль всех «предрасположенных к антисоциальному поведению». Органы просвещения надеются сэкономить средства на детях, «генетически предрасположенных к неуспеваемости». Возникает, как говорят американские социологи, новый класс — «биологически угнетенных». Где же мы видим эту деформацию самого естественного понятия свободы? В странах с самой неискаженной рыночной экономикой, где у власти неолибералы (либералы по отношению к рынку, а не к человеку).

Если уж говорить о свободе в обществе рынка, то эта свобода для среднего человека не подарена, а добыта в борьбе за ограничение рынка — профсоюзами и государством. Премьер-министр земли Саар социал-демократ Оскар Лафонтен пишет: «Великое историческое завоевание, социалистическое Государство свободы, было достигнуто рабочим движением в борьбе против аппетитов капитала; с полным основанием говорю в борьбе, потому что необходимые для этого средства, будь то забастовки или массовые протесты, были скорее средствами оппозиции, чем средствами искусства управления... Социалистические и социал-демократические правительства положили на стол то, что было подготовлено рабочим движением».

Эти слова знающего человека должны послужить нам предостережением в наших нынешних раздумьях на распутьи. Уж если наши неолибералы (отнюдь не социал-демократы, как они себя называют на Западе) уговорят нас отказаться от дальнейших попыток социалистического строительства и попробовать пирогов «нормального» рынка рабочей силы, нечего надеяться ни на какие свободы, если наш рабочий класс не успеет создать дееспособные механизмы борьбы. Это надо делать срочно, пока не полностью разрушены некоторые защитные структуры и не окреп наш молодой энергичный предприниматель. Потом, в условиях давления, подкупа и, быть может, террора мафии, которая будет активной силой нашего капитализма, создать эти механизмы будет гораздо труднее.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Отечественный архив

РАСТЕРЗАННЫЕ ТЕНИ

Как было обещано читателям в минувшую подписную кампанию, журнал «Наш современник» начинает публикацию документов из уголовных дел 20—30-х годов ЧК—ОГПУ—НКВД, заведенных в свое время на людей, чье имя так или иначе было связано с судьбой Есенина. В этом списке родные поэта, его друзья-писатели, его хулители и враги. Все они так или иначе испили горькую чашу арестов, допросов, приговоров... Тяжело листать эти пожелтевшие от времени документы, в которые десятилетия не заглядывал никто, тяжело всматриваться в тюремные фотографии «профиль-анфас», напряженные или потухшие глаза, небритые щеки, всклокоченные волосы, расстегнутые пуговицы измятых косоворото... Люди, одной ногой стоящие в могиле.

...Тридцатого марта 1925 года в камере смертников лубянской тюрьмы загремели двери.

— Кто тут Ганин? Выходи!

Двое палачей в кожаных мотоциклетных куртках и брюках, ставших профессиональной формой ЧК, а потом ГПУ, вытолкнули в бетонный коридор светловолосого худого человека лет тридцати, провели его до выхода в тюремный двор, повернули за изгиб кирпичной стены. Один из чекистов на ходу расстегнул деревянную кобуру маузера.

Так погиб на рассвете весеннего дня вологодский крестьянин, поэт, друг Сергея Есенина Алексей Ганин...

Поэт родился 28 июля 1893 года в деревне Коншино, бывшего Кадниковского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье. После окончания двухклассного земского училища в селе Усть-Кубенском переехал в Вологду, где окончил городскую гимназию. В 1914 году окончил Вологодское медицинское училище.

Первые публикации стихов А. Ганина в вологодских газетах относятся ко времени учебы в медицинском училище. Летом 1914 года А. Ганин был мобилизован. В этот же период его стихи появляются на страницах петроградских журналов. В 1916 году А. Ганин знакомится с Сергеем Есениным, Николаем Клюевым, Пименом Карповым.

В июне 1916 года А. Ганин по состоянию здоровья демобилизуется из армии и уезжает в Вологду. 4 августа 1917 года он был поручителем со стороны невесты при бракосочетании С. Есенина и З. Райх в Кирико-Улитовской вологодской церкви. Летом того же года совершил вместе с С. Есениным и З. Райх поездку на Соловецкие острова и к себе на родину в деревню Коншино.

В 1918 году А. Ганин вступает добровольцем в Красную Армию, служит фельдшером в различных госпиталях Северного фронта и в военно-санитарном управлении Котласского района.

В последние годы жизни (1920—1924) А. Ганин издает несколько книг стихов, а также публикует прозу в вологодском журнале «Кооперация Севера». Принимает участие в литературных вечерах «крестьянских поэтов» вместе с Есениным, Клюевым, Клычковым, Карповым.

В 1920 году в Вологде выходят литографированные сборники А. Ганина «Красный час», посвященный Есенину, «В огне и славе», «Вечер», «Певучий берег», «Кибураба», «Раскованный мир», «Священный клич», «Золотое безлюдье». В 1921 году в Вологде издается его литографированный сборник «Мешок алмазов» и — отдельным изданием — «Сарай», а в Москве — поэма «Звездный корабль».

В 1922 году А. Ганин переселился в Москву, где в 1924 году вышла его книга избранных стихотворений и поэм «Былинное поле».

В 1991 году в Архангельске вышла первая после гибели поэта книга стихотворений. Я писал предисловие к ней, в котором сделал несколько предположений о причинах его ареста и смертного приговора. Я сделал эти предположения после разговоров с двумя сестрами поэта, после знакомства с письмом о реабилитации его в 60-х годах... И, однако, во многом я ошибся, поскольку тогда еще не был знаком с делом № 28980 в желтой обложке с черным кантом, с грифом «Совершенно секретно»...

«Дело центра» начато 13.11.1924 года. Ордер на арест 1 ноября 1924 года подписан Генрихом Ягодой. В анкете для арестованных указано, что Ганин арестовывался дважды. Впервые Губчека в Москве «по недоразумению принятый за контрреволюционера». Второй раз 21.11.23 г. «арестован по обвинению в антисемитской агитации... Освобожден под подписку о невыезде». Речь идет о до сих пор малоизвестном скандальном «деле» Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина, деле, преследовавшем их всю жизнь[1]. Любопытен отрывок из протокола допроса от 13.11.24 г., в котором речь идет о Галине Бениславской, женщине, близкой Сергею Есенину в последние три года его жизни: «Есенин как-то познакомил меня с одной женщиной, с которой в это время жил. Фамилии этой женщины я не знаю; она коммунистка и в то время работала в «Правде» или в «Бедноте» секретарем какого-то видного работника ЧК. А. Ганин. Допросил Словутинский».

Из протокола допроса от 15.11.1924. Допрашивали Словутинский и Агранов. «Читал выдержки из тезисов, которые обнаружены у меня при аресте («Мир и свободный труд — народам»). Эти тезисы я подготовлял для своего романа».

Внешний вид обнаруженных при аресте Ганина тезисов — 19 страниц желтой бумаги, оборванных по краям, исписанных химическим карандашом. Текст ясный, грамотный, почерк красивый, несколько листов заляпаны бурыми пятнами, несомненно кровью. Думаю, что Ганину показывали тезисы после побоев и пыток, и кровь поэта осталась на пожелтевших страницах навеки. В деле обозначено, что копия с тезисов, послуживших причиной смертного приговора поэту, снята для палача ЧК Агранова (Собельсона): видимо, делу Ганина придавалось большое значение, коль им занимался сам Яков Саулович.

Тезисы «Мир и свободный труд — народам», пролежавшие во тьме чекистских архивов почти 70 лет, на мой взгляд, — великий документ русского народного сопротивления ленинско-троцкистской чекистско-коммунистической банде, плод народного низового сопротивления, и написан он с таким выходом в грядущее, что мысли и страсти, изложенные в нем, мне, например, кажутся выплеснутыми сегодня, в наше смутное время.

Я недаром говорю о народном сопротивлении (ибо дело Ганина было групповым). ЧК арестовало 13 человек, не партийных фракционеров, не эсеров, не широко известных писателей, а никому неведомых маленьких людей эпохи, вчерашних крестьян, начинающих поэтов, мелких служащих, объединенных одной идеей — борьбой с интернационально-коммунистическим режимом во имя спасения национальной России. Как в наши демократические времена, так и в ту тоталитарную эпоху такое мировоззрение называлось «фашистским», группа Ганина получила название «орден русских фашистов», Ганин был объявлен главой ордена, и после подобных ярлыков участь подсудимых была решена. «Главу ордена» с шестью товарищами расстреляли 30 марта 1925 года. Остальные семеро пошли на Соловки, откуда вернулись лишь двое.

Я не знал, что вместе с Ганиным были осуждены на смерть и на соловецкое заточение еще тринадцать человек. До сих пор никто не видел этого приговора. Вот фамилии русских патриотов, боровшихся за Россию.

Братья Петр и Николай Чекрыгины, молодые поэты из города Жиздры Калужской губернии, из мещан, 23-х и 22-х лет. Виктор Иванович Дворяшин, сын сельского священника Тверской губернии. Владимир Галанов, поэт, сын чиновника из города Петракова. Григорий Никитин, крестьянин Пензенской губернии деревни Панкратовка, поэт. Александр Кудрявцев, крестьянин Костромской губернии, деревня Здемирово, наборщик. Александр Потеряхин, из крестьян Нижегородской губернии, село Обуховка, литератор. Кротков Михаил, бывший дворянин, юрист. Сергей Головин, профессор, 58 лет. Борис Глубоковский, 30 лет, журналист. Иван Колобов, из мещан, уроженец Тулы. Сахно Тимофей, крестьянин Черниговской губернии. Заугольников Евгений, 22-х лет, крестьянин Минской губернии, местечко Барановичи. Вот они, участники страшного «фашистского заговора», расстрелянные в Москве и сосланные «на Соловки «интернационалистами» вроде Якова Агранова.

Друг Алексея Ганина поэт Пимен Карпов напишет после 30 марта 1925 года:

---

[1] 20 ноября 1923 года названные поэты позволили себе резкие выражения по адресу молодого нагловатого чекиста. Они были немедленно арестованы, в газетах началась яростная травля, 10 декабря над ними состоялся суд, в ходе которого предлагалось, в частности, запретить Есенину, Клюеву и остальным заниматься литературной деятельностью. Но тогда, в 1923-м, до этого еще не дошло... (см. обо всем этом, например: В. Белоусов. Сергей Есенин. Литературная хроника. Часть 2, М., 1970, с. 278; В. В. Безанов. Свидетельства очевидца и память истории — журнал «Русская литература», 1976, № 1; Ю. Паркаев. С любовью русской...— «Наш современник», 1990, № 10).

От света замурованный дневного,
В когтях железных погибая сам,
Ты сознавал, что племени родного
Нельзя отдать на растерзанье псам.

Но за пределом бытия и мессии
К Душе Души взывал ты ночь и день,
И стала по растерзанной России
Бродить твоя растерзанная тень.

Сегодня из чрева аграновской Лубянки эти растерзанные тени пришли к нам.

Станислав КУНЯЕВ.

АЛЕКСЕЙ ГАНИН

МИР И СВОБОДНЫЙ ТРУД—НАРОДАМ

ТЕЗИСЫ

1. При существующей государственной системе в России Россия, это могущественное государство, обладающее неизбывными естественными богатствами и творческими силами народа, вот уже несколько лет находится в состоянии смертельной агонии.

Ясный дух народа предательски ослеплен. Святыни его растоптаны, богатства его разграблены. Всякий, кто не потерял еще голову и сохранил человеческую совесть, с ужасом ведет счет великим бедствиям и страданиям народа в целом.

Каждый, кто бы ни был, ясно начинает сознавать, что так больше нельзя. Каждый мельчайший факт повседневной жизни красноречивее всяких воззваний. Всех и каждого убеждает в том, что если не предпринять какие-то меры, то России, как государству, грозит окончательиая смерть, а русскому народу неслыханная нищета, экономическое рабство и вырождение. (Смотреть госбюджет России последних лет. Отчеты государственных предприятий. Заработная плата рабочих и служащих. Бюджет крестьян. Соотношение цен на фабрикаты и сельскохозяйственные продукты. Соотношение максимума заработка и прожиточного минимума трудового населения, сопоставим данные довоенного и настоящего времени в области народного просвещения, в области здравоохранения, общественной взаимопомощи. Высчитаем коэффициеит налогов и доходов населения и наконец сопоставим данные довоенной и современной нашей внешней торговли, чтобы убедиться в том, что Россия стоит накануне гибели, а многомиллионное население коренной России обречено на рабскую нищету и вырождение.)

Но как это случилось, что Россия с тем, чтобы ей беспрепятственно на общее благо создать духовные и материальные ценности, обливавшаяся потом и кровью Россия, на протяжении столетий великими трудами и подвигами дедов и пращуров завоевавшая себе славу и иезависимость среди народов земного шара, ныне по милости пройдох и авантюристов повержена в прах и бесславие, превратилась в колонию всех святых паразитов и жуликов, тайно и явно распродающих наше великое достояние.

2. Вполне отвечая за свои слова перед судом всех честно мыслящих людей и перед судом истории, мы категорически утверждаем, что в лице ныне господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таится смерть и разрушеиия, разрушения и смерть. Достаточно вспомнить те события, от которых все еще не высохла кровь многострадального русского народа, когда по приказу этих сектаитов-комиссаров оголтелые, вооруженные с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродками банды латышей, беспощадно терроризируя беззащитиое сельское иаселение, всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем намеке на отказ всякий убивался на месте, а у осиротевшей семьи отбиралось положительно все, что попадалось на глаз, начиная с последней коровы, кончая последним пудом ржи и десятком яиц, когда за отказ от погромничества поместий и городов выжигались целые села, вырезались целые семьи. Вот тогда произошла эта так называемая «классовая борьба», эта так называемая (прославленная) и «спасительная гражданская война». Но после тщательного анализа всех происходящих событий, после анализа всех-всех происходящих событий в области народного хозяйства, психологии народа, после тщательного анализа проповеди (этой ныне господствующей) секты изуверов, человеконенавистников-коммуиистов о строительстве нового мира (о каком-то иовом мире и новом строительстве) мы пришли к тому же (категорическому) убеждению (а с нами и весь русский народ), что все эти слова были только приманкой для неискушенных еще в подлости рабочих масс и беднейшего крестьянства, именем которых все время прикрывает свои гнусные дела эта секта. Достаточно опять-таки вспомнить (тот ужасный) разгром городов, промышленных предприятий, образцовых хозяйств и усадеб, бесконечно и ежедневно происходившие реквизиции, бесчисленные налоги, когда облагалось да облагается и до сих пор все, кроме солнечного света и воздуха, чтобы понять, что это только безответственный грабеж и подстрекательство народа на самоубийство. Наконец, реквизиции церковных православных ценностей, производившиеся под предлогом спасения голодающих. Но где это спасение? Разве не вымерли (голодной смертью) целые села, разве не опустели целые волости и уезды (цветущего) Поволжья? Кто не помнит того ужяса и отчаяния, когда люди голодающих районов, всякими чекистскими бандами и заградилками (только подумать!) доведеиные до крайности, в нашем двадцатом веке в христианской стране дошли до людоедства, до пожирания собственных детей, до пожирания трупов своих соседей и ближних. Только будущая история и наука оценят во всей полноте всю изуверскую деятельность этой «спасительиицы народов» — РКП. Для нас теперь нет никакого сомнения, что та влая воля, которая положена в основу современного советского строя (аппарата), заинтересована в гибели не только России как одной из нынешних христианских держав (государств), но всего христианско-европейского Запада и Америки. Создав экоиомические и государственно-политические (правовые) теории на ложном принципе классовых противоречий... (стремятся) вызвать в каждом государстве, провоцируя и богатых и бедных, внутреннюю нетерпимость, разжигая эту нетерпимость до острой ненависти, до братоубийственной бойни. Эта хитрая и воинствующая секта, исходя из того же принципа классового расслоения, путем псевдонаучных исследований ныне искажает истинный смысл вещей, искажает истинный взгляд на естественно-исторический и духовный путь человечества. Эта секта всеми мерами старается заглушать в бесконечных противоречиях ход всех современных событий, стараясь таким образом расслоить и ослепить каждую национальность в отдельности, тем самым провести непроходимую бездну между подрастающим поколением и их отцами, между отдельными группами людей, создавая всюду нетерпимость, раздор и отвлекая таким образом силы народов от дружественной работы по борьбе с естественными препятствиями, парализуя творческий дух христианских народов. Народы Запада и Америки должны быть на страже, должны напрячь все свои силы, чтобы не поддаться влиянию этой изуверской секты. Всякий, кто любит свой народ, кому дороги культура и дальнейший прогресс завоеваний природы, кто за блага иародов, тот, безусловно, к какой бы иации он ни принадлежал, всеми мерами должен бороться и воздействовать внутри своей страны на малосознательные массы, чтобы не допустить ту изуверскую секту к власти данного народа.

3. Всякий, кто более или менее добросовестно следил за ходом событий в России, кто знает хоть тысячную часть положения русского народа в целом, безусловно увидит, что только путем лжи и обмана, путем клеветы и нравственного растления иарода эти секты силятся завладеть миром. Путем неслыханной в истории человечества кровожадной жестокости, воспользовавшись временной усталостью народа, эта секта, пробравшись в самое сердце России, овладев одной шестой частью суши Земного шара и захватив в свои руки колоссальные богатства России, еще с большей энергией и с большим нахальством проповедует свои гибельные теории, прикрываясь маской защитников угнетенных классов и наций. Эти изуверские секты под видом дипломатических и торговых представителей русского народа всюду рассылают своих агентов-проповедников, чтобы успешней делать свое противное всякому здравому свыслу дело, чтобы всюду организовывать отделения своей секты, чтобы всюду сеять раздор, человеконенавистничество, чтобы всюду разжечь братоубийственные внутринациональные бойни, потому что они знают, что только этим путем они могут погубить христианско-европейский Запад и Америку и таким образом овладеть миром.

Выдвигая как коиечную цель своих стремлений лучшие принципы христианско-европейских народов: свободу, равенство всех граждан перед законом, охрану труда и заботу о народном благосостоянии и просвещении, оии тем самым стараются проникнуть в доверие народиых масс Европы и Америки. Но мы еще раз повторяем, что всякий, кто

умеет честно, по-человечески мыслить, тот из всего существующего положения в России ясно увидит, к чему на самом деле стремится эта изуверская секта.

Завладев Россией, она вместо свободы несет неслыханный деспотизм и рабство под так называемым «государственным капитализмом». Вместо законности дикий произвол Чека и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культурного строительства — разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны; вместо справедливости — неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда труд (государственных) бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. Все многомиллионное население коренной России (и Украины), равно и инородческое, за исключением евреев, брошены на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов.

Три пятых школ существовавших в деревенской России закрыты. Врачебной помощи почти нет, потому что все народные больницы и врачебные пункты за отсутствием средств и медикаментов влачат свое жалкое существование. Высшие учебные заведения терроризированы и задавлены (как наиболее враждебные существующей глупости). Всякая общественная и индивидуальная инициатива раздавлена. Малейшее проявление ее рассматривается как антигосударственная крамола и жесточайшим образом карается, как преступление. Все сельское населечие, служащие, равно и рабочие массы раздавлены поборами, все они лишены своей религиозной совести и общественно-семейных устоев, все вынуждены влачить жалкое, полуживотное существование. Свобода мысли и совести окончательно задавлены и придушены. Всюду дикий, ничем не оправданный произвол и дикое издевательство над жизнью и трудом народа, над его духовно-историческими святынями. Вот он, коммунистический рай, недаром вся Россия во всех ее слоях, как бы просыпаясь от тяжкого сна, вспоминает минувшее время как золотой, безвозвратно ушедший век. Потому что всюду голод, разруха и дикий разгул, издевательство над жизнью народа, над его духовно-историческими святынями. Поистине над Россией творится какая-то черная месса для идолопоклонников. Вся так называемая коммунистическая пропаганда и агитация, письменная и устная — вся псевдонаучная так называемая марксистская литература и наконец неслыханный по своей зловредности в истории законодательства поток запретов и распоряжений самозванного правительства, — эти исключительные образцы злобы, коварства, предательства и изуверской тупости являются ярким доказательством справедливости наших мнений.

Вся эта гнусная макулатура, государственная халтурщина ясно показывает лишний раз настоящую рожу этих изуверов, ясно вскрывает их намерения. Но при помощи этой макулатуры, оградив себя от всякой критической мысли Чекой и Главлитом, они околпачивают умы простых, неискушенных рабочих, не знакомых с прочими научными и философскими взглядами на мир вещей и явлений, но заражают и молодежь, еще не способную к самостоятельному критическому мышлению.

4. Считая, что помимо террора одним из главных и могущественнейших орудий в руках коммунистической секты являются пропаганда и агитация так называемого марксистского учения, которое, как известно, не только для непосвященных рабочих масс, не только для умов не вполне развитых и (не)знакомых с прочими философскими и научными взглядами на мир вещей и исторических событий, но для отдельных умов, более или менее способных к мышлению, в настоящее время почти во всем мире представляют немалый соблазн во взглядах, а многие вещи и явления исторического порядка, особенно в области хозяйственно-промышленного строительства, многих искренних людей приводят к значительным заблуждениям. Принимая во внимание, что данное марксистское мировоззрение для многих даже выдающихся умов Европы, Америки и Азии является цельным и исчерпывающим, вполне отдавая себе отчет в трудности возложенной на себя задачи, тем не менее мы, русские националисты, на основании опыта всей русской революции, на основании повседневных фактов всей русской общественной и современной хозяйственной жизни, наконец, на основании данных современной науки и статистики, вполне убедившись сами перед лицом всего мира, докажем не только ложность, но крайнюю зловредность данного учения для всей западноевропейской культуры и вообще для дальнейшего человеческого прогресса.

5. Поэтому, для того, чтобы раз навсегда покончить с так называемой РКП, сектой изуверов-человеконенавистников, и с ее международным органом, III Интернационалом, необходимо:

1) на основании анализа русской действительности, опираясь на общеизвестные, для всех очевидные факты хозяйственного и общеполитического порядка, путем повседневных систематических разоблачений (речи, беседы, воззвания и прокламации) дискредитировать в глазах рабочих масс не только России, но и всего мира деятельность современного советского правительства, но и III Интернационала;

2) пользуясь всеми данными русской комм. революции и ее последствиями, необходимо, показав ее несостоятельность, выдвинуть новые принципы государственности, общественности, личных прав человека. В противовес комм. ереси мы должны рассматривать историю не как борьбу классов, а как постоянное самоусовершенствование в борьбе с природой за культурные блага. Отсюда в противовес маркс. теориям рассматривать и государство не как «организованную эксплуатацию» одного класса другим, а как широкую организацию для совместной, более успешной борьбы с естественными препятствиями за общее благо и независимость;

3) признавая лишь (человека) как правовую вполне самостоятельную единицу человеческого общества, мы должны признать в противовес марксизму и неотъемлемые права... личности на продукты труда, иначе говоря, признать право собственности как единственную гарантию роста культурных и экономических благ государства... что существенной причиной всего краха современной России есть так называемый «государственный капитализм», он же является основной причиной и злостной эксплуатации всего населения и казнокрадства.

Вот отчего Россия, сельскохозяйственная страна, все время существования советской комм. власти терпит голод и всякие бесконечные кризисы. Разве не абсурд, что в 1921 году России привезли для всяких комиссаров и комиссарш на 9 почти миллионов рублей золотом молока;

4) ввиду этого недовольство существующей властью растет с каждым днем все больше и больше. Не только среди населения городов и деревень так называемых беспартийных, но и среди рабочих и армии. Необходимо, чтобы наша борьба с этой грабительской сектой была успешной. Все лучшие силы России перенести на пропаганду государственно-национальных идей (с тем, чтобы вовремя и заблаговременно недовольству масс дать в противовес большевизму ясные формы и лозунги национально-правового государства и взамен жидовского III Интернационала выдвинуть идею Лиги Наций как единственной международной организации, которая предупредит правовые международные столкновения между государствами);

5) для того, чтобы окончательно свергнуть власть изуверов, подкупивших себе всесветных пройдох и авантюристов, наряду с пропагандой национальных идей и прав человека необходимо, учитывая силы противника в каждом городе, в каждом промышленном месте коренной России и Украины, путем тщательного отбора и величайшей осмотрительности вербовать во всех семьях и кругах русского об-ва всех крепких и стойких людей, нежно любящих свою родину. Необходимо объединить все разрозненные силы в одну крепкую целую партию, чтобы эта активная сила могла не только вести дальнейшую работу и противостоять не за страх, а за совесть враждебной нам силе, но сумела бы в нужный момент руководить стихийными взрывами восстания масс, направляя их к единой цели — к великому возрождению Великой России;

6) не предрешая заранее, какой общественный строй должен быть в государстве Российском, а выдвигая со своей стороны идею великого земского собора, мы все же должны зорко смотреть, чтобы тайные враждебные силы раз навсегда потеряли охоту грабежа и бесчинства народа а целом и не помешали бы в дальнейшем развернуть в России свои еще непочатые силы на путь духовного и экономического творчества.

Тщательно взвесив современное положение России, небывалое единство настроения русского народа, мы твердо верим, что близок конец страданиям и радостно будет освобождение.

18.10.24 г.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Зарубежная мысль

Начиная с этого номера в журнале будут публиковаться работы западных мыслителей — философов, поэтов и ученых — и, конечно, статьи об их творчестве. Работы, нужные, на наш взгляд, и самому широкому читателю, и притом близкие нам по теме и интересу либо же близкие нам по духу. Это могут быть тексты западных авторов о России, свидетельствующие об их видении этой страны, об их мере понимания русского народа и русского государства — всегда столь непростых для западной мысли, всегда столь бередящих и озадачивающих ее. Или это могут быть тексты, созвучные нашим сегодняшним исканиям.

Публикуя несколько небольших статей Мартина Хайдеггера (1889—1976), мы отдаем дань уважения величайшему философскому уму нашего века. Первая — «Проселок» — была напечатана в 1949 году, и она возвращает философа в родные места, в городок Месскирх, а, возвращаясь домой, философ несет сюда, как урожай, итоги европейской философии, начиная с ранних греков и кончая самой поздней порой. Все это в тексте Хайдеггера, который, идя в родные места, осмысляет суть истока, настоящего места, какое дано и задано человеку и народу. Помнящий свой исток знает свое место в мире: на худой конец, даже и сорванный со своего места, он не лишается места в жизни — словно носит его с собой. Не помнящий своего места человек ведет жизнь неприкаянного в чужой и чуждой для него действительности, а помнящий — хранит свою мысль, и хранит свою твердость, и помнит себя, и не изменяет себе и в самые тяжкие минуты испытаний. Удивительный этот и поэтичный «Проселок» сам творит свой жанр, — написанный для каждого человека, он хранит в себе и постепенно раскрывает свою глубину.

Статья «О тайне башни со звоном» опубликована в 1954 году; «Творческий ландшафт...» — осенью 1933 года, и эту дату стоит особо себе заметить; «Пути к собеседованию» — в 1937 году в «Ежегоднике города Фрайбурга-ин-Брайсгау» — это на самом юго-западе Германии, где Хайдеггер сложился и где он провел все свои зрелые годы. Хайдеггер высказывается в них и на обычные свои темы — те, что в совокупности составили основной круг вопросов, его волновавших, — о метафизике, которая забывает о бытии, о техническом мышлении, отдающем человека под власть техники, которая начинает господствовать над человеком и природой, о французском философе Рене Декарте (Картезии), во многом предопределившем в XVII столетии мышление нового времени, о переосмысленной в связи с этим «картезианским переворотом» сущности науки, знания.

В последней же из статей Хайдеггер пишет о необходимости углубленного взаимопонимания между народами, и совсем не случайно пишет об этом в канун мировой войны. Статья эта не что иное, как философская программа утверждения мира на земле, хотя, на первый взгляд, Хайдеггер говорит лишь о Западе, о Франции и Германии. Взаимопонимание между народами не может быть установлено, пока они плохо знают друг друга. А узнать друг друга — значит изведать те глубокие мыслительные основы, на каких покоится вековое бытие народов, которые определяют это бытие. Необходимо, познавая другой народ, идти вглубь — не довольствоваться бросающимися в глаза чертами сходства, не довольствоваться случайными моментами близости, установившимися частными контактами, а идти к основному и существенному, постигая сам закон, по которому живет другой народ. Нужно обладать «мужественной готовностью признавать в ином народе присущее ему», как пишет Хайдеггер. Необходимо изведать место народа в мире и узнать, каков его родной исток.

Именно поэтому настоящее постижение друг друга — это, согласно Хайдеггеру, и беседа, и борьба. Но что это за борьба, что имеется здесь в виду под борьбой? Разумеется, это и не та «конфронтация», — слово, заведшееся в нашем языке лет 10—15 тому назад, — когда люди идут в лобовую атаку друг на друга (латинское «фронс» и значит — лоб), закрыв глаза и по возможности отключив органы мысли в своей голове, и не та борьба, когда народы, воюя между собой, пытаются уничтожить, подавить один другого. Ведь и когда древний грек Гераклит говорил, что «отец всех вещей — война» (по-гречески, «война» — мужского рода, отсюда и «отец»), то он отнюдь не имел в виду военных действий, сражений и фронтовых операций. Здесь «война» — это прояснение сути во взаимосравнении и взаимодействии: оттого-то, по Гераклиту, война, этот отец и царь вещей, и создает богов и людей, рабов и господ. Так что такая борьба есть напряженнейшее выяснение сущности всего — здесь это сущность народов, бытийные основания каждого из них. Чем яснее они, чем полнее они признаются, тем совершеннее собеседование народов. Есть, по Хайдеггеру, два условия подлинного взаимоуразумения — «неустанная воля к тому, чтобы слушать друг друга, и твердая решимость следовать своему собственному предназначению».

В другой же статье — «Творческий ландшафт...» — Хайдеггер объясняет, почему не может покинуть свою «провинцию» и переехать в столицу. Не только потому, что здесь, в «провинции», его место, — он не уезжает потому, что слишком отчетливо ощущает земную — нет, не земную в противоположность небесному, а «землянную» силу мысли, то именно, что она идет от труда, от равенства всякого подлинного труда, который всегда есть труд на земле и работа с землей, как писал Хайдеггер. Не хочется приводить выдержек из текста, который необходимо читать и осваивать в живой последовательности — и в художественной цельности, потому что текст этот безусловно художественный. И все-таки надо привести полфразы: «Бросим же снисходительные заискивания и фальшивые игры в народность». В немецком есть несколько слов, которые приходится переводить одним русским — «народность», и перевод несколько стирает негодование подлинника. Однако приведенные слова все равно передают хайдеггеровский выпад против национал-социалистической демагогии. На какое-то, совсем короткое время вообразивший, что это идеологическое движение можно оздоровить и с его помощью достичь каких-то дельных и разумных целей, Хайдеггер вскоре стал решительным и мужественным его критиком. Его высказывания о национал-социализме в лекциях всегда сжаты, выразительны, недвусмысленны, четки, весомы. Позволяя себе подобные речи, Хайдеггер доказывал свою философскую невозмутимость, бестрепетность. Иногда философская глубина и крепость хранит и спасает сама себя; так это было и с Хайдеггером.

А. В. МИХАЙЛОВ.

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

Проселок

Он от ворот дворцового парка ведет в Энрид. Старые липы смотрят вослед ему через стены парка, будь то в пасхальные дни, когда дорога светлой нитью бежит мимо зеленеющих нив и пробуждающихся лугов, будь то ближе к Рождеству, когда в метель она пропадает из виду за первым же холмом. От распятия, стоящего в поле, она сворачивает к лесу. Близ опушки она привечает высокий дуб, под которым стоит грубо сколоченная скамья.

Бывало, на этой скамье лежало сочинение того или иного великого мыслителя, которое пытался разгадать неловкий юный ум. Когда загадки теснили друг друга и не было выхода из тупика, тогда на подмогу приходил идущий полем проселок. Ибо он безмолвно направляет стопы идущего извилистой тропой чрез всю ширь небогатого края.

И до сих пор мысль, обращаясь к прежним сочинениям или предаваясь собственным опытам, случается, вернется на те пути, которые проселок пролагает через луга и поля. Проселок столь же близок шагам мыслящего, что и шагам поселянина, ранним утром идущего на покос.

С годами дуб, стоящий у дороги, все чаще уводит к воспоминаниям детских игр и первых попыток выбора. Порой в глубине леса под ударами топора падал дуб, и тогда отец не мешкая пускался в путь напрямик через чащобу и через залитые солнцем поляны, чтобы заполучить для своей мастерской причитающийся ему штер древесины. Тут он не торопясь возился в перерывах, какие оставляла ему служба при башенных часах и колоколах, — и у тех и у других свое особое отношение к времени, к временному.

Мы же, мальчишки, мастерили из дубовой коры кораблики и, снабдив гребными банками и рулем, пускали их в ручье Меттенбахе или в бассейне у школы. Эти дальние плавания еще без труда приводили к цели, а вскоре оканчивались на своем берегу. Грезы странствий еще скрыва-

лись в том едва ли замечавшемся сиянии, которое покрывало тогда все окружающее. Глаза и руки матери были всему границей и пределом. Словно хранила и ограждала все бытие и пребывание ее безмолвная забота. И путешествиям-забавам еще ничего не было ведомо о тех странствиях и блужданиях, когда человек оставляет в недосягаемой дали позади себя любые берега. Меж тем твердость и запах дуба начинали внятнее твердить о медлительности и постепенности, с которой растет дерево. Сам же дуб говорил о том, что единственно на таком росте зиждется все долговечное и плодотворное, о том, что расти означает — раскрываться навстречу широте небес, а вместе корениться в непроглядной темени земли; он говорил о том, что самородно-подлинное родится лишь тогда, когда человек одинаково и по-настоящему готов исполнять веления превышних небес, и хоронится под защитой несущей его на себе земли.

И дуб продолжает по-прежнему говорить это проселку, который, не ведая сомнений в своем пути, проходит мимо него. Все, что обитает вокруг проселка, он собирает в свои закрома, уделяя всякому идущему положенное ему. Те же пахотные поля и луга по пологим скатам холмов во всякое время года сопровождают проселок на его пути, приближаясь и удаляясь. Все одно: погружаются ли в сумерки вечера альпийские вершины высоко над лесами, поднимается ли в небеса, навстречу летнему утру, жаворонок там, где проселок пролег грядою холмов, дует ли со стороны родной деревни-матери порывистый восточный ветер, тащит ли на плечах дровосек, возвращаясь к ночи домой, вязанку хвороста для домашнего очага, медленно ли бредет, переваливаясь, подвода, груженная снопами, собирают ли дети первые колокольчики на меже луга или же туманы целые дни тяжкими клубами перекатываются над нивами — всегда, везде и отовсюду в воздухе над дорогой слышится зов—утешение и увещание, в котором звучит то же самое.

Простота несложного сберегает внутри себя в ее истине загадку всего великого и непреходящего. Незванная, простота вдруг входит в людей и, однако, нуждается в том, чтобы вызревать и цвести долго. В неприметности постоянно одного и того же простота таит свое благословение. А широта всего, что выросло и вызрело в своем пребывании возле дороги, подает мир. В немотствовании ее речей, как говорит Экхехардт, старинный мастер в чтении и жизни, Бог впервые становится Богом.

Однако зов проселка, утешающий и увещевающий, слышится лишь до тех пор, пока живы люди, которые родились и дышали его воздухом, которые могут слышать его. Эти люди послушествуют своему истоку, но не рабствуют махинациям. Если человек не подчинился ладу зова, исходящего от дороги, он напрасно тщится наладить порядок на земном шаре, планомерно рассчитывая его. Велика опасность, что в наши дни люди глухи к речам проселка. Шум и грохот аппаратов полонили их слух, и они едва ли не признают его гласом Божиим. Так человек рассеивается и лишается путей. Когда человек рассеивается, односложность простоты начинает казаться ему однообразной. Однообразие утомляет. Недовольным всюду мерещится отсутствие разнообразия. Простота упорхнула. Ее сокровенная сила иссякла.

Вероятно, быстро уменьшается число тех, кому еще доступна простота — благоприобретенное достояние. Однако те немногие — они останутся; и так везде. Питаясь кроткой мощью проселочной дороги, они будут долговечнее, нежели гигантские силы атомной энергии, искусно рассчитанные человеком и обратившиеся в узы, сковавшие его же собственную деятельность.

Настоятельный зов проселка пробуждает в людях вольнолюбие — оно чтит просторы и от печали в удобном месте не преминет перешагнуть к светлой радости, что превышает все. Она же отвратит их от той неладности, когда работают лишь бы работать, потворствуя ненужному и ничтожному.

Светлая радость вéдения цветет в воздухе проселка, меняющемся вместе с временами года, радостью вéдения, на первый взгляд нередко кажущаяся мрачноватой. Это светлое вéдение требует особой струнки. Кому она не дана, тому она навеки чужда. Кому она дана, у тех она от проселка. На пути, каким бежит проселок, встречаются зимняя буря и день урожая, соседствуют будоражащее пробуждение весны и невозмутимое умирание осени и видны друг другу игры детства и умудренная старость. Однако в едином слитном созвучии, эхо которого проселок неслышно и немо разносит повсюду, куда только заходит его тропа, все приобщается к радости.

Радость вéдения — врата, ведущие к вечному. Их створ укреплен на петлях, некогда выкованных из загадок здешнего бытия кузнецом-ведуном.

Дойдя до Энрида, проселок поворачивает назад к воротам дворцового сада. Узенькая лента пути, одолев последний холм, полого спускается к самой городской стене. Едва белеет полоска дороги в свете мерцающих звезд. Над дворцом высится башня церкви св. Мартина. В ночной тьме медленно, как бы запаздывая, раздаются одиннадцать ударов. Старинный колокол, от веревок которого горели когда-то ладони мальчика, вздрагивает под ударами молота, лик которого, угрюмый и потешный, не забудет никто.

С последним ударом колокола еще тише тишина. Она достигает до тех, кто безвременно принесен в жертву в двух мировых войнах. Простое теперь еще проще прежнего. Извечно то же самое настораживает и погружает в покой. Утешительный зов проселочной дороги отчетливо внятен. Говорит ли то душа? Или мир? Или Бог?

И все говорит об отказе, что вводит в одно и то же. Отказ не отнимает. Отказ одаривает. Одаривает неисчерпаемой силой простоты. Проникновенный зов поселяет в длинной цепи истока.

Пути к собеседованию

Все снова и снова сталкиваемся мы вот с чем: люди удивляются тому, что с таким трудом достигают взаимопонимания два соседних народа — французы и немцы, чей вклад в слагание исторически духовного облика Запада был наиболее существен. Столь же часто приходится сталкиваться с иным: люди убеждены, что взаимопонимание стало невозможно и что следует только стремиться избегать крайних проявлений вражды и распрей. А что, если эти удивление и убеждение оттого столь упорно утверждают себя, что столь мало взаимопонимания достигнуто относительно взаимопонимания, относительно того, что тут единственно может и должно считаться таковым?

Подлинное взаимоуразумение народов начинается с одного и заканчивается одним — это осмысление того, что придано и задано им в историческом совершении; такое осмысление должно произойти в их творческом собеседовании. В таком осмыслении народы ставят себя на основу присущего каждому из них и с умноженной ясностью и решительностью утверждают себя на основе этого присущего им. Но самое исконное, что присуще народу, — это то отведенное ему творчество, через посредство которого, поднимаясь над самим собой, народ врастает в свое историческое призвание, тем самым впервые приходя к самому себе. В настоящий час мирового совершения основной чертой призвания, что предначертано слагающим совершение истории народам Запада, оказывается спасение ими Запада. Спасать — означает здесь не просто сохранять наличествующее, но в изначальном смысле означает заново творить оправдание его былого, его грядущего совершения. Поэтому для соседних народов уразумевать друг друга в самом исконном, что присуще им, — значит давать самому себе изведать всю необходимость спасения как свою собственную, присущую каждому из народов задачу. Тем более что ведение такой необходимости проистекает и из постижения беды, из постижения, что растет из грозящей Западу глубоко скрытой внутри опасности, и из силы, способной творить просветленные начертания величайших возможностей западного бытия. И если грозящая Западу беда готова гнать его к полнейшей утрате корней и всеобщему хаосу, то, напротив, в совершенно противоположном смысле воля к полнейшему обновлению — начиная с самого основания — должна руководствоваться бесповоротными решениями.

Взаимопонимание в собственном смысле слова — это мужественная готовность признавать в ином народе присущее ему; такая готовность вытекает из всеобъемлющей необходимости. Взаимопонимание на основе творческого совершения истории никогда не бывает смятенной слабостью, — оно предполагает неложную гордость каждого из народов. Гордость, предельно отличная от тщеславия, — это зрелая решимость удерживаться на своем собственном уровне существенности, что истекает из взятой на себя задачи.

Чаще же всего мы встречаемся лишь с взаимопониманием в несобственном смысле и относимся к нему с недоверием, а, пытаясь достичь взаимопонимания, испытываем всяческие разочарования. Это не случайно. Ибо взаимопонимание в несобственном смысле слова способно достигать лишь временных договоренностей — случайных соглашений вследствие компромисса между взаимными претензиями и обязательствами на данную минуту. Такое взаимопонимание может быть лишь поверхностным, и оно переполнено скрытыми и явными оговорками. Взаимопонимание такого рода при известных обстоятельствах, видимо, бывает неизбежным. Оно полезно в своих рамках. Однако ему недостает исторического творчества — силы подлинного взаимоуразумения, которое взаимно преобразует обе стороны, тем самым приближая каждую к исконно присущему ей, а это последнее всегда и самое достоверное и самое сокровенное. Поэтому подлинное взаимоуразумение — прямая противоположность отказу от своего, прямая противоположность беспринципному заискиванию. Признак истинного взаимопонимания еще и в том, что оно никогда не рассчитывает на мгновенный успех и твердые результаты. Настоящее взаимопонимание не порождает и той самоуспокоенности, которая очень скоро перейдет во взаимное равнодушие, но взаимопонимание само по себе есть беспокойство, когда взаимно ставят друг друга под вопрос в заботе об общих задачах исторического совершения.

Такое взаимопонимание совершается многообразными путями и в разном темпе во всех областях творчества народов. Оно охватывает и повседневное бытие народов во всей его простоте, — его надо узнать и оценить, — но также и предощущение и постижение их глубинных, обычно вообще не выразимых в непосредственном виде основополагающих начал и основных настроенностей народов. Эти начала и настроенности обретают свою задающую меру мощь и чарующую силу в великой поэзии, в изобразительном искусстве и в существенном мышлении (философии) народа.

Однако представляется, что даже и подлинное взаимоуразумение, причем именно в этих областях, подвержено сомнению — такому, которое с самого начала радо сводить на нет любые усилия взаимопонимания. Самоуразумение во всех этих областях «практически» бесполезно. Так, взаимное осмысление соответственных основополагающих философских позиций, —даже если таковое и возымеет успех,— частное и стороннее дело немногих. В основе такого расхожего суждения лежит не только неудовлетворительное представление о сущности взаимопонимания, но и

ошибочное, хотя и широко распространенное представление о сущности философии.

От обыденных мнений и «практического» мышления, — такова их особенность, — неотделимо то, что они, судя о философии, непременно дадут ей не ту цену и ошибутся вдвойне: одновременно переоценивая и недооценивая. Философию переоценивают, ожидая от нее непосредственной пользы. Философию недооценивают, находя в ней, но только в «абстрактном» (отвлеченном и разжиженном) виде, все то же самое, то, в чем уже и без того успело вполне осязательно удостовериться на опыте наше общение с вещами.

Однако подлинное философское знание никогда не бывает какой-то запоздалой прибавкой предельно всеобщих представлений к уже известному сущему; совсем наоборот, — в нем забегающее, заскакивающее вперед ведение сущности вещей, сущности, все вновь и вновь затаивающейся; такое вéдение открывает новые сферы вопрошания, новые аспекты его. Именно поэтому такое вéдение невозможно обратить на пользу прямиком. Всегда лишь опосредованно воздействует оно, воздействует так, что философское осмысление готовит нам новые пути взгляда, новые меры — в том, как мы вообще поступаем, как принимаем решения. Таким способом философия, в она заведомо неприступна ни для какой охоты за «полезностями», царит над человеком в его исторически совершающемся бытии, царит над его позицией и поступками. Философия — это бесполезное в непосредственном отношении и тем не менее царственное вéдение сущности вещей. Однако сущность сущего на все времена остается тем, что наиболее достойно вопрошания. Поскольку философия, вопрошая, неустанно борется за достойное оценивание всего наиболее достойного вопрошания и по видимости никогда не достигает «результатов», она остается чуждой и непонятной такому мышлению, которое стремится все рассчитывать, всем пользоваться, мышлению, нацеленному на знание, какому можно обучать. Коль скоро науки, очевидно, обязаны во все возрастающей мере, по всей видимости неудержимо, устремляться в сторону своей «технизации» и «организации» (ср., например, характер и роль международных конгрессов), чтобы таким образом пройти до конца весь положенный им — с давних времен — путь, и коль скоро, с другой стороны, науки согласно общественной видимости в первую очередь и исключительно претендуют на то, чтобы обладать «знаниями» и излагать их, то именно в науках и через посредство их совершается в наиболее острых формах отчуждение от философии, доставляющее мнимоубедительное доказательство полнейшей ненужности последней.

Если же удастся достигнуть подлинного взаимоуразумения — по основным философским позициям, если к такому взаимоуразумению станут взаимно побуждать друг друга сила и воля, то тогда царственное вéдение достигнет новой высоты, новой ясности. Тогда начнет подготовляться неприметное на первых порах и долгое время незримое ни для кого преображение народов.

Лишь коротко укажем на те уготованные нам возможности, которыми пока не воспользовался никто. Есть два царства сущего, которые в своем противодвижении и превышают друг друга, и служат опорой друг для друга. Эти царства — природа и история. Сам же человек — и место и хранитель этих двух противодвижущихся царств, их свидетель и их слагатель. Природоведение нового времени, в особенности же техническое овладение природой и ее использование в существенной степени опираются на математическое мышление. Решающим актом обоснования и предначертания математического — в самом принципиальном смысле слова — знания мы обязаны французскому мыслителю Декарту. Лейбниц — как мыслитель немец из немцев, один из совсем немногих таких мыслителей, — в своем мыслительном труде постоянно направлялся спором и дискуссией с Декартом. Начатое по преимуществу именно этими двумя мыслителями осмысление сущности природы (одушевленной и неодушевленной) сегодня по-прежнему далеко от своего завершения — настолько далеко, что его, это осмысление, надлежит подхватить теперь заново, на основе более исконной постановки вопросов. Лишь на таком пути мы можем обрести и предпосылки для постижения метафизической сущности техники, чтобы лишь затем осуществить и довершить ее как одну из форм, какими сущее устроятся в одни из возможных своих обликов. А принципиальное вопрошание о природе, об истинности наших знаний о природе заключает в себе спор и дискуссию с самим началом французской философии нового времени. С другой же стороны, впервые за всю историю Запада поэты и мыслители наметили в век немецкого идеализма пути метафизического вéдения о сущности истории, исторического совершения. Можно ли еще удивляться тому, что вот уже несколько лет, как французские умы из числа более молодых, осознав необходимость освободиться от сдерживающих рамок картезианской философии, трудятся над уразумением Гегеля, Шеллинга и Гёльдерлина? Неизбежность осмысления с разных сторон сущности природы и истории непонятна лишь тому, кто не способен оценить уникальность исторического мгновения, в какой вступил ныне Запад.

Однако способ заданного народам осмысления — в подлинно философическом самоуразумении — был бы тем не менее глубоко неверно понят, если бы мы удовольствовались чисто внешней констатацией наличных свойств французского мышления в отличие от немецкого и их разграничением, тем более если бы с этого начали все дело взаимопонимания. Такой подход означал бы, что мы просто обходим существенные вопросы относительно всего того, что требует решения, и прежде всего отступаем перед наитруднейшей задачей — задачей приуготовления той сферы, в которой будут решаться или же так и останутся неразрешимыми все наши вопросы.

И точно так же нельзя ожидать, что здесь — по примеру того, как ученые обмениваются полученными результатами,— просто будут взаимно переняты и дополнены философские постановки вопросов и основные понятия философии. Ведь и здесь, и здесь даже в первую очередь, взаимоуразумение — это борьба, борьба, в которой взаимно ставят под вопрос друг друга. Только спор и дискуссия ставят каждого вовнутрь присущего ему,— если только необходимо, чтобы начался спор и чтобы мы выстояли в нем перед лицом грозящей Западу утраты корней,— преодоление такой угрозы требует мобилизации сил каждого способного на могучее творчество народа.

Основная форма спора и дискуссии — это настоящая беседа самих творящих, когда они по-соседски встречаются между собой. И лишь те печатные труды, которые пустят корни в такое собеседование, смогут уверенно развертывать дальнейшее взаимоуразумение, придав ему облик непреходящего.

Раздумывая о возможном величии и масштабах западной «культуры», мы тотчас же вспоминаем раннегреческий мир исторического совершения. И легко забываем о том, что тем, чем стали греки,— навек и навсегда,— они стали отнюдь не благодаря самозамыканию в своем «пространстве». Лишь благодаря острейшему, но при этом творческому спору со всем даже и самым чуждым ему и самым трудным для него, лишь благодаря своему спору с азиатским миром, этот народ возрос и поднялся настолько, чтобы суметь пройти короткое поприще своего исторического величия, своей исторической неповторимости.

Лишь вводя историческое бытие двух соседних народов в кругозор того осмысления, которое, стремясь своей мыслью вперед, задумывается над обновлением всего основополагающего строя западного бытия, мы открываем настоящее пространство, в котором будут соседствовать оба эти народа. И пространство это широко, оно распахнуто шире широкого. Если народы пожелают вступить в эти просторы, если, говоря иначе, они пожелают творчески слагать их, то тогда перед внутренним взором должны со всей отчетливостью встать основные условия подлинного взаимоуразумения. Таких условий два — неустанная воля к тому, чтобы слушать друг друга, и твердая внутренняя решимость следовать своему собственному предназначению. Волю не обмануть и не ослабить непрочными итогами неподлинного взаимопонимания. А мужество придает уверенность тем, что стремятся понять друг друга, придает им уверенность в самих себе, и только благодаря этому они могут открываться друг другу.

Творческий ландшафт: почему мы остаемся в провинции?

На крутом склоне широко раскинувшейся высокогорной долины в южном Шварцвальде, на высоте 1150 метров над уровнем моря, стоит хижина — небольшой лыжный домик. Его площадь — 6 на 7 квадратных метров. Крыша низко опускается над тремя помещениями — кухней, спальней и кабинетом-кельей. По узенькому дну долины и по точно таким же склонам гор раскинулись крестьянские подворья с огромными, низко нависшими над ними крышами. Луга и пастбища тянутся вверх по склону до самого леса с его высокими, темными, старыми елями. А над всем этим стоит ясное летнее небо, в сияющие пространства которого широкими кругами взмывают два ястреба.

Вот мой мир — мир, в котором я тружусь, если смотреть на него созерцательным взором гостя и отпускника. Я же, собственно, никогда не рассматриваю этот ландшафт. Я постигаю его в опыте жизни: ежечасно, денно и нощно плывет он в великих волнах времени года. Тяжесть горы, крепость ее первобытных пород, задумчивый рост елей, светлая безыскусная роскошь цветущих горных лугов, шум ручья, бегущего по камням бескрайней осенней ночью, суровая простота занесенных снегом равнин — все это теснит и торопит одно другое, ведет свою ноту сквозь каждодневность существования там, вверху, на горах.

И все это опять же не в особо избранные мгновения сознательного сосредоточения, нарочитого вчувствования, а только тогда, когда свое собственное существование — внутри своего труда, в нем. Только труд разверзает просторы, в какие вступит действительность этих гор. Череда трудов до конца погружена в ландшафт, в его совершающееся пребывание.

Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра, когда все окрест застилает снежная пелена, все скрывая от глаз, вот тогда наступает время торжествовать философии. Вот когда она обязана вопрошать просто и существенно. Всякая мысль должна прорабатываться сурово и отчетливо. Тогда отпечатляется труд мысли в языке — все равно как ели, высясь, противостоят буре.

И эта философская работа протекает не

как сторонние занятия чудака, засевшего в своем углу. Самое место ей среди крестьянских трудов. Молодой хозяин с великими усилиями затаскивает вверх по склону горы тяжелые розвальни, чтобы, загрузив их буковыми поленьями, направить в опасный путь назад к своему двору; пастух медленно, раздумчиво бредет, гоня стадо вверх по склону горы; крестьянин, сидя в своей комнате, заготовляет в бессчетном множестве, по всем правилам искусства, кровельную дрань для крыши своего подворья, — и мой труд точно таков. В этом тождестве коренится непосредственная принадлежность его крестьянам. Горожанин думает, что идет «в народ», когда снисходит до длинного разговора с крестьянином. Когда же у меня бывает перерыв в работе и я сижу с крестьянами на скамье у печи или за столом в красном углу, то мы обычно вовсе не разговариваем. Мы курим трубки молча. Время от времени кто-то, бывает, и вымолвит слово — про то, что рубка леса подходит на этот год к концу, что прошлой ночью куница забралась в курятник, что хозяина двора Эми разбил паралич, что завтра пора разродиться корове, что дело идет к перемене погоды. Глубокая принадлежность собственного труда к Шварцвальду и к людям Шварцвальда проистекает из вековой алеманнско-швабской самобытности, и это не заменить ничем.

Горожанин, побывав, как говорится, в деревне, в лучшем случае «загорится». Мой же труд от начала и до конца несут и направляют эти горы, эти крестьяне. Порой труд в горах приходится довольно надолго прерывать, — там, внизу, надо преподавать, надо вести переговоры, писать отзывы, разъезжать с докладами. Но как только я возвращаюсь наверх, в первые же часы весь мир прежних вопросов вновь со всех сторон обступает меня в домике, и при этом в тех же самых словесных отпечатлениях, в которых я оставил его. Меня попросту-напросто переносит в труд с его особым ритмом колебаний, и в сущности я вовсе не управляю его сокровенным законом. Жители города дивятся — как можно так долго оставаться одному среди однообразия крестьянской жизни. Однако я тут не в одиночестве — я в уединении. В больших городах легко оставаться одному — легко как нигде, как никогда. А жить уединенно там нельзя. Ибо первозданная сила присуща уединению — оно не обособляет, не разъединяет, но все существование твое здесь круто обрушивает в самую широту близости к сущности всех вещей.

Там, далеко за горами, не успеешь и оглянуться, как сделаешься «знаменитостью» — благодаря газетам и журналам. Самый надежный путь к тому, чтобы наисокровеннейшее волнение твое было предано лжеистолкованию, а с тем и скорому, основательному забвению.

Напротив, крестьянская память отмечена верностью — простой, надежной, неослабной. Недавно тут умирала старуха крестьянка. Она любила поговорить со мной и в разговоре припоминала старые деревенские истории. Ее образный, выразительный язык еще сохранял множество старинных слов, немало изречений, успевших забыться в живом языке и ставших непонятными деревенской молодежи. Еще в прошлом году, когда я по целым неделям жил в домике один, эта старуха в свои 83 года не раз поднималась ко мне по крутому склону. Хочется взглянуть, говорила она, тут ли я и не забрал ли меня паче чаяния «тот». Ночь перед смертью она провела, разговаривая с близкими. И еще за полтора часа до кончины наказала им передать привет «господину профессору». Такая память значит несравненно больше, чем самый ловкий «репортаж» о так называемой моей философии в интернациональном органе печати.

Мир горожан рискует впасть в опасную ересь. Часто кажется, что заботу о крестьянах взяла на себя навязчивость — нарочито шумная и деловитая. Однако таким путем как раз отрешаются от того, что сейчас единственно необходимо, — отступить и держаться на расстоянии от крестьянского бытия, более чем когда-либо предоставив его собственному закону; руки прочь — чтобы не втянуть это бытие в лживое многословие журналистов, строчащих о народе и его своебытном существовании. Крестьянину вовсе не нужна эта возня горожан вокруг него — он и не хочет ее. А вот что ему нужно и чего он хочет, так это осторожного такта в отношении его бытия со всем его своеобразием. Но столь многие из горожан, не в последнюю очередь лыжники, в селе, на крестьянском дворе ведут себя так, как будто они «развлекаются» у себя дома, в городе, в своих столичных дворцах. Подобная суета за один только день напортит больше, чем наладят за целые десятилетия научно-этнографические наставления относительно народности и ее обычаев.

Бросим же снисходительные заискивания и фальшивые игры в народность — и давайте научимся со всей серьезностью относиться к простой и тяжелой жизни там, на горах. И тогда она вновь заговорит для нас.

Недавно меня вторично пригласили в Берлинский университет. В таких случаях я уезжаю из города в свой уединенный домик. И слушаю, что скажут мне горы, и леса, и крестьянские усадьбы. Я иду к своему старинному приятелю, семидесятипятилетнему крестьянину. Он уже читал в газете, что меня зовут в Берлин. Что он скажет мне? Он не спеша поворачивается в мою сторону и своими ясными глазами пристально всматривается в мои глаза, его губы плотно сжаты, он кладет мне на плечо свою верную руку и... чуть заметно покачивает головой. И это значит: безоговорочное нет!

О тайне башни со звоном

В рождественское утро, в ранний час, примерно в половине четвертого, в дом пономаря пришли мальчишки-звонари. Мать уже накрыла на стол и подала кофе с молоком и печенье. Стол стоял рядом с рождественской елкой, и благоухание ели и свечей заполнило всю комнату еще со святого вечера. Долгие недели, если не целый год, радовались мальчики тому, что ожидало их в этот час в доме пономаря. В чем же таилось очарование этого часа? Конечно, не в том, что было так вкусно поедать в столь ранний час, войдя в комнату из самой зимы, среди ночи. Многие из мальчишек у себя дома ели лучше. Волшебство таилось в чудесной странности дома, в необычности часа, в ожидании звона и самого торжества. Возбуждение овладевало всеми уже в доме, когда мальчики, насытившись, зажигали в передней фонари — каждый свой. То были огарки, снятые с алтаря; пономарь собирал их для такой надобности в ризнице и держал там в особом ящике. Оттуда и мы сами, дети пономаря, забирали свечи, чтобы ставить их на «свой» алтарь, у которого, играя в игру серьезную, мы «читали мессу».

Справившись с фонарями, мальчики — впереди старший звонарь — бодро топали по снегу и затем пропадали в дверях башни. В колокола, особенно в большие, звонили, находясь в звоннице. И несказанно волнующим было предварявшее звон раскачивание колоколов — тех, что побольше, языки которых были накрепко перехвачены веревками и отпускались лишь тогда, когда колокола совсем уже раскачались, — для этого надо было знать определенные приемы. Делали так, чтобы каждый колокол, вступая в свой черед, сразу же звучал полногласно и мощно. И лишь опытный человек мог определить, «правильно» ли звонят, потому что и оканчивать звон требовалось точно так же, но лишь в обратном порядке. Било колокола надо было перехватить, пока колокол еще звучал во всю свою силу, — и беда, если неловкий звонарь давал колоколу «ускользнуть»...

Как только в рождественскую рань отзвучали четыре удара, отметившие час, вступал самый маленький из колоколов, именовавшийся трехчасовым, потому что в него всегда били в три часа пополудни. И это тоже входило в обязанности мальчиков-звонарей, отчего вечно и прерывались их игры в дворцовом парке или на «мосту у рынка» перед ратушей. Однако нередко, особенно летом, звонари переносили свои игры на звонницу или на самый верхний ярус башни в непосредственную близость к циферблатам башенных часов, где свили гнезда галки и черные стрижи. Но тот же трехчасовик оповещал о смерти и тогда подавал «знак». В таком случае всегда звонил сам пономарь.

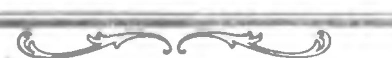
Когда в четыре часа начинался «страшный» звон (нужно было заставить в страхе вскочить с постели всех, кто заспался), то следом за трехчасовиком вступал томно-сладкий глас «альвы», затем «дитяти» (обычно звавший на детское богослужение, на уроки закона божия и на чтение розария), затем «одиннадцатый», в который тоже звонили каждодневно, обычно сам пономарь, потому что мальчики в это время были в школе, потом «двенадцатый», тоже каждодневно возвещавший полдень, затем колокол, по которому ударял молот часового механизма, и, наконец, «большой». Полновесными, тяжелыми, далеко разносившимися ударами «большого» завершался утренний перезвон в дни больших праздников. Вскоре после того начинали звонить к службе ангелов. Точно так звонили и ко всенощной в предпраздничные дни, и тогда, как правило, дети пономаря не отсиживались в сторонке, хотя, конечно, они же были и причетниками, а с возрастом, естественно, становились старшими причетниками. В число звонарей они не входили, однако, нужно думать, били в колокола почаще тех, кого особо отбирали для такого занятия.

Кроме названных семи колоколов, над самой верхней лестницей в звонницу висел еще «серебряный колокольчик», от которого к самому входу в ризницу, во всю высоту башни, свисала тонкая бечева. Когда совершалось св. таинство Преосуществления, пономарь при посредстве этого колокольчика подавал знак к началу и завершению перезвона.

Но вот куда звонарей не приходилось особо приглашать, так это к «перестуку». Начиная с Чистого четверга на Страстной неделе и до вечера Великой субботы колокола оставались немы, а тогда на службу и на молитву прихожан созывали «трещотки». Вращением вала в движение приводился целый ряд деревянных молотков и молоточков, которые, ударяя по твердому дереву, производили треск, приличный для скорбных дней Страстной недели. «Трещали» сразу со всех четырех углов, начиная с ближайшего к ратуше, так что «трещотки» одна за другой приводились в движение сменявшими друг друга мальчиками.

В эту пору ощущались уже предвестия грядущей весны, и с высоты башни, откуда открывается дальний вид, невыразимые, неясные ожидания плыли навстречу лету.

Таинственный лад, соединявший и сопрягавший в целое последовательность церковных праздников, вигилий, времен года, утренних, дневных и вечерних часов каждого дня, так что единый звон проникал и пронизывал юные сердца, сны и мечты, молитвы и игры, он, этот лад, видимо, и скрывает в себе одну из самых чарующих, самых целительных и неисповедимых тайн башни со звоном — он скрывает в себе тайну затем, чтобы в непрестанной смене и с извечной неповторимостью раздаривать ее вплоть до самого последнего погребального звона, призывающего в укромные недра Бытия.



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: уроки сопротивления

СТАТЬЯ 1

ДОМ И ДОРОГА

...Огонь в камине. Комната полна народа. Слушают молча, задумчиво глядя на языки пламени. А за окном — зима, смерть. Пир во время чумы. Классическая мизансцена молодой европейской прозы. Боккаччо, Чосер... Сколько литератур родилось на этом озаренном живыми бликами фоне!

Искусство рождается в Доме. Дом — колыбель культуры, цивилизации. Краеугольный камень государства.

...Первые впечатления детства. Мать, склоненная над кроваткой. А за ее головой светлый объем спальни. В Доме — исток кровных человеческих связей. Основа семьи. То заветное, чем жив человек.

Пока стоит Дом, нетленно искусство, нерушимы государства, не осиротели дети, а взрослые не превратились в зверей. Если прорваны все рубежи, если враг на улице и смерть за углом, — ничего еще не потеряно. Люди Дома, люди Долга выйдут на улицы и отбросят врага. Восстановят стены. Возродят страну.

Сегодня мы лишены всего. Великой державы, внушавшей миру почтительный трепет. Социальной и правовой защиты. Лишены сострадания и понимания «просвещенного человечества». Лишены наших собственных иллюзий и надежд. Одного отнять не смогли — Дома. И потому всего важнее понять, какой ценностью мы обладаем, какой силой наделяет человека это древнее как мир слово: Дом.

«Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности...» Конечно, узнали — «Белая гвардия» Михаила Булгакова. Помните, как перечитывали затрепанный томик «Избранной прозы». Взяв на ночь у знакомых вчера еще полузапрещенные романы. Читали как экзотику, как легенду о людях и временах, бесконечно далеких от нас.

Оказалось — все ближе, проще, страшнее. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».

Булгаков — наш современник. Созвучие переломным эпохам — признак подлинного писателя. В роковые месяцы 1941 года Пришвин писал: «Это дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас... Вставай, вставай, Лев Николаевич, много ты нам всего наговорил...»

В русских преданиях у последнего рубежа мертвые вставали и бились рядом с живыми. Об этом прекрасно сказано в «Повести о разорении Рязани Батыем», в Житии Святого благоверного великого князя Александра Невского, во многих позднейших творениях.

Сегодня такое время. И Булгаков вместе с Достоевским, Толстым, вместе со всей литературой нашей, со всеми подвижниками русской земли встает рядом со своими растерянными, потерявшими опору в современности, перспективу в будущем соотечественниками.

Вот почему мы читаем Булгакова совсем не так, как всего несколько месяцев назад. Тогда размышляли о прототипах Воланда и нечисти поменьше, разгадывали причудливую символику, подозревая масонские корни. И лишь теперь увидели главного героя его прозы — Дом Спасительную опору. Последнее прибежище человека. Залог прочности и вечности жизни, милосердно данный нам здесь, на вздыбленной, из-под ног уходящей земле.

«...Часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник (семейная книга Турбиных. — А. К.), и голландский изразец, как мудрая скала... Когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши... и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как и Саардамский Плотник, совершенно бессмертен».

Дом высится посреди художественного мира Булгакова, как «мудрая скала», как «крепость». Это не просто место действия. Он во многом определяет характер действия. Поэтому читателям так важно представить его, больше того, воочию увидеть, подойти, потрогать руками, проникнуться атмосферой.

Уникальна судьба булгаковских домов-«прототипов» — киевского по Андреевскому (Алексеевскому в «Белой гвардии») спуску и московского на Садовом кольце. Это не только место паломничества туристов (куда нынче не забредает праздная толпа!), сюда приходят, чтобы «пообщаться» с писателем, выразить восхищение, или как неоднократно случалось в Киеве — дать выход ненависти, злобе. Так или иначе (прославленные или искалеченные) эти здания стали центром своеобразного булгаковского пространства, и поныне существующего в Москве и особенно в Киеве. Год за годом они воссоздают его.

И это вполне соответствует той роли, которую играет Дом в произведениях мастера. Он «греет и растит» героев. Формирует привязанности, жизненные установки. Определяет поведение. Булгаков, как, наверное, никто из русских писателей умел выявить, показать читателям связь Человека и Дома. Из множества великолепных интерьеров укажу лишь на один, самый задушевный и характерный: «...В доме № 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенные боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос...»

В русской литературе немало прекрасных страниц о Доме — у Пушкина, Толстого, Аксакова, Тургенева. И все же, к уюту дворянской усадьбы принято было относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. Русской классике (да и самому человеку XIX столетия) незнакомо то пронзительное чувство любви и потери, которым одухотворен приведенный отрывок из «Белой гвардии». Напротив, в прошлом веке писатели легко отказывались от привычного уюта, а нередко даже бунтовали против него (Толстой лишь самый яркий пример).

Революция круто изменила отношение к Дому. Показательная метаморфоза, происшедшая с Блоком. В первых, написанных до революции главах «Возмездия» торжествует бездомная вьюжная воля; в набросках, сделанных после 17-го года, печальная, благодарная память поэта воскрешает образ родового шахматовского дома. Он уподоблен живому существу, заботливо сберегающему, «укрывающему» от ветров тепло семейной жизни.

Характерно — с такой же любовью говорит о своем хуторе и простой казак Григорий Мелехов в «Тихом Доне». Кстати, эпопея открывается замечательным описанием мелеховского двора. Все четыре стороны света просматриваются с «крутого восьмисаженного спуска», над которым стоит дом, и у читателя рождается чувство, что высится он в центре Вселенной. Ощущение неслучайное — автор выразил типичное крестьянское миропонимание, знакомое по песням многих (не только русского) народов.

Нежность к обреченным родным стенам внезапно сблизила вчерашние «верха» и «низы». Дворянскую и крестьянскую культуры, равно приговоренные новой властью.

Булгаков воплотил в своем творчестве общее для многих умонастроение. В его романах приоткрывается своеобразная философия Дома. Попробуем подытожить: Дом — воспитатель человека, его прошлое, судьба. Его оплот. И отражение его внутреннего мира. Это и последнее пристанище тоскующей души (покой, заслуженный Мастером). В «Мастере и Маргарите» Дом раздвигает свои стены до размеров Вселенной. Но мне дороже и ближе иной образ: гибнущий Дом — Россия. Помните, в «Белой гвардии» размышления у портрета императора Александра, пылящегося в пустой громаде гимназии: «Разве ты, ты, Александр, спасешь Бородинскими полками гибнущий Дом?»

Поразительно — тема Дома даже не намечена исследователями творчества Булгакова! Современники писателя были проницательней литературоведов наших дней. В том числе и оппоненты автора «Белой гвардии». «Кремовые шторы» — гласило название одной из разгромных рецензий. Критик иронически выделил фразу персонажа, восхищавшегося уютом турбинского дома.

КАЗИНЦЕВ Александр Иванович родился в 1953 году в Москве. Окончил МГУ и аспирантуру по кафедре критики при Московском университете. Автор книг «Лицом к истории» (1989) и «Новые политические мифы» (1990). Ведет в журнале постоянную рубрику «Дневник современника».

Показательно, что романист принял вызов. На публичном обсуждении своего произведения он использовал слово о кремовых шторах как своего рода пароль: «Я... видевший белогвардейцев в Киеве изнутри за кремовыми занавесками». Булгаков не отказался ни от своих героев, ни от того, что составляло их сокровенный мир. Тот мир, ради которого, собственно, и подняли они трагически обреченное Белое Знамя.

Писатель специально выделил, отчеканил для памяти поколений: «...Башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует».

Ему, бывшему военному врачу белой армии, брошенному при отступлении в тифозном бреду, все-таки пришлось принять сражение. Из-за того, что достойно борьбы и защиты. Это великая борьба, многое определяющая в искусстве и самой истории XX века. За Дом. За человека. За начала Созидания, Долга, Добра.

После революции на повестку дня было поставлено «производство нового человека» — так формулировал задачу издававшийся В. Маяковским журнал Левого фронта искусств «Леф». Требовалось уничтожить «старого». Но не все же 150 миллионов россиян? Это было технически неосуществимо. Можно было развязать гражданскую войну, организовать голод. Но «старые» люди «не умели» умирать быстро и массово (это станет темой «Котлована» и «Чевенгура» Андрея Платонова). Перспективнее с точки зрения ревнителей новизны было разрушение устоев нормального человеческого существования.

Ситуация, поразительно схожая с нынешней! Хотя предшественники сегодняшних радикалов действовали куда грубее. Неудивительно — фотопорнография была еще в зачаточном состоянии, а о порносалонах, успешно развращающих нынешнюю ребятню, не приходилось и мечтать. Так что действовали принуждением. Вплоть до приказа — его издали в одном небольшом городке России,— согласно которому женщины были обязаны зарегистрироваться для «перераспределения» между «революционно» настроенной частью мужского населения.

Однако этот социальный эксперимент оказался чересчур рискованным даже для такого «опытного поля», как Россия. Впрочем, устои семьи были основательно подорваны, и в конце концов самому вождю мирового пролетариата пришлось охлаждать пыл неофитов, утверждавших, что совокупление — акт столь же элементарный, как глоток воды из стакана. Еще долго бушевал и пузырился гной, загнанный под кожу общества. То «греческими ночами», восстановленными в комсомольской редакции, — они живо описаны в литературе 20-х годов (в том числе в переизданном недавно бестселлере того времени — повести С. Малашкина «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь»). То разного рода нудистскими движениями. В 1923 году Булгаков записал в дневнике: «На днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязкой через плечо «Долой стыд»...»

И все-таки семья выстояла. Чтобы спустя семьдесят лет стать мишенью куда более изощренной кампании разложения.

Дом оказался более уязвимым. «Через эти чердаки, через обитателей их — лежит путь к новой культуре, левому быту, организованному человеку», — декларировал «Леф». Почти до основания снесенная старая Москва, разрушенные исторические центры других русских городов показывают, как рьяно прокладывали этот роковой путь.

«Левое искусство» сразу же после революции предложило воплотить в стекло и бетон мечты о всечеловеческой казарме. Виделись огромные залы с сотнями коек. Мечталось о железной единообразной организации человеческого муравейника. Под музыку подъем, под музыку уборка помещения, а по вечерам — опять-таки под музыку — обязательное совокупление научно отобранных пар. «Научный контроль над человеком не только во время воспитания, не только во время родов, но и во время зачатия», — провозглашал соратник Маяковского по Левому фронту искусств С. Третьяков.

Человечество выжило благодаря несовершенству тогдашней техники. Проекты грандиозных казарм остались пылиться на полках. Быть может, до «лучших времен». Во всяком случае сейчас навязчиво реанимируют наследие революционных гениев 20-х годов...

Однако социальным новаторам удалось добиться многого. Музыка со столба с репродуктором на десятилетия стала реальностью советского быта. Под музыку рождались, работали, умирали. А главное достижение — создание мини-казарм. И не за счет государства, а за счет самих же граждан. Путем подселения, уплотнения и всяких прочих нехитрых операций. «Коммуналки» стали не только частью нового быта — символом его. Идея Дома взрывалась изнутри. «Крепость» без окон, без дверей, превращенная в проходной двор. Скала, стоящая на песке. Такой дом способен защитить от непогоды, но от зависти, злобы, хамства защитить не мог. И не должен был! Одним росчерком пера в домкомовской книге человек лишался того, ради чего и создан Дом, — покоя и очага.

Результаты не замедлили сказаться. «...Квартирный вопрос... испортил их» — знаменитая фраза из «Мастера и Маргариты». Именно отношение к Дому явилось, по мнению Булгакова, «водоразделом» между русским человеком и советским его двойником. Разумеется, писатель не социологическое исследование создавал, но позиция показательная.

Булгаков оказался одним из немногих защитников, рыцарей Дома. Ему противостояла целая рать ангажированных писак. Мало было разрушить очаг и семью, требовалось воспитать ненависть к ним. И вот явились бесчисленные газетные обличения «загнивающей дворянской усадь-

бы» (один весьма образованный автор подсуетился, к примеру, тиснуть пьесу о «загнивающем быте Ясной Поляны»), «мещанского уюта» (именно этот ярлык использовался в борьбе с Булгаковым: «типичная идеология старого чеховского мещанина», — писал о нем критик Эм. Бескин), «толстопятой», «пьяной», «избяной» Руси. Полное равенство всех укладов перед лицом карающего меча. Это потом, уже в годы Великого Перелома, основная тяжесть сокрушающего удара пришлась на крестьянское подворье. Тогда Эдуард Багрицкий, торжествуя, кричал раскулаченному «человеку предместья»: «Смотри, мы пируем в твоем дому...»

Но и это потрясающее циничностью высказывание романтика революции меркнет перед другим поэтическим текстом, созданным в рамках той же кампании. Я говорю об автобиографическом стихотворении Николая Асеева «Дом». Начальные строфы подкупают чистотой и задушевностью. Да иной тон здесь, казалось бы, невозможен: ведь речь о собственном детстве поэта, о доме, вырастившем его.

Дом стоял у города на въезде,
окнами в метелицу и тьму,
близостью созвездий
думалось и бредилось ему

. . . .

Что с того, что был он деревянным,
что приштопан к камню, в землю врос, —
от него тянулись караваны
свежих рощ и вороненых гроз.

Он кружился с ними, плыл и таял
и живущим помыслы кружил,
до него от самого Китая
долетали синие стрижи.

Какая свобода письма, какая раскованность воображения, какая искренность. Это не проходные стихи: «Дом» — фрагмент одного из самых крупных асеевских циклов «Курские края». Работа над ним растянулась на полтора десятилетия. Первоначально поэт ставил перед собой еще более масштабную задачу — создание автобиографического романа в стихах. Словом — программное произведение. Тем поразительней его финал. Он ошарашивает, как удар бичом:

И когда, тавровое мещанство,
Я теперь смотрю тебе в глаза,
и не знаю, где я умещался,
кто мне это в уши насказал.

. . . .

Потому не дни, на имена я, —
темный страх в подзорье затая,
Лишь тебя по бревнам вспоминаю,
дом мой, сон мой, ненависть моя!

С той же доверительной интонацией, не позволяющей ни на минуту усомниться в искренности, поэт проклинает дом. «Ненависть моя» — приговор родовому гнезду.

Газетчики до сего дня мусолят имя Павлика Морозова, сделали его олицетворением предательства. Бедный, замороченный деревенский мальчик! Оставьте дважды поруганный прах. Выдающийся советский лирик, признанный и справа и слева, награжденный премиями и подлинной читательской любовью, по праву должен занять место на позорном пьедестале.

Асеевские стихи — крайнее выражение революционной ненависти к идее Дома. Кажется, невозможно породить еще более разрушительный образ. Хотя почему же? Жизнь изобретательна. В те же годы, когда Асеев трудился над своим циклом, она подсказала другому писателю (занимавшему — подчеркну это сразу — иную общественную позицию) образ дома навыворот, совершенное воплощение антидома. Котлован, запечатленный в повести Андрея Платонова.

Удивительный символ. Вместо тянущегося ввысь — к свету и теплу объема, вместо стен, призванных сберечь очаг и покой, — уходящая в недра земли пустота. Могила на месте жилища.

Мотив небытия настойчиво выделяется писателем. На выкошенном под котлован пустыре «пахло умершей травой», обнаженная земля представляется «прахом». Рабочие «ломают вековой грунт», «уничтожают навсегда» «тысячи былинок, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари». Этот список малых потерь увенчан неожиданно глобальным итогом: люди «упраздняют старинное природное устройство».

Бессмысленная сила уничтожения (упраздняя «природное устройство», не могли его понять, — подчеркивает Платонов) — такова суть идеи анти-дома. Котлован становится местом гибели, своего рода «черной дырой», затягивающей отдельных людей (Настю) и целые окрестные деревни. Он призван уничтожить и породивший его город, откуда присланы рабочие. «Малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени».

Платонов довольно точно пересказывает революционные планы новаторов, стремившихся перекроить мир. Иронизируя? обличая? сочувствуя? — реальность, о которой повествует писатель, слишком чудовищна, чтобы не вставал вопрос о тоне. Загадка Платонова! Исследователи бьются над ней, представляя его то предтечей диссидентов 70-х годов, то убежденным сталинистом.

Не настаивая на собственной правоте, все же предположу, что автор «Чевенгура» избрал не столь уж редкую в мировой литературе роль Печального Шута. Во всяком случае элемент трагикомического переосмысления явно ощутим в его прозе — очевидна, к примеру, параллель между странствующим рыцарем революции Копенкиным на кобыле по имени Пролетарская Сила и рыцарем печального образа на Россинанте. Тот же прием утрировки, шаржа используется при изображении послереволюционной России. Но «карикатуры» Платонова исполнены печали. Наверное, только так и можно было говорить правду о новой жизни (а как же несомненная симпатия автора к горемычным преобразователям «природного устройства»? Так ведь Шут, как

известно, пародирует прежде всего самого себя).

Как бы то ии было, Платонову удалось с поразительной наглядностью показать столкновение идей Дома и Котлована, человеческого уюта и безбытности, созидания и разрушения, жизни и смерти. Не раз на страницах его произведений возникает характерная фантасмагория — хаты, «полные бездетной тишиной», одичалые лопухи, заброшенные плетни, прорастающие зелеными ветками и обещающие «стать рощей».

Дом у Платонова всегда заброшен, даже если в нем ютятся люди. Уют выветрился сквозь выбитые стекла, сквозь пустые дверные проемы. «...Покинутость, забвение и долгая тоска встретили его в этом опасном доме гражданской войны», — описывает романист скитания Александра Дванова из «Чевенгура». И тут выясняется, что писатель называет «домом» железнодорожную станцию — случайный приют незнакомых друг с другом людей, спешащих в разные концы земли. Какой контраст с булгаковским родовым гнездом, воспитывавшим и оберегавшим своих питомцев.

Казалось бы, всего одна деталь, один образ, но как ярко характеризует он различие писательских позиций. Представлений о мире. Да и самих миров — «старинного природного устройства», обреченного на слом, и нового миропорядка, возникающего в горячечных головах преобразователей общества.

И еще характерное отличие: у Булгакова в центре произведений семья. «Котлован» и «Чевенгур» не согреты теплом семейных связей. Последние, истончившиеся нити сознательно обрываются (умирающая мать в «Котловане» скрывает свое родство с единственным ребенком в этом чистилище для взрослых — Настей, опасаясь, что проклятие «непролетарского происхождения» будет всю жизнь преследовать ее).

Эпоха выдвигала на первый план новый символ — Дорогу. Сама жизнь общества уподоблялась дороге: восторжествовавшая утопия коммунизма проецировалась в грядущее, и к ней устремлялась бесконечная лента пути. Смена формаций, чередование лет, преодоление пространств. Страна, напрягая силы, бросалась на освоение новых земель и на преодоление пути во времени, выполняя пятилетки, годовые планы.

О дороге снимали фильмы. О ней слагали песни. Образ человека утрачивал стройность, вытягивался в пространстве, и кумир комсомола Михаил Голодный чеканил свой знаменитый стих: «Я словно мост между прошлым и будущим».

Революционная проза пронизана образом Дороги. Герои фадеевского «Разгрома» ищут ее. Герои Николая Островского строят дорогу.

Дорога — доминанта художественного мира Андрея Платонова. «День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза». Так начинается «Ювенильное море». В «Котловане» Вощев отправляется в путь на первой странице. В «Чевенгуре» странствуют все — Чепурной, Дванов, Копенкин, Порфирий. Скачет в неведомую германскую даль на могилу пламенной Розы Пролетарская Сила. В эту вакханалию всеобщего движения вовлечены даже сады и дома — чевенгурцы на субботниках переносят их с места на место.

Дорога у Платонова открывается как некий мифологический образ. Не бездушный путь, лежащий под ногами, — почти живое существо, обнаруживающее волю и власть. Она «заволакивает» — в старину так говорили о водяных. Она манит и тревожит. Она является в ночных кошмарах Дванова обрывом шпал, кромкой перерезанного железнодорожного пути.

Кстати, ночное видение преследует героя «Чевенгура» и иаяву — наутро путь перед составом с красноармейцами оказался действительно разобранным. Но собственно всякая дорога в прозе Платонова ведет в никуда. В «Котловане» это обнажено гениальным гротеском: мобилизованные в колхоз крестьяне «радостно топчутся на месте» под мажорные звуки «марша великого похода».

На рубеже 30-х проницательному печальному взору писателя открылось то, с чем столкнулись мы через полвека, — человек, лишенный опоры, тепла и покоя, теряет цель и стимул движения. Утрачивает внутреннюю скрепу, поддерживающую его существо, распыляется, обращается в ничто. «Топтались, не помня себя», — говорит Платонов о колхозниках. «Свободные и пустые сердцем» — о строителях котлована. Жизнь делается зыбкой, текучей, она «облаками несется». Еще гремит марш, а уже прошелестело по рядам роковое: «Вы стали теперь, как я, я тоже ничто». «Ничто», «ничто» — несется как эхо со страниц платоновской прозы.

Пройдя иной путь, Платонов обнаружил то, что увидел Булгаков в те же годы: «Человек разрушен». Персонажи «Котлована» и «Чевенгура» гибнут на нескончаемых верстах, отдаваясь желанию «выйти и исчезнуть в воздухе степи». Писатель скажет об этом самоизживании человека и более определенно и жестко: «Его (героя «Чевенгура». — **А. К.**) растрачивала дорога и освобождала от излишней вредной жизни» (разрядка моя. — **А. К.**). И на той же странице, будто на десятилетия предвосхищая выводы современного фундаментального исследования **И. Р.** Шафаревича, предположившего, что в стремлении людей к социализму проявляется их тайная воля к смерти, Платонов делает ошеломляющее социальное обобщение: «Коммунизм должен быть непрерывным движением людей в даль земли...»

Кому-то, возможно, рассуждения о Доме и Дороге покажутся игрой в символы, наподобие тех, которые так любят западные литературоведы — от структуралистов до приверженцев психоанализа. Но это не отвлеченные символы, я вижу за ними конкретные человеческие судьбы. И одну — особенно дорогую для меня.

Моя мать, умершая в прошлом году, родилась накануне революции в Киеве, в семье ученого. Читав «Белую гвардию», я пытаюсь воссоздать быт ее семьи. Впрочем, героям Булгакова повезло. Что бы они сами ни думали о своей разрушенной жизни, их согревали воспоминания о домашнем уюте. А людей поколения моей матери сразу вытолкнули из дома на страшные дороги гражданской войны. Не дав оглядеться, не позволив глазами, кожей пальцев, памятью сердца увидеть, запечатлеть в себе и унести в скитания образ родного дома.

Их бросает из края в край по холодной и голодной России. Умирает в 23-м году отец. Моей матери было восемь лет. Жизнь по чужим углам. Последние украшения проедались в торгсинах. От того киевского дома осталось только пасхальное яйцо зеленого стекла. Наконец, к совершеннолетию мать оказалась в Воронеже. Рядом с платоновским котлованом. На пустынном берегу реки, прямо напротив города, рыли гигантский котлован для корпусов авиационного завода. Производству нужны были кадры, и мать, писавшая стихи и мечтавшая о литературе, поступила в Воронежский авиационный техникум. Хлебный паек там был в два раза тяжелее, чем на филфаке университета. В техникум устроилась и ее мать. Учившаяся до революции на Высших женских курсах, которые давали куда более основательные знания, чем сегодняшние вузы, она работала техничкой, или — проще — уборщицей.

Не говорите мне об игре в абстракции. Я вижу, как бредут по печальным дорогам две женщины. Родные мои...

Конечно, это — личное. Но обратитесь к нашей истории. Давней и ближней, в их трагическом контрасте. Тысячу лет Дорога и Дом были неразрывны. Великая Россия, раскинувшаяся с континента на континент, от океана до океана, рождена Дорогой. Сначала — водной: Днепром, Волгой, могучими реками Сибири. Затем тысячью большаков и шляхов, а с XIX столетия — железнодорожными магистралями, донесшими русское оружие, русскую славу и русскую промышленность до самой Маньчжурии. Россия рождена Дорогой... и Домом. За отрядами Ермака, Дежнева, Хабарова шли семьи. На новых рубежах вставали избы, и спустя какой-нибудь пяток лет они наполнялись детским многоголосьем. Крепкое крестьянское подворье — вот та опора, на которой повсеместно держалось гигантское тело Империи...

Двадцатый век разорвал казавшееся нерушимым единство. Свидетельство тому — не только емкие поэтические символы, но и сухие статистические сводки. Сколько шло на капитальное строительство, на транспорт, на нужды государства, и какие крохи на развитие «социальной инфраструктуры». Жизнь порой вычерчивает такие символы, что не под силу придумать никакому художнику или поэту. Вспомните последнюю, самую грандиозную стройку коммунистической эры, стройку века — БАМ. Запечатленное в железе и камне воплощение идеи Дороги, оторванной от Дома. Чудовищная метафора, пролегшая через всю нашу историю (БАМ начали строить до войны) и протянувшаяся через всю страну. Тысячи километров без жилья. Чудо-магистраль, зарастающая кустарником, — некого, нечего и, главное, некуда возить.

Стройка в пустоте и, как выяснилось, над пустотой. Разве не знаменательно, что в канун краха «реального социализма» самое престижное и дорогое сооружение его в буквальном смысле провалилось в пустоту? Оказалось — проектировщики, завезенные из центра, ни дня не жившие на месте, выбрали губительный для вечной мерзлоты вариант строительства. И сама Природа отомстила чужакам — началось стремительное таяние грунта. Железнодорожное полотно проседало, рвалось и сделалось почти непригодным к эксплуатации.

Да ведь и сам Союз повторил судьбу БАМа. Рвутся связи между республиками и даже областями. «Кто же знал, еще вчера все было спокойно!» — восклицают растерявшиеся хозяйственники. Говорят о предательстве в верхах.

Запомните — предательство неотделимо от политики. Везде и всегда. Газетчики утверждают, что ближайшее доверенное лицо самого популярного президента Америки Франклина Рузвельта, А. Гарриман, был советским агентом. Допустим, что это так. Что же, пошатнулось могущество США? Здоровое (или, по крайней мере, контролирующее происходящие в нем процессы) общество восстанавливает разрушенное предателями, да и разгуляться им не дает. Не восстановило — значит, в нем самом завелась порча. Нетрудно диагноз поставить. Бездомная жизнь подтачивает себя изнутри, растрачивает и убивает.

И все-таки я верю! Не просто верю — знаю! Как только возродится Русский Дом, Семья, снова, как испокон веков, устремятся Русские Дороги на север и запад, на юг и встречь солнцу. И станут такими, какими были тысячу лет, — не дорогами беженцев, не дорогами голода — полнокровными артериями живого государственного тела.

P. S. Эта надежда может показаться неосновательною. Но первые сдвиги налицо. Подписка на газеты и журналы всегда была барометром общественного мнения. В 1992 году журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник» собрали 65,9 и 63,3 процента подписчиков к уровню 1991 года. Это один из лучших показателей среди «толстых» журналов. Общество потянулось к идеологии Дома. А значит, и до практических шагов недалеко.

КРИТИКА

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Это почти и необъяснимо: когда приходится сейчас встречаться с читателями, непременно услышишь сетование на нехватку литературы, на ее угасание. А когда укажешь на перекипающие через край книжные прилавки, где разом сошлось все, что копилось веками — от «Бхагавадгиты» и «Слова о законе и благодати» до Набокова и Джойса, то читатель попросит не притворяться непонимающим и объяснит, что он ищет слова тех, кто жил с ним в одно сердце все последние годы, кому он верил и чье слово ставил себе в нравственный закон. Он видит своих вчерашних наставников в Верховных Советах, слышит их горький и укоряющий голос, понимает их роль в деятельной борьбе повседневности, но при этом все ждет от них и «прямого дела», ждет книг, которые опять, как встарь, собрали бы нас в единодушном, сердечно связывающем вопрошании: читал?

И вряд ли я ошибусь, если скажу, что более всего, всего нетерпеливее ждет читатель новой распутинской книги, не замечая или не зная того, что такие обязывающие ожидания могут иссушить душу художника, загнать его в окончательное молчание. И ведь видит, что писатель много работает, читает его трагические в страстной силе, гневе и боли статьи, но отодвигает их как «попутные» и почти неблагодарно торопит, подстегивает письмами, мучает вопросами и ждет, ждет, ждет, готовый обвинить и само сегодняшнее сбитое время, отнявшее у художника живую и такую необходимую читательской душе речь.

Может, и не без этого: время может гордиться своим жестким мартирологом — оно вогнало в немоту самые чистые, самые ясные на Руси голоса. Но только если быть внимательным к тому, что писал Распутин еще до этих лет, если обернуться и послушать его последние художественные работы, с тревогой увидишь, что душа писателя сужалась еще в «Прощании с Матёрой» и, предчувствуя тесноту все более настойчиво и властно вторгающейся в текст публицистики, искала прорыва в качественно иные пределы.

Я говорю о прошедших как-то стороной, почти без критического внимания, особняком стоящих рассказах, которые в пору их написания мы приняли как передышку, как сильное, но побочное явление. По существу, их как-то не отождествили с Распутиным. К тому же все они (в особенности «Что передать вороне?» и «Наташа») были так интимно открыты, так доверчиво прямы и автобиографичны, что критикам приходилось почти насильно изгонять эту автобиографичность, защищать автора от самого себя, пододвигая на его место спасительного «лирического героя», которого обычно читатель не любит, как критическую выдумку, предпочитая «я» читать именно как «я», а не как переодетое «он».

Автобиографичен был и старый, сразу ушедший в крепкую современную классику рассказ «Уроки французского», но тот был надежно защищен сюжетом и традицией, в том была старинная прививка классической русской школы, и можно было строить любой ряд — от Бунина до Астафьева — рассказ везде стоял ладно и уместно. Отличная, опрятная эта проза не случайно хорошо перешла в кино и дала чистый и соразмерный рассказу одноименный фильм, который в свою очередь был тоже благородно и искренне традиционен. Автобиография легко ушла в тип и принялась как общее, родное, «безличное», и это «типическое» сделало рассказ как будто сразу вневременным, вернее, с порога всегдашним, как сюжеты детств обоих Толстых, Гаршина или Аксакова.

С «Век живи — век люби» все сразу было иначе, сразу и резко в сторону не от одной классики (хотя бы и собственной), но и от недавней «исповедальной» прозы. Тут была не житейская, а потаенная духовная автобиография, мука и праздник предельно уединенной жизни, которая одна и может быть вознаграждена такой внезапной полной потерянностью, растворенностью себя в порядке мира, почти бессловесной сродностью с ним.

Было тут и желание очистить легкие от матёринской гари («Прощание с Матёрой») воскрешением еще целостной, неповрежденной слитности мира. А больше, может быть, было даже от поздних казаковских рассказов — от «Свечечки» и «Во сне ты горько плакал», в которых усталый писатель, навидавшийся зла и истощивший сердце, также шел к сыну, чтобы не самому взять мальчика за руку, а опереться на могучую невесомость его спасительной ладони, потому что, как писал Казаков, «чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма... и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому...» Но и не только это. Бессознательна, наверное, и самозащита была (душа часто ищет спасения как бы помимо нас, сама себя врачует), но больше было сознательного мировоззренческого усилия.

Что-то необычайно важное совершилось в душе, явился толчок к постижению самых потаенных пружин мира, ухватившись за которые, казалось, можно было вызволить из распада и разорения не одного себя. Рассказы помечены 1981-м годом. А в 80-м он, как и все мы, много думал о России, побужденный великим поводом — годовщиной Куликовской битвы, ездил на это Великое Поле и в его возвышающих душу и мысль просторах испытал редкое, равное новому рождению, спасительное и преображающее волнение. Эти мгновения обычно так редки, что душа помнит их все. Всё свое разом словно уходит, и ты с неизъяснимой любовью, тревогой, счастьем, тоской, ужасом слышишь в себе всю полноту истории и Родины, с которыми ты одно.

Как это знали мальчики Достоевского, неизменно умевшие отмечать такие мгновения, узнавать их в будничном лице мира и держаться за них. Мне наверное кажется, что колыбель рассказа «Век живи...» — именно там, в ночи Куликова поля. Тогда в очерке о поездке Распутин писал: «Среди ночи я вышел на улицу — небо сияло в такой оглушительной и яркой звездной красоте, что нельзя уже было поверить в сырой и ненастный вчерашний день... поднимешь голову вверх — слышишь многоголосый и свободный, празднично и буйно творимый звон, когда легко различить при взгляде на нее звук каждой звезды в отдельности... и что, что же все-таки шепчут они... что хотят подсказать нам и чему научить?..»

И как близко и родственно отзовется потом Санина (так зовут героя рассказа «Век живи...») ночь в тайге — это наклонившееся над ним небо и страшное напряжение «для какого-то исполнения», когда мальчик «открылся для всего, что было вокруг». Природа все не устает приходить к нам с ошеломляющей близостью, чтобы мы навсегда увидели, что она «не слепок, не бездушный лик» и что мы не сироты на земле, а дети какого-то таинственно великого целого, всей этой живой земли.

Однажды в монастырских пещерах я видел этот путь попятного обращения в землю с такой наглядностью, что вот уже годы это видение нейдет у меня из памяти. Там в открытых погребениях гробы XVII столетия (цельные, долбленые колоды) еще помнили свою форму. В XVI веке (уходя в глубь пещеры, ты уходил и в глубину времени) они уже сорастворялись с землею и к XV-му делались бесформенной лавой, которой оставался один шаг до того, чтобы стать просто землей, тем телом земли, по которому мы ходим, на котором взращиваем свой хлеб в точном соответствии с библейской притчей о зерне, которое, не умерев, не сможет родиться.

Саня созревшей душой, хоть еще и в форме вопроса, догадывается о главном: «Не существует ли в нем вся жизнь от начала до конца изначально и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать». Распутинские Анна и Дарья знали это опытом лет и материнства, мальчик же только догадывается, но именно оттого, что он идет в познании нашей умозрительной дорогой, мы глубже и ближе принимаем его волнение и вернее вспоминаем те свои мгновения внезапных открытий, когда, как у Мандельштама, вырывается «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать». Между тем тут не по ошибке, а именно прямо по адресу и сказалось, сыновство приоткрылось, душа на миг, как при молнии, вспомнила утраченное единство, материнскую утробу досознательной природы, время до яблока с древа познания, по которому однажды задевший эту тайну человек тоскует как в изгнании.

«Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вслед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи». Словно он прозрел и тотчас снова ослеп, но уже с неистребимой памятью об этом прозрении. Тут и правда вразумительнее не объяснишься. Когда человек с такой страстью вглядывается в мир, он бывает допущен к тайне целого до самого последнего порога, но на пороге непременно будет остановлен, как пришвинский Зуек из «Осударевой дороги», как сам Пришвин, бывавший от этой тайны не раз на расстоянии волоса, когда, казалось, уже вот-вот вырвется какое-то главное, всеразрешающее слово, но именно тут завеса задергивалась и мир ждал следующего испытующего зрителя, чтобы и его

КУРБАТОВ Валентин Яковлевич родился в 1939 году. Критик. Автор книг о В. Астафьеве и М. Пришвине. В издательстве «Молодая гвардия» готовится к печати его новая книга о художнике Ю. Селиверстове, а в издательстве «Советский писатель» выходит книга, посвященная творчеству В. Распутина. Живет в Пскове.

остановить на том же пороге. Это не ревность Автора мира к своим вагадкам, а только любовь к человеку и неустанный милосердный диалог с ним в надежде, что диалог этот будет не самонадеянно агрессивным, как привык вести его человек, а равноправно созидательным, взаимно восполняющим. «На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло... напряжение и ожидание исчезли вовсе, и с ощущением какой-то особой полноты и конечной и с п о л н е н н о с т и он поднялся».

Вот и опять это слово вырывается у Распутина словно само собой — исполненность. В «Живи и помни», в «Прощании...», в разных далеко расходящихся контекстах оно вновь и вновь напоминает о себе, будто живет самостоятельной жизнью, как и должно быть в действительно живом произведении, которое только наполовину есть труд художника, а на оставшуюся половину — исполнение воли дара и призвания (ведь не зря, не зря же призвание так настойчиво соединилось с делом писателя нашими старыми литераторами, которые были памятливее к его основе и ответственнее в послушании). Распутин потому и возвращается к этой загадочной и неисчерпаемой исполненности, что всякий раз не узнает ее в новом обличье и смысле. Ведь все кажется так различно для Настёны, для Анны, для Дарьи — никак одну судьбу к другой не приложишь, а единит, оказывается, в конце концов всех именно она — исполненность.

Саня открывает ее для себя в «бесконечной и яростной благодати», которая вмещает для него «все сияние и все движение мира, всю его необыкновенную красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту». Тут только одно словно неверно — «обманчиво». Это от недоверия сорвалось, от горького взрослого опыта художника, невольно проговорившегося в минуту полного счастья героя. Именно потому так и бесконечна и яростна благодать, что полнота сошлась безобманно, и самое верное свидетельство безобманности — мучающее Саню неумение точно определить чувство: «Что-то», «какой-то», «где-то», «когда-то», — как все это неверно и неопределенно... и неужели то же самое у всех».

Можно успокоить Саню, что действительно — у всех. Разве смогли объяснить эту томительно сошедшуюся целостность не то что знавшие такие минуты мальчики Аксакова или Астафьева, но и, например, молодой толстовский Оленин в «Казаках», на которого, как на Саню, в похожий час нашло такое же странное чувство б е с п р и ч и н н о г о счастья и «любви ко всему», или умнейший Пьер Безухов, который перед «светлой, колеблющейся, зовущей в себя бесконечной далью» может, только взглянув «вглубь уходящих, играющих звезд», сказать про себя или без слов подумать: «И все это мое, и все это во мне, и все это я!» Много ли тут больше объяснено читателю? И не это ли целомудрие неназванности и действует на нас с такой убеждающей полнотой?

Может быть, до «Матёры...» эта ночь и этот полный света день так и остались бы в Сане и мы простились бы с ним на чистом звуке единства, на «свечечке», которую не задуло бы ни одиночество, ни ожесточение. Но Распутин в тревоге за грядущее, давно разглядев в родном сибиряке не только коренного Митяя, который с виду-то, может, неказист и в хозяйстве некрепок, да зато со всем живым миром свой, но и хищного «дядю Володю», забежавшего в природный мир из каких-то духовно нездешних мест, закончит рассказ жестоко, самой этой жестокостью понуждая нас хотя бы увидеть край, на который мы уже ставим своих детей. Оказалось, мальчик взял цинковое ведро, в котором нельзя держать ягоду, и дядя Володя дал ему нарадоваться дню и удаче, а потом «ткнул носом», разом разбив в мальчике и весь свет ночи, и всю приоткрывшуюся высоту знания мира, сорадования ему и саму возможность верной исполненности. «Сане снились в эту ночь голоса. Он узнавал и то, что мог бы сказать через многомного лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть. Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда это в нем взялось?»

Так в самом начале жизни искажен замысел человека, разбито живое зеркало мира, в котором все будет змеиться эта страшная кривая трещина. Еще можно спастись, загородиться от этой тяжкой правды воспоминанием о мальчиках Достоевского, о том, как они умели и посреди большей, стократ тягчайшей, чем у Распутина, тьмы выбирать крохи света и раздувать эти бедные угли до долгого живого огня. Можно было согреться речью у камня, когда после похорон Илюшечки (какое ведро ягод? какой дядя Володя? — после похорон) Алеша Карамазов выбирает малый просвет единения мальчиков, их любви, их краткой исполненности и верно и надолго говорит: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание и особенно вынесенное еще из детства... Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение». И дальше — помните? что даже если и злы они станут и жестоки под бременем жизни, то это светлое воспоминание не посмеют задеть и оно укрепит их в добре. Так неужели, думаешь, вся открывшаяся Сане великая, ясная, полная разума и именно к нему, к Сане, обращенная красота мира не перевесит в воспоминании какого-то дядю Володю? Неужели эта потрясенная соединенность

со всем и растворение во [illegible] затемнится одной злой думой?

Но утешение выходит натянутое, потому что уж очень в [illegible]сной близости оказались для Сани совершенный свет и последняя тьма, очень тесны. Они теперь в нем уже так и будут парой стоять, и при всяком про[illegible]ке полноты неизменным спутником будет являться отброшенная этим светом тень. А уж мы знаем, что зло умеет находить себе подкрепление всюду и растет мимо воли человека. И конечно это не зря у Распутина сказалось, что мальчик был поражен «привычно-уверенным тоном» грязных и грубых слов. Это как раз еще чистая душа ужаснулась тому, что совершится в ней, какую тоскливую пошлость и омертвение вызовет один случайный злодей. На минуту зрением только прошедшей ночи и еще хранимой сердцем полноты мальчик заглянул в бездну разрушения, вызванного «уроком» дяди Володи, и отшатнулся: «откуда в нем это взялось?» Еще не взялось, а только возьмется, только начнет расти и самой «привычной уверенностью» разрушать уже в других, дальше по цепи, порядок мира.

Это уже знание совершенно сегодняшнее, пост-достоевское, выросшее в последние десятилетия, с переменой духовных фундаментов. Духовные основания Достоевского давали человеку надежду, ухватившись за малость добра, прирастить его верой и исполниться светом. Когда же эти защитные основания оказались подорваны, вылущены до простого наименования, что так жестоко обнаружил «Пожар», то прибавление начало идти в темную сторону. Мальчик ужасается не без основания.

Мне мерещится, что не напрасно связались и этот рассказ, и очерк о Куликовом поле. Не зря именно там раскрылась с безмолвным ликующим шумом великая материнская ночь, чтобы, обняв художника, отозваться потом в родном мальчике. И не зря он спрашивал, чему хочет научить эта ночь, что подсказать: «Что соберем мы... от святости и учительства этой земли? Не опоздали ли собирать?» Эта тревога уже не оставит его — не опоздали ли?

Рассказ убеждал, что есть еще русские мальчишки, которые услышат речь у камня, что еще чист слух для речи Единого, еще отверста и отзывчива к красоте Родины душа. Но он же предупреждал, что эта душа, не укрепленная покойной народной силой и единством веры, генетически очень ослаблена и даже от малой причины может оглохнуть совсем. Собирать «от святости и учительства» может оказаться нечего, если будет повреждено единое народное тело и дух ответственности всех перед всеми. В рассказе, как кажется, билось больше, чем сказалось. Он как будто искал развития. Увиденное и понятое Саней было слишком значительно, чтобы утолиться этой жестокой и верной, но словно не досмотренной развязкой. Все «что-то» и «как-то», бившиеся в душе мальчика, искали определенности и имени в душе художника. И он, отодвинув мешающее «он», сказал «я», написав «Что передать вороне?», хотя я нисколько не исключаю, что рассказы были написаны в обратной последовательности: художник часто пишет «наоборот», считывая с небес текст не по порядку, а так, как лучше видит душа в этот час.

Психолог творчества найдет в рассказе «Что передать вороне?» много дорогих частностей о «технологии» писательской работы, если не вообще, то конкретной — именно распутинской технологии («Для начала этакий барский поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навыдумывал.., направленное, но еще блуждающее внимание... первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше...» и т. д.)

Биограф удивится прямоте признаний, подтверждающих его смутные догадки и, подробно процитировав к месту, много объяснит в часто двоящейся мысли художника («...у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое... Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится... это свойство людей случайных или подменных... невольно я начинаю следить за собою, сторожить, чтобы я был на месте, а себе»).

Философ подивится чистоте понимания времени как вечно ускользающей категории, которую не объяснить вне воплощения, и точности смыкания науки и богословия («Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех неисполненного своими отцами»).

Хочется пойти за всеми сразу: психологом, биографом, философом, но сейчас мне кажется более существенным доглядеть ту мысль о едином и исполненном, которая так тревожно и открыто подступила к писателю в рассказе «Век живи...» Здесь она дороже и ближе, явственнее и больнее, потому что почти не прикрыта сюжетом, не защищена им. Герой рассказа — сам писатель (я тут настаиваю на этом с а м, тем более что он не скрывает этого даже в географии, и знающие старый распутинский домик на Байкале легко увидят эту подлинность) прощается с удерживающей его дочерью, хотя останься он, и «день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым, и, как зерно, дать начало таким же дням». Законченным тут значило бы как раз исполненным, совпадающим с собою по границам, утоляюще осуществленным. Он замечательно развивает

эту мысль, подтверждая то, что я пытался прежде сказать о призванности художника, о том, что в настоящей работе только половина «своя», а остальное как бы послушание воли, угадка живой правды, которую знает не разум, а поверху его сама душа. Почему Распутин и считает нужным оговориться, что под завершенностью разумеет не всякие дела, а «лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, *особое задание* и спрашивающая с нас по своему счету». И все-таки, как ему кажется, из простого упрямства он уезжает из города в деревенский дом, хотя уже догадывается, что никакая работа не пойдет.

Только, видно, «особое задание» иногда дается человеку в неузнанной форме, потому что после всех мытарств, какой-то испытательной, изводящей замедленности дороги, дурной ночи и подступившей болезни приоткрывается и то главное, что толкало его, принуждая его мучить других и себя, что ждало его в условленный час высоко над Байкалом. Подробно и бережно он следит, как совершается приготовление души и природы, их сближение, когда и небо склоняется над ним «для чего-то приготовленное и еще не готовое» и как постепенно тесные границы дня, досады, вчерашних и нынешних забот, томительной болезни словно теряют очертание и душа уходит вширь и вверх. Или это мир вытесняет малое и случайное и восстанавливает в человеке свои бесконечные пределы, тревожа и восхищая его прикосновением вечности, которая не знает измерений: «Где, в какой стороне высота и в какой глубине?.. Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились?»

Он знал, что «вопросы эти напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать». Но ведь это и не вопросы. Это только естественное стремление сознания вернуться в свои границы, обрести опоры, без которых познанию и высший покой — непокой. Когда с этим столкнулся Саня, он еще мог освободиться от вопросов, от притязаний ищущего все объяснить сознания, его выручало детство, готовность к радости, неозабоченность тем, заслужил ли он ее. В нем еще по-детски ничего «не хлябало» (цельность распадается только после жестокого урока финала). А художнику-то как без вопросов? И если его что и выручало, то это именно ранившее его прежде несовпадение с самим собой, незнание, какого себя предпочесть.

Вопрошатель тут уступил место слушателю, доверился власти обступающего мира и был вознагражден тою же полнотой слияния со всем сущим, которую узнал до него Саня, о той неназываемой полнотой, которая бессловесно проста и неисчерпаема. «Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем». Тут его, всегда так предельно внимательного к словарю и так великолепно богатого, не смущает ни неуклюжее «чувствилище», ни беззащитное перед хищными любителями чистой стилистики «соединился с единым». Да и нам, вовлеченным в эту пугающе полную стихию, важен не словарь, потому что и мы с благодарностью и тайным воспоминанием, словно это и с нами когда-то было (да и было! было!), услышали несущиеся не то мимо, не то сквозь нас голоса, которые он слышит так ясно, что различает даже их оттенки, до встречи с ним и после на незримой дороге, на которую он вступил в этот час воссоединения с миром и которая так манила его («Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога»).

Тут повествование сбивается, уходит в пунктир, словно автор теряет себя, очнувшись на минуту в каком-то другом месте, а может быть, и другом времени, чтобы уже без смятения почувствовать «покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай», и успеть подумать, «как радостно, должно быть... умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..» А когда очнется окончательно (опять в ином месте, словно перенесенный незримой силой), то будет уже таким, каким был вчера и останется завтра, — исторгнутым из покоя единства с такой необратимостью и вновь обступившей глухотой (сквозь которую не могут прорваться «обессловленные голоса умерших друзей»), что останется только воскликнуть: «Господи, поверь в нас: мы одиноки».

Опять душа, как тогда, после Саниного смятения от неведомо откуда явившейся в нем равнодушно-привычной грязи, сопротивляется: да как же одиноки-то, если вот только (только что!) он знал такую сорастворенность и «покой вышнего присутствия»? Откуда же вдруг, без перехода, это неблагодарное одиночество, это мгновенное забвение едва совершившегося причащения Единому? Но что сделаешь вопросами, что поправишь, если сердце художника только искренне выговаривает, что слышит? А все-таки неблагодарность тут есть и не скроешь от себя досады, что вот герой стоял в преддверии тайны и не сделал шага навстречу открывшемуся свету, словно только эгоистически *взял* данное, только принял в себя, но не сделал творческого усилия навстречу, на каком-то пороге уклонился от будничного труда разгадки, в конце концов *не поверил* случившемуся.

В этом смысле очень важен последний рассказ этого цикла — «Наташа», который можно было бы назвать не по-распутински слабым, святочно-бедным, если бы в нем он не сделал еще одной попытки вернуться на ту поляну над Байкалом, чтобы вновь пережить это неодолимо притягивающее чувство бесконечности, вновь потерять границы и лететь до «чего-то большого, окончательного». Но чувство уже померкло, воспоминание изменило и стала видна *литература*. Порыв успел умереть. Он только смог понять, что «там оставалось совсем немного» до чего-то, что, может быть, изменило бы весь его дар и все грядущее, но спутница его по полету (его ангел и муза), пообещав приходить, более не вернется («Оказалось, она работала в больнице недолго»).

Удивительные эти три рассказа! Может, у нас еще и не было такого настойчивого свидетельства о живом единстве природы, где человек (вспомним еще раз Платонова) — только «малая и не решающая часть». Чувство избылось и отлетело, но у меня нет ни минуты сомнения в том, что оно было так же реально, как затопление Матёры, и было дано художнику как урок. И он это чувствовал как урок и все выпытывал его значение, но почему-то не связывал его с Матерой, не расслышал в голосе так поразившего его покоя и единства голосов Анны и Дарьи. А между тем эти голоса были слитны и напоминали об одной полноте, о том же пути восстановления народного духа, разве с иной, неузнанной стороны. Это окно приотворялось не напрасно. Милосердное призвание предлагало новый, тревожно и ответственно полный путь, но художнику недостало мужества вступить на него.

Хотя, скорее всего, наверное не так. Не робость тут. Это поначалу мне показалось, что писатель в рассказах словно позабыл могучие свои силы, или материал оказался так тонок и нов, что он боялся неосторожным словом задеть живое, предпочитая темноту «что-то», «как-то» или громоздкость «единения с единым». А на деле-то, наверное, объяснение отдельности, явственной суверенности этих рассказов в творчестве Распутина состоит в том, что он как раз слишком доверился своим силам и пустился в преследование видения раньше, чем душа поняла указание этого видения. Может быть, не время было считать себя готовым. Очень похоже, что он спугнул, «сглазил» тему, не дав ей прорасти, прижиться в душе, войти в плоть мысли и духа, не успев понять, что «сулил сей необъятный простор». Пораженный новизною совершающегося в душе, художник не услышал урока старых русских мудрецов, которые при таких прозрениях уходили в молитву и молчание, пока душа не срасталась с открывшимся и сама не делалась так же проста и всесильна, как проста и всесильна была открывшаяся тайна. Похоже, тут именно художник опередил человека и мыслителя.

Когда окно захлопнулось, или он сам захлопнул его нарочито отрубающим бытом финала (не случайно все три рассказа страшатся остаться в тревожных пределах бесконечного и жестко сводятся в подчеркнутый обиход дня), художник умолк в смятении. Если выразиться высоко, — земля ушла, небо закрылось.

В этих «неузнанных» рассказах Распутин коснулся детства мира, но застыдился его или не узнал. Как крещаемому взрослому человеку при искренней силе покаяния словно в утешение и награду на минуту открывается целостность мира, так ему открывалась дверь в пространство большее, чем бытовое предание и традиция, в свет более далекий, чем знание матёринских старух, дальше их опыта, хотя они тоже знали тот дальний свет, но затемнили его сокращенной правдой опыта, и когда опыт начал загораживать саму Христову основу хрестьянства (кресть-янства), дальний этот свет начал уходить и традиция оказалась под угрозой, потому что забыла первоисточник. Рассказы были тропой как раз к истоку этого света, но зрение художника было, как у всех нас, ослаблено и не выдержало резкого бестеневого блистания и отступило в привычные глазу тени и сумерки насквозь знакомого быта.

И он написал «Пожар»...

Это было первое в нашей тогдашней литературе предчувствие христианского выхода из общих духовных тупиков. Художник расслышал призыв, но еще не пришел обществу час увидеть это спасительное указание, еще не возмужала душа, чтобы принять эту правду как неотменимо единственную и не искать компромисса «общегуманистических» выходов.

Загадка трех рассказов все остается загадкой, и я до сих пор уверен, что небо в них закрылось только по видимости, что «осторожное вышнее присутствие» все так же осторожно и милосердно ждет встречного движения, духовного усилия, *выбора*, того совпадения с самим собой, за которым неизбежно последует настоящая, обещанная ему в тайном событии *исполненность*.

Все мне кажется, все увереннее думается, что благая весть этих рассказов только посеяна в писателе и что семя это упало не на камень, а непременно при каком-то нежданном, но несомненном, явственно ожидающем впереди побуждении оно могущественно и плодоносно взойдет и окрепнет. И тогда...

Псков



ПРЕМИИ
ЖУРНАЛА "НАШ СОВРЕМЕННИК" за 1991 год

Редакционная коллегия присудила премии
за лучшие произведения,
опубликованные в журнале в 1991 году



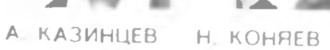




Е. АЙПИН Д. БАЛАШОВ С. ВОРОНИН Т. ГЛУШКОВА Л. ГУМИЛЕВ







А. КАЗИНЦЕВ Н. КОНЯЕВ Ю. КУЗНЕЦОВ М. НАЗАРОВ С. НЕБОЛЬСИН







П. ПАЛИЕВСКИЙ Б. СИРОТИН Г. СТУПИН Н. ТРЯПКИН

Еремею **АЙПИНУ** за рассказ "Божье послание" (№ 9)

Дмитрию **БАЛАШОВУ** за роман "Похвала Сергию" (№№ 9–11) и статью "Союз равных народов" (№ 7)

Сергею **ВОРОНИНУ** за рассказ "Бабье сердце" (№ 7)

Татьяне **ГЛУШКОВОЙ** за статью "Хищная власть меньшинства" (№ 4)

Льву **ГУМИЛЕВУ** за интервью "Меня называют евразийцем" и статью "Князь Святослав Игоревич" (№№ 7–8)

Александру **КАЗИНЦЕВУ** за цикл статей под рубрикой "Дневник современника" (№№ 1–5, 7–9, 12)

Николаю **КОНЯЕВУ** за повесть-хронику "Гавдарея" (№№ 6–8)

Юрию **КУЗНЕЦОВУ** за подборку стихотворений "Душа повторит этот путь" (№ 9)

Михаилу **НАЗАРОВУ** за статью "Мир, в котором оказалась эмиграция, или Чего боялись правые" (№ 12)

Сергею **НЕБОЛЬСИНУ** за статью "Искаженный и запрещенный Александр Блок" (№ 8)

Петру **ПАЛИЕВСКОМУ** за статью "Булгаков – 1991" (№ 9)

Борису **СИРОТИНУ** за подборку стихотворений "Среди отеческих могил" (№ 8)

Геннадию **СТУПИНУ** за подборку стихотворений "Дни незакатные" (№ 8)

Николаю **ТРЯПКИНУ** за подборку стихотворений "Не забыть нам..." (№ 6)